



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

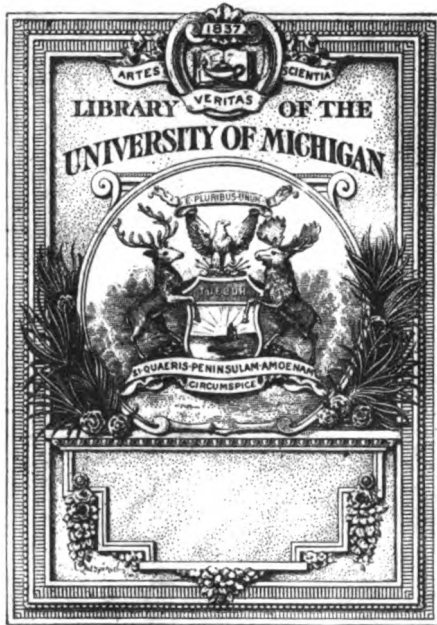
- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

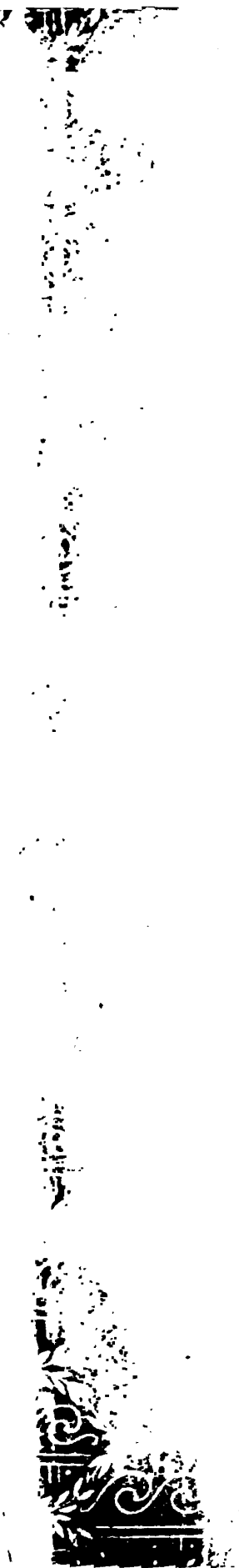
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



Александр Николаевич
Островский, его жизнь и ...
Василій Иванович Покровский





891.78
0850
F75
82

№ 13.

Александръ Николаевичъ ОСТРОВСКІЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ



Сборникъ историко-литературныхъ статей

СОСТАВИЛЪ

В. И. Покровскій

Москва 1908.

Изданіе второе.

Александръ Николаевичъ ОСТРОВСКІЙ.

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

Издание второе, дополненное.

Цена 40 коп.

МОСКВА.

Складъ въ книжномъ магазинѣ В. СПИРИДОНОВА и А. МИХАЙЛОВА.

Тверская, Столешниковъ пер., д. Ляшкова.

Телефонъ 120—95.

1908.



Типографія Г. Лиснера и Д. Совко.
Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., Л. Лиснера

23 Feb. 12 - O. B. O.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Во второмъ изданіи помѣщены слѣдующія новыя статьи: «Владыки и рабы» въ «Грозѣ», *Иванова*. — Драматическій элементъ въ личности Катерины, изъ журнала «*Артистъ*» за 1892 г. — Смѣлость плана, драматическое движеніе и законченность характеровъ въ «Грозѣ», *Гончарова*. — Содержаніе комедіи: «Бѣдность не порокъ», бичуемое ею зло, художественное и общественное ея значеніе, *Эдельсона*. — Созданіе русскихъ типовъ, твердая постановка ихъ и гуманное къ нимъ отношеніе составляютъ главнѣйшую заслугу Островскаго, какъ художественнаго писателя, *его же*. — Островскій, какъ народный художникъ, *Маркова*.

В. Покровскій.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стран.
Островскій до поступления на службу, <i>Носа</i>	1
Служебная дѣятельность Островскаго и первые его литературные труды, <i>его же</i>	2
Островскій и кружокъ „Молодого Москвитянина“, <i>Барсукова</i>	5
Самобытныя вліянія, пережитыя Островскимъ, <i>Иванова</i>	12
Вліяніе путешествія Островскаго по Россіи на его творчество, <i>его же</i>	16
Островскій на службѣ при Императорскомъ театрѣ, <i>его же</i>	20
Послѣдніе дни жизни Островскаго, <i>Максимова</i>	22
Самодурство и его растлѣвающее вліяніе, <i>Добролюбова</i>	24
Бытовое и художественное значеніе комедіи Островскаго: „Свои люди—сочтемся“, <i>Естаѣева</i>	34
„Свои люди—сочтемся“ Островскаго и „Бригадиръ“ Фонвизина, <i>Селина</i>	38
Чтеніе комедіи „Свои люди—сочтемся“ въ разныхъ кругахъ московскаго общества, <i>Барсукова</i>	56
Художественная и бытовая стороны комедіи Островскаго „Бѣдная невѣста“, <i>Григорьева</i>	58
Персонажи „Бѣдной невѣсты“, <i>Дружинина</i>	67
Чтеніе комедіи „Бѣдная невѣста“ на раутѣ, <i>Барсукова</i>	69
Содержаніе „Грозы“, <i>Дудышкина</i>	71
Художественный колоритъ „Грозы“, <i>Илетнева</i>	73
Стихи русской жизни, нарисованныя въ „Грозѣ“, <i>Незеленова</i>	75
„Гроза“, какъ показатель направленія художественнаго творчества Островскаго, <i>Галахова</i>	86
Общая картина жизни, нарисованная Островскимъ въ „Грозѣ“, <i>Добролюбова</i>	91
Владыки и рабы въ „Грозѣ“, <i>Иванова</i>	101
Драматическій элементъ въ личности Катерины. <i>Изъ журнала „Артистъ“ на 1892 г. № 73</i>	105
Смѣлость плана, драматическое движеніе и законченность характеровъ въ „Грозѣ“, <i>Гончарова</i>	108
Содержаніе комедіи: „Бѣдность не порокъ“, бичуемое ею зло, художественное и общественное ея значеніе, <i>Эдельсона</i>	109
Анализъ комедіи „Бѣдность не порокъ“, <i>Миллера</i>	121
Созданіе русскихъ типовъ, твердая постановка ихъ и гуманное отношеніе къ нимъ составляютъ главнѣйшую заслугу Островскаго, какъ художественнаго писателя, <i>Эдельсона</i>	129
Островскій, какъ народный художникъ, <i>Маркова</i>	139
Художественное и національное значеніе комедій Островскаго, <i>Естаѣева</i>	158
Островскій, какъ выразитель коренныхъ основъ русскаго быта, <i>Анненкова</i>	163
Островскій, какъ народный поэтъ, <i>Ор. Миллера</i>	165
Новизна содержанія и формы комедій Островскаго, <i>Григорьева</i>	168
Вліяніе Островскаго на артистовъ, <i>Носа</i>	173



Островскій до поступления на службу.

Родъ Островскихъ происхожденіемъ изъ Костромской губерніи. Дѣдъ его, Ѳеодоръ Ивановичъ Островскій, былъ протоіереемъ въ Благовѣщенской церкви въ городѣ Костромѣ. Овдовѣвъ въ 1810 году, онъ пріѣхалъ въ Москву и постригся въ московскомъ Донскомъ монастырѣ, подъ именемъ Ѳедота. Впослѣдствіи онъ принялъ схиму. Онъ отличался высокимъ иноческимъ подвигомъ и пользовался необыкновеннымъ уваженіемъ монастырской братіи. Онъ скончался въ преклонныхъ лѣтахъ и погребенъ близъ сѣвернаго храма Донского монастыря.

У Ѳеодора Ивановича Островскаго было шесть человѣкъ дѣтей: четыре сына и двѣ дочери; изъ нихъ, старшій, Николай Ѳеодоровичъ, родившійся въ 1796 году, — отецъ Александра Николаевича. Онъ окончилъ курсъ въ Костромской духовной семинаріи, откуда перешелъ въ Московскую духовную академію, гдѣ и завершилъ свое образованіе, удостоившись степени кандидата. По окончаніи курса, Николай Ѳеодоровичъ опредѣлился на службу въ канцелярію общаго собранія московскихъ департаментовъ Правительствующаго Сената. Въ первый же годъ своей службы Николай Ѳеодоровичъ женился на дочери просвирни. Два первыхъ сына отъ этого брака скончались младенцами. Александръ Николаевичъ былъ третьимъ сыномъ по порядку рожденія и первымъ, обѣщавшимъ долговѣчную жизнь. Молодые супруги, родители нашего драматурга, въ то время жили въ другой части города, въ Замоскворѣчѣ. Здѣсь, на сквозномъ участкѣ, между Мадой Ордынкой и Голицынскимъ переулкомъ, стоитъ небольшой пятиглавый храмъ съ шатровой колокольней, довольно красивый памятникъ архитектуры конца XVI или начала XVII вѣка, во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, что въ Голицахъ. Храмъ этотъ извѣстенъ въ Москвѣ по чудотворной иконѣ Божіей Матери Троиручницы. Въ домѣ дьякона этой церкви, 31 марта 1823 года родился Александръ Николаевичъ.

Отецъ Александра Николаевича продолжалъ свою службу въ канцеляріи Сената до 1825 года, когда онъ перешелъ въ болѣе удовлетворительную, въ матеріальномъ отношеніи, должность секретаря Московской палаты. Семья Николая Ѳеодоровича умножалась, но дѣти были, большею частію, недолговѣчны, да и жена скоро скончалась (1831 г.), послѣ нея въ живыхъ осталось шесть малолѣтнихъ дѣтей, изъ которыхъ старшему, Александру Николаевичу, не было еще и девяти лѣтъ.

Воспитаніе его было предоставлено случаю. Однако отецъ его озаботился подготовить настолько, чтобы онъ могъ поступить въ гимназію. Въ сентябрѣ 1835 года Николай Ѳедоровичъ подаетъ въ Московскую губернскую гимназію (нынѣ 1-я) прошеніе о принятіи А. Н., „въ такой классъ гимназіи, въ который по экзамену онъ окажется достойнымъ“. При этомъ Николай Ѳедоровичъ писалъ въ прошеніи, что А. Н., „кoмy отроду 12 лѣтъ, по-россійски писать и читать умѣть и первые четыре правила ариѳметики знаетъ“. Въ 1836 году отецъ женился во второй разъ; въ 1838 году Николай Ѳедоровичъ, уже заслужившій дворянское достоинство, ходатайствуетъ о внесеніи себя и дѣтей своихъ, въ томъ числѣ и А. Н., въ дворянскую родословную книгу Московской губерніи, въ 1840 году оставляетъ службу въ Гражданской палатѣ и начинаетъ заниматься ходатайствомъ по гражданскимъ дѣламъ. Въ это время, 19 іюня 1840 года А. Н. оканчиваетъ курсъ гимназіи съ правомъ поступленія въ университетъ безъ предварительнаго испытанія. Островскій пользуется этимъ правомъ, и поступаетъ въ томъ же году въ Московскій университетъ.

Носъ.

Служебная дѣятельность Островскаго и первые его литературные труды.

По оставленіи университета 19 сентября 1843 года „не имѣющій чина изъ дворянъ“ Александръ Николаевичъ зачисляется канцелярскимъ служителемъ въ Московскій совѣстный судъ. Самое названіе это отошло уже въ область преданій. Это былъ судъ, учрежденный въ 1775 году Екатериной II для рѣшенія дѣлъ по совѣсти. Онъ рассматривалъ дѣла уголовныя по жалобамъ родителей на дѣтей, по преступленіямъ, совершеннымъ малолѣтними и глухонѣмыми; по преступленіямъ, совершеннымъ по стеченіи особенно неблагоприятныхъ обстоятельствъ; по дѣламъ гражданскимъ онъ обязательно разрѣшалъ иски родителей къ дѣтямъ и дѣтей къ родителямъ и необязательно — всѣ гражданскія дѣла, по которымъ тяжущіеся согласятся разрѣшить свой споръ мировымъ соглашеніемъ по совѣсти. Въ такомъ-то судѣ нашъ драматургъ впервые ознакомился съ интересными судебными процессами и получилъ первый матеріалъ для наблюденія отрицательныхъ явленій семейнаго и общественнаго быта. Но пребываніе А. Н. въ этомъ судѣ въ качествѣ канцелярскаго служителя 1-го разряда было непродолжительно. 10 декабря 1845 года Островскій опредѣляется въ канцелярію Московскаго коммерческаго суда по 1-му отдѣленію въ словесный столъ; присягаетъ на вѣрность службы, опредѣляется съ производствомъ жалованія, столовыхъ и квартирныхъ денегъ по трудамъ и заслугамъ. Другими словами, жалованье было назначено по усмотрѣнію начальства, а именно въ размѣрѣ 4 рублей въ мѣсяць, менѣе противъ положеннаго по табели, хотя и это послѣднее опредѣлялось въ 5 рублей 62¹/₂ копейки. Между тѣмъ, несмотря на такое скудное

жалованье, вслѣдствіе производства въ первый классный чинъ (29 сентября 1844 года), съ А. Н. произведенъ вычетъ въ суммѣ 11 рублей 40¹/₂ копеекъ. Само собою разумѣется, что эта служба и получаемое за нее жалованье не давали А. Н. средствъ къ жизни. Его отецъ, благодаря удачной практикѣ, въ качествѣ ходатая по гражданскимъ дѣламъ, въ то время пріобрѣлъ порядочныя средства, имѣлъ домъ и, конечно, давалъ средства и сыну. Коммерческій судъ въ Москвѣ, какъ извѣстно, былъ открытъ въ 1832 году и, слѣдовательно, въ годъ поступления А. Н. на службу. Это учрежденіе было сравнительно молодое и по своему характеру отличавшееся менѣе устарѣлыми формами судопроизводства. Знакомство А. Н. съ дѣлами этого суда, еще болѣе знакомство его съ практикою отца, имѣвшаго кліентуру преимущественно среди московскаго купечества, молодые годы жизни, проведенные въ Замоскворѣчьи, — все это, вмѣстѣ взятое, сдѣлало Островскаго знатомъ купеческаго быта Москвы: отсюда онъ и могъ черпать содержаніе первыхъ своихъ произведеній. Само собою разумѣется, что служба въ коммерческомъ судѣ имѣла чисто формальное значеніе, и въ Островскомъ именно въ это время окончательно созрѣвалъ будущій писатель: въ его жизни наступила та пора, которую онъ самъ считаетъ эпохою въ своей жизни. „Самый памятный для меня день въ моей жизни (писалъ Островскій въ своей автобіографической замѣткѣ въ альбомѣ М. И. Семевского „Мои знакомые“), — это 14 февраля 1847 года“. Въ этотъ день Островскій, уже имѣвшій знакомство въ средѣ писателей, былъ у профессора русской словесности Московскаго университета С. П. Шевырева и здѣсь въ присутствіи А. С. Хомякова, С. П. Колошина, А. А. Григорьева и другихъ писателей и профессоровъ, прочелъ свои первыя драматическія сцены. „С. П. Шевыревъ (говоритъ М. И. Семевскій), обнимая его съ глубоко искреннимъ чувствомъ восторга, вмѣстѣ съ Хомяковымъ привѣтствовалъ автора, какъ человѣка, одареннаго громаднымъ талантомъ и призваннаго писать для отечественнаго театра“. „Съ этого дня, — говоритъ А. Н. въ своей автобіографической замѣткѣ, — я сталъ считать себя русскимъ писателемъ. И уже безъ сомнѣній и колебаній повѣрилъ въ свое призваніе“. Черезъ мѣсяць, 14 марта 1847 же года въ журналѣ „Московскій городской листокъ“, издававшемся только одинъ годъ подъ редакціей Драмусова, въ № 60—61 было впервые напечатано произведеніе А. Н. подъ заглавіемъ „Картина семейнаго счастья“, подписанное буквами „А. О.“. Произведеніе это было замѣчено не только въ московскихъ литературныхъ кружкахъ, гдѣ А. Н. уже былъ „своимъ“ человѣкомъ, извѣстностью, но даже и въ московской публикѣ. Впослѣдствіи А. Н. передѣлалъ эту пьесу и назвалъ ее „Семейное счастье“. Она была вновь перепечатана два раза, сначала въ журналѣ „Современникъ“ (1856 г., № 4), а затѣмъ въ сборникѣ „Для легкаго чтенія“ (1858 года). Въ томъ же „Московскомъ городскомъ листѣ“ была напечатана одна сцена изъ комедіи „Свои люди — сочтемся“. Эта комедія первоначально называлась „Банкротъ“. Наконецъ, въ томъ же „Листѣ“ нашелъ себѣ мѣсто разсказъ — единственное произведеніе

А. Н. въ недраматической формѣ: „Очерки Замоскворѣчья“. Мы уже знаемъ, что эти первые шаги на поприщѣ писателя А. Н. совершилъ въ то время, когда числился на службѣ въ канцеляріи Московскаго коммерческаго суда. Но и это номинальное пребываніе А. Н. на службѣ вскорѣ стало невозможнымъ. Въ шестой книгѣ журнала „Москвитинъ“, издаваемого М. П. Погодинымъ, въ 1850 году явилось первое крупное произведеніе А. Н.: „Свои люди — сочтемся“, комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ. Пьеса эта надѣлала много шума въ Москвѣ и обратила всеобщее вниманіе на молодого писателя. Она вызвала въ журналистикѣ московской и петербургской горячіе отзывы о нашемъ драматургѣ и навсегда упрочила за нимъ извѣстность выдающагося даровитаго писателя. Но далеко не такія благоприятныя послѣдствія имѣла эта пьеса для автора въ кругахъ практическихъ дѣятелей и въ сферахъ официальныхъ.

Не столько самое произведеніе А. Н., сколько отзывы журналовъ по поводу этой комедіи, могли вызвать раздраженіе въ средѣ практиковъ и вызвать такія предположенія объ авторѣ, которыхъ онъ, какъ художникъ, и не имѣлъ въ виду. Пьеса не была разрѣшена къ представленію и находилась подъ опалой у театральной цензуры десять лѣтъ, и только послѣ такого промежутка времени, когда сила перваго впечатлѣнія значительно ослабѣла и вызванное пьесою волненіе улеглось, она была допущена на сцену съ измѣненнымъ окончаніемъ. Самъ авторъ обратилъ на себя вниманіе начальства. Въ Москвѣ тогда генералъ-губернаторомъ былъ извѣстный графъ А. А. Закревскій. Конечно, стало извѣстно, что А. Н., кромѣ занятій литературой, находится еще на службѣ въ Московскомъ коммерческомъ судѣ, и вотъ за подписью самого военного генералъ-губернатора полетѣло отъ секретной части управленія секретное предложеніе предсѣдателю Московскаго коммерческаго суда, отъ 10 апрѣля 1850 года, слѣдующаго содержанія: „Предлагаю В. В. доставить мнѣ, сколько можно поспѣшнѣе, свѣдѣніе: какого чина и какую именно должность занимаетъ служащій подъ вашимъ начальствомъ чиновникъ Островскій, сочинитель извѣстной въ Москвѣ комедіи: „Свои люди — сочтемся“; равно какого онъ званія, какія имѣетъ способности и какого образа жизни и мыслей“. Въ это время А. Н. уже былъ губернскимъ секретаремъ — чинъ, полученный имъ еще въ 1849 году 14 сентября, — чинъ, въ которомъ онъ оставался до самой смерти, и, конечно, въ мѣстѣ его службы о немъ знали, вѣроятно, только, что онъ сынъ извѣстнаго ходатая по дѣламъ и что онъ мало занимается службой. На „секретное“ предписаніе на другой же день послѣдовалъ „секретный“ рапортъ, въ которомъ во исполненіе предписанія „предсѣдатель суда“ имѣлъ честь почтительнѣйше донести, что „онъ“ — въ чинѣ губернскаго секретаря съ 1845 года въ числѣ канцелярскихъ чиновниковъ 1-го отдѣленія суда, не занимая штатной должности, вступилъ въ службу изъ дворянъ, не окончивъ курса наукъ въ здѣшнемъ университетѣ, въ Московскій совѣстный судъ. „Особенныхъ способностей“, прибавляетъ предсѣдатель, „собственно по службѣ,

при обыкновенныхъ занятіяхъ при канцеляріи, оказати не могъ. Что же касается до образа жизни и мыслей, то Островскій, находясь при отцѣ, по службѣ своей пользовался хорошимъ мнѣніемъ начальства, не подавая повода къ заключенію о какомъ-либо неблагонамѣренномъ образѣ мыслей“. Несмотря на такой хорошей отзывъ ближайшаго начальства, имя А. Н. О. было внесено въ списокъ неблагонадежныхъ особенно въ виду того, что Островскій принадлежалъ къ составу молодой редакціи „Москвитянина“. Въ этотъ списокъ, какъ извѣстно, внесены и М. П. Погодинъ, и А. С. Хомяковъ, и другіе.

Но послѣ такой исторіи по службѣ и успѣховъ на литературномъ поприщѣ А. Н. было неудобно уже оставаться въ коммерческомъ судѣ, хотя бы и по названію только. 10 января 1857 года состоялось увольненіе; А. Н. получилъ аттестатъ, въ которомъ было сказано, что должность свою онъ исправлялъ усердно при хорошемъ поведеніи.

Носъ.

Островскій и кружокъ „Молодого Москвитянина“.

Въ 1850 году, „Москвитянинъ“ вступилъ въ новую эру своего существованія. Въ его изданіи принялъ энергичное участіе кружокъ литературный, получившій вполнѣ названіе „Молодого Москвитянина“, и который, „подъ предводительствомъ Погодина“, состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ: А. Н. Островскаго, Т. И. Филиппова, Р. Н. Эдельсона, Б. Н. Алмазова, А. А. Григорьева и другихъ. Своимъ былъ въ этомъ кружкѣ и А. О. Писемскій. Съ дѣятельностью этого кружка близко связана дѣятельность графини Р. П. Ростопчиной, у которой поименованныя лица собирались еженедѣльно, по субботамъ. Съ ними неразлученъ былъ знаменитый актеръ московской сцены П. М. Садовскій. Позже къ нимъ примкнулъ и И. О. Горбуновъ.

Барсуковъ.

Т. И. Филипповъ вліялъ на молодыхъ славянофиловъ не столько журнальными статьями, сколько старинными русскими пѣснями, удивительнымъ исполненіемъ которыхъ онъ открывалъ идеалы русскаго народа и привлекалъ къ нимъ симпатіи всего кружка „Молодого Москвитянина“. Пѣсенное богатство плѣняло слушателей народностью и религіозностью допетровской Руси, заставляя думать, что эти основы должны лечь въ основу государственности и заложить „борьбу съ Западомъ“ противъ его научнаго раціонализма и демократизма учреждений. Пѣсня, по свидѣтельству Погодина, была главною силою, постепенно слагавшею, вырабатывавшею и выяснявшею основное міровоззрѣніе кружка. Открывая и бытовья особенности, и историческій складъ, и вѣковѣчные идеалы русскаго народа, та же пѣсня побуждала членовъ кружка основательнѣе взглянуть въ значеніе петровской реформы. Для западниковъ до Петра не существовало исторической

Руси, но не о томъ свидѣтельствуеъ народная пѣсня. Допетровская Русь, еще живущая въ этой пѣснѣ, требовала критическаго отношенія къ противоположному ей строю, созданному всѣмъ петербургскимъ періодомъ русской исторіи, оторвавшимъ отъ народа правящіе и вообще образованные классы.

Памятуя, что Снегиревъ нигдѣ въ журналахъ не могъ напечатать статью о народныхъ картинахъ, въ виду народнаго значенія этихъ картинъ, и что общее мнѣніе о народной поэзіи не поднимается выше стиховъ:

Танцовала рыба съ ракомъ,
А петрушка съ пастернакомъ,

Г. П. Филипповъ энергично боролся за художественное и общественное значеніе народныхъ преданій и пѣсень.

„Съ напѣвами русскихъ пѣсень дѣлали до сихъ поръ то же, что и съ текстомъ ихъ“, говоритъ онъ. „Не могли, разумѣется, не признать въ нихъ значительнаго музыкальнаго достоинства; но, исходя изъ точки зрѣнія западно-европейской музыки, отыскивали въ нашихъ напѣвахъ такія черты, которыя могли бы имъ доставить честь сравненія съ музыкальными произведеніями Запада. Читатель знаетъ, что эта судьба постигала до сихъ поръ все, въ чемъ выражается наша народная особенность: таковъ былъ ходъ нашего образованія... Русская пѣсня поется исключительно простолюдиномъ, съ которымъ намъ негдѣ встрѣтиться; если на улицѣ услышишь что-нибудь такъ мелко, ничего не упомнишь... Для того, чтобы лицомъ къ лицу познакомиться съ народной поэзіей и музыкою, нужно, хотя на время, забыть разницу между, по выраженію „Отечественныхъ Записокъ“, *развитымъ* и *непосредственнымъ* человекомъ, и взойти въ ту сферу общества, гдѣ сохраняются еще остатки и слѣды нашей первобытной жизни. И то, что вынесетъ онъ изъ своихъ изслѣдованій, сторицею вознаградитъ его за трудъ и рѣшимость: можетъ даже случиться, что изъ таковаго рода изслѣдованій онъ выйдетъ не съ тѣми понятіями о предметахъ, съ какими онъ отправился въ эту экспедицію, и пойметъ онъ, что въ нашей народной поэзіи и музыкѣ есть такія сокровища, которыя не должно оскорблять иностранной оцѣнкой, а должно раскрывать посредствомъ добросовѣстнаго изученія и такимъ образомъ дѣлать ихъ достояніемъ общественнаго сознанія. Тогда онъ пойметъ, что въ народной пѣснѣ каждое слово, а въ народномъ напѣвѣ каждая нота неприкосновенны; тогда онъ откажется отъ негодной мысли исправлять произведенія, надъ которыми трудились вѣка, и соберетъ всѣ средства своего образованія и личнаго таланта на смиренное служеніе этому дѣлу“.

Значеніе Филиппова для всего „Молодого Москвитянина“, свидѣтельствуеъ Погодинъ, „не исчерпывалось тѣмъ, что онъ былъ для нихъ, какъ и для многихъ, представителемъ пѣсеннаго богатства и пѣсенныхъ даровъ русскаго народа; что пѣснопѣніями онъ увлевалъ

слушателей въ полузабытый или совершенно даже невѣдомый міръ, пробуждалъ новыя или, по крайней мѣрѣ, долго дремавшія чувства. Островскій, при первомъ уже знакомствѣ, приобрѣлъ въ Филипповѣ слушателя, отъ котораго не могъ ускользнуть ни одинъ едва замѣтный, а для иныхъ, можетъ быть, и вовсе незамѣтный оттѣнокъ своеобразнаго, живого русскаго языка. Благодаря этой-то именно особенности, Островскій и подбивалъ Филиппова къ художественному творчеству вообще и въ частности къ совмѣстному творчеству съ нимъ. Филипповъ обладалъ еще знаніемъ бытовыхъ особенностей русскаго народа, въ чемъ былъ достойнымъ товарищемъ А. Н. Островскаго, зналъ громадное количество пословицъ, присловій, рассказовъ изъ народнаго и вообще русскаго быта, а притомъ обладалъ еще и изящнымъ вкусомъ, и даромъ художественной критики, которые и проявилъ скоро въ статьяхъ своихъ. Пламенная любовь къ богатству формъ и реченій русскаго языка, подкрѣпляемая еще и филологическимъ образованіемъ и филологическими трудами, постоянно останавливали его вниманіе то на художественныхъ оборотахъ народной рѣчи, еще чуждыхъ или оставшихся чуждыми для литературнаго языка, то на не менѣе художественныхъ жемчужинахъ древней письменности русскои. Все это дѣлало его неопѣнимымъ по своему вліянію членомъ кружка, расширяющимъ кругозоръ его и укрѣпляющимъ его силы. Господствовавшіе тогда въ значительнѣйшей части молодой интеллигенціи отсутствіе религіозныхъ началъ, разрывъ съ религіознымъ прошлымъ, составлявшіе своего рода гордость западническаго мірка, распространяли власть свою и на членовъ описываемаго кружка. Но въ Филипповѣ прежде другихъ сверстниковъ и сотоварищей совершился переворотъ, сдѣлавшій его вполне вѣрующимъ и по вѣрѣ стоящимъ въ общеніи съ незатронутыми переломомъ слоями русскаго народа и со всѣмъ историческимъ его прошлымъ. Вліянію этого переворота исподоволь послѣдовали и нѣкоторые члены молодого кружка, какъ, напримѣръ, Зедергольмъ и Алмазовъ, для которыхъ обращеніе и религіозность Филиппова являлись только своего рода первымъ толчкомъ; другіе оставались невѣрующими до самаго конца жизни. Но отъ прежней кичливости невѣріемъ въ кружкѣ не оставалось больше и слѣдовъ; его смѣнило мягкое отношеніе къ народной святинѣ и народнымъ вѣрованіямъ. Къ религіи, къ православію, къ церкви стали относиться безъ вражды и не безъ уваженія даже и тѣ изъ членовъ кружка, которые сами не чувствовали ихъ вліянія“.

Извѣстно, свидѣтельствуеть тотъ же Погодинъ, что въ первое время знакомства съ Филипповымъ Островскій считался крайнимъ западникомъ. Въ разговорахъ онъ постоянно ссыался на авторитетъ „Отечественныхъ Записокъ“ и даже цитировалъ статьи Галахова. Это такъ сердило Филиппова, что у него часто вырывались слова: „можно ли съ такимъ черепомъ ссылаться на Галахова? Вѣдь это ужъ слишкомъ обидно“.

Увлекаясь ученіями Запада, Островскій завѣрялъ, что ему противенъ видъ самаго Кремля съ соборами. Онъ изумилъ однажды Фи-

липова, сказавъ: „Для чего здѣсь настроены эти пагоды?“ Увлечение отрицательнымъ отношеніемъ къ русскому народу простиралось до того, что однажды на вечерѣ у М. С. Щепкина одинъ изъ западниковъ проповѣдовалъ, что народная Русь состоитъ исключительно только изъ отрицательныхъ типовъ Островскаго; что людей иного закала въ ней нѣтъ и не можетъ быть: все мошенники. „Ну, прощайте же, мошенники“, сказалъ, прощаясь послѣ долгихъ споровъ, актеръ Провъ Михайловичъ Садовскій.

Со времени знакомства съ Филипповымъ, это острое отношеніе къ народной жизни мало-по-малу смягчалось, чему способствовали и особенный взглядъ Филиппова на народную жизнь, и прежде всего жившая въ устахъ Филиппова народная пѣсня, въ которой русский народный характеръ и особенности души русской раскрывались въ привлекательномъ, чарующемъ видѣ.

Бывали минуты, когда Островскій, увлеченный старинными народными пѣснями Филиппова, восклицалъ:

— Съ Тертіемъ да Провомъ (Садовскимъ) мы все Петрово дѣло повернемъ назадъ!

Такимъ образомъ въ „Молодомъ Москвитянинѣ“ триумvirатъ славянофильства состоялъ изъ выдающагося пѣвца патристически-старинныхъ пѣсенъ, выдающагося писателя и замѣчательнаго актера. Филипповъ имѣлъ вліяніе не только на Островскаго, но и Аполлонъ Григорьевъ былъ введенъ имъ въ редакцію „Молодого Москвитянина“, по свидѣтельству Погодина, при слѣдующихъ обстоятельствахъ: „Однажды у Островскаго былъ громадный литературный вечеръ, на которомъ присутствовали представители всѣхъ литературныхъ направленій того времени. Когда большая часть гостей разошлась, и остались только близкіе Островскому люди, Филиппова просили спѣть. Послѣ одушевленно пропѣтой имъ пѣсни, которая на всѣхъ произвела впечатлѣніе, Григорьевъ упалъ на колѣни и просилъ кружокъ усвоить его себѣ, такъ какъ въ его направленіи онъ видитъ правду, которой искалъ въ другихъ мѣстахъ и не находилъ, а потому былъ бы счастливъ, если бы ему позволили здѣсь бросить якорь“.

Любовь Филипповна къ народной пѣснѣ воодушевила и А. Ѳ. Писемскаго, который въ романѣ: „Взбаламученное море“, описалъ, какъ „Тертіевъ“ въ трактирѣ „Британія“, помѣщавшимся рядомъ съ университетомъ, пѣлъ „Ваньку Ключника“, и какъ всѣ присутствующіе, отъ студентовъ до половыхъ, превращались въ олицетворенное блаженство при первыхъ напѣвахъ русскаго народничества.

„На вечерахъ, гдѣ читались пьесы Островскаго, ярко высказывалось русское направленіе, какъ его самого, такъ и другихъ членовъ кружка. Народная пѣсня, художественно исполняемая Филипповымъ, неоднократно раздавалась въ такихъ залахъ, въ которыхъ и пѣніе ея вообще, да еще въ особенности человѣкомъ образованнаго общества, представлялось явленіемъ необычнымъ. И хозяева и гости всякій разъ восхищались и словами пѣсни и напѣвомъ; на всѣхъ произво-

дили они потрясающее впечатлѣніе. Пораженная строгою простотою пѣнія Филиппова, Е. С. Шереметева разъ спросила у своего двоюроднаго брата Алмазова: „Скажи, пожалуйста, Борисъ, что Филипповъ благородный?“ — „Даже *великодушный*“, отвѣчалъ и тогда уже отличавшійся остроуміемъ Алмазовъ“. Т. И. Филипповъ принималъ дѣятельное участіе въ Императорскомъ географическомъ обществѣ по собиранію русскихъ пѣсенныхъ напѣвовъ, и по его почину-возникла въ 1884 г. особая пѣсенная коммиссія, предсѣдателемъ которой Т. И. былъ до конца своей жизни. По его ходатайству были дарованы пѣсенной коммиссіи средства для снаряженія экспедицій съ цѣлью собиранія русскихъ пѣсенъ съ напѣвами. Съ этою же цѣлью Т. И. приютилъ у себя въ Петербургѣ известную „сказительницу“ Олонецкой губерніи, поощрялъ балалаечниковъ и русскіе хоры, надѣясь этими хорами въ войскахъ сохранить старину отъ вымиранія.

Фаресовъ.

Самымъ близкимъ человѣкомъ для Т. И. Филиппова былъ Евгений Николаевичъ Эдельсонъ, котораго онъ и сблизилъ съ Островскимъ. Е. Н. Эдельсонъ родился въ 1824 году и первоначальное образованіе получилъ въ Касимовскомъ уѣздномъ училищѣ, при обзорѣніи котораго профессоромъ Н. И. Надежинымъ, онъ своими исполненными смысла и остроумія отвѣтами успѣлъ обратить на себя особенное вниманіе ученаго визитатора. По переходѣ въ Рязанскую гимназію Эдельсонъ сразу и безъ всякаго спору занялъ между своими товарищами первенствующее мѣсто. Бывшій въ то время попечитель Московскаго учебнаго округа, графъ Р. Г. Строгановъ, отъ внимательнаго взора котораго не укрывалось никакое сколько-нибудь замѣтное проявленіе дарованій во вѣреннхъ его попеченію воспитанникахъ, очень скоро замѣтилъ столь щедро надѣленнаго умственными дарами мальчика и при каждомъ посѣщеніи Рязанской гимназіи удостоивалъ его своимъ вниманіемъ. Въ 1842 году Эдельсонъ поступилъ въ Московскій университетъ на математическій факультетъ по отдѣленію естественныхъ наукъ, но скоро почти совсѣмъ покинулъ занятія обязательными для него предметами и съ юношескою страстію предался изученію философской системы Гегеля... Изъ всѣхъ частей этой системы Эдельсонъ съ особеннымъ усердіемъ изучалъ феноменологію духа и эстетику. Обличенія крайностей и несостоятельности началъ Гегелевой системы, появлявшіяся нерѣдко въ „Москвитянинѣ“ сороковыхъ годовъ, не имѣли на Эдельсона никакого вліянія, и онъ оставался подъ безусловнымъ владычествомъ Гегеля до появленія на каедрѣ философіи въ Московскомъ университетѣ М. Н. Каткова, котораго лекціи онъ посѣщалъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ... Подъ вліяніемъ чтеній и частныхъ личныхъ бесѣдъ съ этимъ замѣчательнымъ дѣятелемъ, котораго необычайныя дарованія цѣнились тогда, во всю ихъ мѣру, только немногими близкими къ нему людьми, въ томъ числѣ и Эдельсономъ, онъ обратился къ изученію психологіи Бенеке, точный и строгій методъ котораго имѣлъ на его умъ весьма благотворное вліяніе.

Въ 1847 году Эдельсонъ собрался за границу и, простившись съ друзьями, отправился уже въ Петербургъ, чтобы, получивъ заграничный паспортъ, слѣдовать далѣе; но правительство, встревоженное тогдашнимъ революціоннымъ настроеніемъ всей западной Европы, нашло нужнымъ воспретить молодымъ людямъ, стремившимся довершать въ европейскихъ университетахъ свое образованіе, посѣщеніе западной Европы, и Эдельсонъ долженъ былъ возвратиться въ Москву, гдѣ при посредствѣ Т. И. Филиппова „познакомился и вскорѣ дружески сблизился съ А. Н. Островскимъ“. Литературная дѣятельность Эдельсона была посвящена почти исключительно критикѣ, и въ этой области онъ являлся неизмѣннымъ поборникомъ чистаго искусства. Т. И. Филипповъ дѣлаетъ слѣдующую характеристику Эдельсона, какъ писателя: „Самостоятельная литературная дѣятельность Эдельсона“, говоритъ онъ, „была посвящена почти исключительно критикѣ, и въ этой области онъ являлся неизмѣннымъ поборникомъ чистаго искусства и защитникомъ его отъ тѣхъ неистовыхъ поруганій, которымъ оно подвергалось въ послѣдніе годы во многихъ изъ петербургскихъ изданій. И хотя его имя не будетъ числиться между именами замѣчательныхъ дѣятелей отечественной литературы, тѣмъ не менѣе всякій безпристрастный читатель не откажется признать въ его трудахъ полную самостоятельность мысли, весьма тонкое художественное чувство и замѣчательно изящное изложеніе. Тонъ его критическихъ статей былъ всегда спокоенъ и въ высшей степени деликатенъ, даже тогда, когда ему приходилось опровергать ученія и мнѣнія самаго непривлекательнаго свойства. Инымъ въ этой чертѣ его дѣятельности представлялась нѣкоторая робость его пріемовъ и не совсѣмъ похвальная терпимость къ такимъ явленіямъ, которыя требовали бы, вмѣсто спокойнаго и безстрастнаго обличенія, рѣзкихъ и безусловныхъ порицаній. Но знавшіе ближе Эдельсона видѣли, что опровергаемыя имъ доктрины были ему въ такой же мѣрѣ противны, какъ и всякому здравомыслящему человѣку, и что спокойствіе и невозмутимое приличіе его тона, при публичной встрѣчѣ съ этими ученіями, происходили вовсе не отъ робости передъ самодѣльными авторитетами, но изъ глубокаго уваженія къ достоинству литературы, на аренѣ которой онъ съ нимъ встрѣчался. Онъ чувствовалъ себя и былъ на самомъ дѣлѣ въ такой степени самостоятельно мыслящимъ человѣкомъ, что не имѣлъ никакой нужды заявлять о своей самостоятельности какими-либо рѣзкими выходками и постыдной перебранкой, въ коихъ состоитъ вся слава многихъ изъ его литературныхъ противниковъ“.

Борисъ Николаевичъ Алмазовъ родился 27 октября 1827 г., въ городѣ Вязьмѣ, Смоленской губерніи, а дѣтство провелъ въ родовомъ селѣ Караваевѣ, Сычевскаго уѣзда. Отецъ его, Николай Петровичъ, по рожденію и состоянію принадлежалъ къ высшему московскому обществу, и въ 1812 году вступилъ въ гусарскій полкъ графа П. И. Салтыкова, гдѣ служилъ вмѣстѣ съ А. С. Грибоѣдовымъ, съ которымъ былъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ, а затѣмъ участвовалъ въ компа-

ніяхъ 1813—1814 гг. Сестра Н. П. Алмазова, Варвара Петровна, была замужемъ за Сергѣемъ Васильевичемъ Шереметевымъ, а самъ Н. П. Алмазовъ былъ женатъ на Евдокіи Петровнѣ Зубковой. Въ дѣтскомъ воспитаніи ихъ сына, Бориса, важную роль играла нянька Анна Максимовна, по происхожденію турчанка, и дядька Василій Архиповъ. По свидѣтельству Т. И. Филиппова, оставивши по неприятности пансіонъ Энеса, Алмазовъ въ качествѣ вольнаго слушателя посѣщалъ московскій университетъ, гдѣ онъ встрѣтился съ Филипповымъ, который зналъ его и раньше, а теперь возобновилъ съ нимъ знакомство. Филипповъ былъ уже старымъ студентомъ, находился на послѣднемъ курсѣ, а потому имѣлъ уже нѣкоторое положеніе. Алмазовъ, несмотря на совершенно юношескій еще свой возрастъ, показывалъ уже признаки крупнаго литературнаго таланта, вслѣдствіе чего Филипповъ и познакомилъ его скоро съ Островскимъ и Эдельсономъ. Островскимъ введенъ былъ Алмазовъ и въ составъ „Молодого Москвитянина“. Черезъ Алмазова познакомились съ кружкомъ и бывшіе товарищи его по пансіону, Тепферъ и Зедеггольмъ, впоследствии отецъ Климентъ Оптинскій.

Дѣятельность же Б. Н. Алмазова въ „Москвитянинѣ“ началась съ 1851 года. Одинъ изъ современныхъ историковъ русской литературы замѣчаетъ: „Не будь молодежи въ составѣ редакціи „Москвитянина“, развѣ осмѣлился бы Алмазовъ явиться къ надутому Шевыреву и чопорному, строгому Погодину со своими веселыми остроумными пародіями на Некрасова и Панаева, которыми онъ, подъ псевдонимомъ „Эраста Благодрава“, съ такимъ успѣхомъ дебютировалъ въ „Москвитянинѣ“. Съ основанія „Москвитянина“, въ немъ было изгнано все, что отзывалось фельетономъ — легкомысліемъ, и не даромъ вся журналистика ахнула отъ удивленія, когда мрачные своды Погодинскаго *suu generis древнехранилища* вдругъ огласились взрывами молодого смѣха и юношеской задорной веселости“.

Давній сотрудникъ „Старога Москвитянина“, А. А. Григорьевъ, по свидѣтельству Т. И. Филиппова, въ 1851 году поступилъ преподавателемъ юридическихъ наукъ въ Московскую первую гимназію, гдѣ встрѣтился онъ съ Филипповымъ, который читалъ тамъ русскую словесность и церковно-славянскій языкъ. Въ ту пору Григорьевъ не имѣлъ умственнаго пріюта и послѣ многихъ умственныхъ скитаній сталъ приглядываться къ „Молодому Москвитянину“, куда и введенъ былъ тѣмъ же Филипповымъ.

Въ 1850 году, выступилъ въ „Москвитянинѣ“ на литературное поприще Алексѣй Теофилактовичъ Писемскій. Онъ родился 10 марта 1820 года, въ сельцѣ Раменѣ, Костромской губ., Чухломскаго уѣзда. Учился въ Костромской гимназіи, а потомъ поступилъ въ Московскій университетъ, гдѣ и окончилъ курсъ по второму отдѣленію философскаго факультета. Онъ еще „со временъ студенчества былъ друженъ съ Т. И. Филипповымъ и зналъ Эдельсона“. Филипповъ познакомилъ его съ другими членами „Молодого Москвитянина“.

Литературная дѣятельность Писемскаго началась въ Москвѣ еще съ 1846 года романомъ „Боярщина“, ходившимъ въ то время по рукамъ въ рукописи, и только въ 1858 году романъ сей появился въ „Библиотеку для Чтенія“.

4 сентября 1850 года, А. Н. Островскій привезъ къ Погодину повѣсть Писемскаго, и эта повѣсть, подъ заглавіемъ „Тюфякъ“, была напечатана въ октябрьской книжкѣ „Москвитянина“ 1850 года.

Въ народномъ направленіи подѣйствовало на Островскаго и на весь кружокъ и знакомство съ П. М. Садовскимъ, который тогда былъ, по своимъ убѣжденіямъ, всесовершеннымъ славяниномъ, раздѣлявшимъ и религіозныя убѣжденія и вѣрованія старшихъ славянофиловъ, еще чуждыя членамъ кружка „Молодого Москвитянина“. Съ этимъ великимъ художникомъ Островскій сблизился въ 1850 году, и въ то же время П. М. Садовскій вошелъ въ особую близость съ Филипповымъ, Эдельсономъ и Алмазовымъ. Какую цѣну имѣло это сближеніе, можетъ понять всякій. Такого исполнителя типовъ, созданныхъ Островскимъ, можно видѣть только во снѣ. Этотъ писатель и этотъ актеръ были буквально созданы другъ для друга и представляли идеальное сочетаніе. Много позже въ тотъ же литературный кружокъ явился другой неподражаемый художникъ, Иванъ Ѳедоровичъ Горбуновъ, который и былъ принятъ тотчасъ же кружкомъ, какъ присный. Воспитаніемъ таланта его въ такой средѣ, на ряду съ художественною природою самого дарованія, объясняется отчасти то обстоятельство, что И. Ѳ. Горбуновъ избѣгъ навсегда, столь опаснаго для всякаго комическаго писателя, шаржа.

Барсуковъ.

Самобытныя вліянія, пережитыя Островскимъ.

Знакомства Островскаго, одинаково нужны для него, принадлежали къ двумъ обществамъ, и связующимъ звеномъ между этими обществами являлась личность молодого писателя. Онъ не былъ исключительно книжнымъ литераторомъ, онъ началъ самостоятельную жизнь практической дѣятельностью, — это счастливое совпаденіе отразилось на *средѣ* и писательскихъ опытахъ Островскаго. Онъ, по семейнымъ преданіямъ и по роду своей службы, безпрестанно сталкивался съ великимъ множествомъ простыхъ русскихъ людей, „русаковъ“, какъ онъ самъ выражался въ своей замоскворѣцкой повѣсти, — и въ то же время по образованію и таланту принадлежалъ интеллигенціи, былъ однимъ изъ самыхъ блестящихъ украшеній литературнаго московскаго міра. Отсюда — чрезвычайно пестрая толпа „хорошихъ“, „душевныхъ“ людей, окружавшая Островскаго на первыхъ порахъ его литературной дѣятельности.

Мѣстомъ свиданій пріятельскаго кружка служилъ трактиръ Гурина, собственно одно изъ его отдѣленій — весьма извѣстное въ прошломъ московской литературной жизни — „Печкинская кофейня“.

Здѣсь собирались студенты, писатели, торговцы и просто любители веселой интересной бесѣды и въ особенности русской пѣсни. Среди „русаковъ“ выдѣлялся Иванъ Ивановичъ Шанинъ — торговецъ изъ ильинскихъ рядовъ.

Островскій весьма многимъ позаимствовался отъ этого оригинальнаго, богатоодареннаго „простого человѣка“. Шанинъ отличался рѣдкимъ остроуміемъ, былъ мастеръ на бойкую мѣткую рѣчь, поражалъ находчивостью, когда надо было дать яркую и сильную характеристику лица или бытового явленія. Нѣкоторые рассказы и оригинальныя выраженія Шанина навсегда врѣзывались въ памяти слушателей. Онъ посвящалъ своихъ пріятелей въ многообразныя тайны гостинодворскихъ дѣльцовъ, забавно и талантливо объяснял, какъ московскіе купцы обдѣлываютъ иногороднихъ обывателей, ловко сбываютъ имъ гнилье и лежалый товаръ. Изъ бесѣдъ того же Шанина нашъ кружокъ друзей и въ томъ числѣ Островскій узнали объ одномъ изъ распространеннѣйшихъ замоскворѣцкихъ типовъ, о купеческомъ братѣ, жертвѣ загула и пагубныхъ увлеченій. Фигура Любима Торцова, слѣдовательно, была навѣяна рассказами бойкаго и остроумнаго купчика. Не мало перепало въ комедіи Островскаго и отдѣльных блестящихъ чисто русскихъ выраженій, слетавшихъ съ языка Шанина въ разгарѣ пріятельской бесѣды.

И Шанинъ былъ не одинъ. Въ компанію входило еще человѣкъ пять молодежи — живой, веселой, искусной на разныя затѣи и замысловатыя выходки. Компанія носила наименование „оглашенныхъ“, — но это прозвище отнюдь не слѣдуетъ понимать въ унижительномъ смыслѣ. Всѣ молодые люди были заняты какимъ-нибудь дѣломъ, служили, торговали, учились, и всѣхъ ихъ соединяло общее чувство восторга предъ новымъ литературнымъ талантомъ. Въ пріятельской бесѣдѣ веселье било ключомъ, смѣхъ не умолкалъ, крылатыя слова летѣли вихремъ, каждый старался блеснуть своимъ искусствомъ — рассказать свою исторію, изобразить въ лицахъ героя или героиню изъ невѣдомой страны, именуемой Замоскворѣчьемъ.

Представлялась съ поразительной артистической вѣрностью молящаяся старуха. Молитвѣ ея мѣшаетъ собака, она теревитъ старуху за подолъ и намѣревается укусить за ногу. Старуха ворчитъ, собака лаетъ, старуха отмахивается и продолжаетъ въ то же время свою молитву. Сцена кончается торжествомъ собаки, она кусаетъ старуху, та ее бьетъ, — поднимается вой, крикъ — и все это одновременно воспроизводится артистомъ — въ единодушному восторгу публики.

Среди этой публики присутствуетъ Писемскій, впоследствии — знаменитый писатель, теперь простодушно, по-дѣтски смѣшливый наблюдатель. Онъ надолго запомнитъ лицедѣйскія упражненія пріятелей и перенесетъ ихъ въ свой романъ „Сороковые годы“. Можетъ быть, даже съ большимъ восторгомъ, чѣмъ слѣдовало, онъ перескажетъ забавныя представленія молодежи, окружавшей Островскаго. Артистъ, неподражаемо изображавшій сцену молящейся старухи съ собакой,

столь же искусно вмѣстѣ съ другимъ такимъ же художникомъ воспроизводилъ голоса животныхъ, цѣлаго стада. Именно герои Писемскаго подвизаются въ подобнаго рода искусствѣ, и авторъ устами главнаго лица своего романа восклицаетъ: „Да“, это смѣхъ — настоящій, честный, добрый“.

Компанія не только сама жила полной, веселой и возбуждающей жизнью, — она вносила ее всюду, гдѣ только являлась, вызывала у другихъ мѣткость и острогу выраженій, создавала, однимъ словомъ, все ту же своеобразную вдохновляющую атмосферу, какою питался нашъ молодой талантъ. Пьесы Островскаго переполнены сильными, краткими озаряющими опредѣленіями — явленій и личностей, — и онъ первый внесъ это богатство въ русскую литературу. И оно само плыло въ его руки, чуть не ежедневно онъ могъ собирать эти перлы своего литературнаго языка, вращаясь въ кругу „русаковъ“ и дыша почвеннымъ московскимъ воздухомъ.

Не малую лепту внесла въ его творчество и подруга молодой жизни писателя, — Агаея Ивановна. Она была простаго происхожденія, не отличалась красотой, не получила образованія, но обладала большой душевной привлекательностью, недюжиннымъ умомъ и сильнымъ характеромъ. Она сумѣла внушить пріятелямъ Островскаго уваженіе и любовь, они въ шутку сравнивали ее съ Марою Посадницей, — и дѣйствительно, отъ нея исключительно зависѣлъ порядокъ скуднаго хозяйства Островскаго. Она, при самыхъ ограниченныхъ средствахъ, сумѣла создать довольство и всегда имѣла чѣмъ угостить друзей хозяина. Бесѣда ихъ не обходилась безъ ея участія, и участіе было дѣятельное. Агаея Ивановна обладала прекраснымъ голосомъ, знала очень много русскихъ пѣсень и превосходно ихъ пѣла. Она была драгоценнымъ членомъ общества и въ другихъ отношеніяхъ и всегда могла оказать не малую услугу Островскому, какъ писателю. Купеческій бытъ Агаея Ивановна знала до тонкости, глубоко понимала обычаи и нравы таинственнаго замоскворѣцкаго царства. Островскій внимательно прислушивался къ ея сужденіямъ, высоко цѣнилъ ея совѣты и многое исправлялъ въ своихъ пьесахъ по ея приговору. Свидѣтели ранней литературной дѣятельности Островскаго большую долю участія приписываютъ Агаею Ивановну въ комедіи „Свои люди — сочтемся“, — особенно въ ея содержаніи и внѣшней обстановкѣ. Вообще, по всѣмъ даннымъ, Агаея Ивановна представляется личностью незаурядной и настолько привлекательной и интересной, что друзья Островскаго навсегда сохранили о ней самыя лестныя воспоминанія.

Таковы чисто русскія самобытныя вліянія, пережитыя Островскимъ — авторомъ первыхъ произведеній изъ замоскворѣцкаго быта. Но рядомъ съ „русаками“ писателя окружали люди другого круга, — артисты, студенты, литераторы. Между этими, повидимому, довольно различными и пестрыми элементами связующимъ звеномъ была всѣхъ одинаково горячо одушевлявшая любовь къ русской народности, къ народному творчеству, въ особенности къ русской народной пѣснѣ.

Тотъ же Писемскій сохранилъ яркое воспоминаніе объ этомъ увлеченіи и также перенесъ его въ одинъ изъ своихъ романовъ — „Взбаламученное море“. Здѣсь разсказывается сцена, очевидно, безпрестанно повторявшаяся въ студенческомъ трактирѣ „Британія“. Среди шума и оживленныхъ бесѣдъ мгновенно все смолкло.

— Тертіевъ поетъ! воскликнулъ студентъ и, перескочивъ черезъ голову другого студента, убѣжалъ. Другіе устремились за нимъ. Въ бильярдной они увидѣли молодого бѣлокурого студента, который опершись на кій и подобравъ высоко грудь, пѣлъ чистымъ теноромъ:

Кто бы, кто бы моему горю-горюшкѣ помогъ.

Слушали его нѣсколько студентовъ. Одинъ изъ прибѣжавшихъ на звуки пѣсни шмыгнувъ съ ногами на диванъ и превратился въ олицетворенное блаженство. Въ сосѣдней комнатѣ Кузьма, половой, прислонившись съ притолкѣ, погрузился въ глубокую задумчивость. Прочіе полковые также слушали. Многие изъ гостей-купцовъ не безъ удовольствія повернули свои уши къ дверямъ. Пропѣтая пѣсня смѣнилась другой:

Ужъ ведутъ, ведутъ Ванюшу: руки-ноги скованы,
Буйная его головка да вся испроломана...

И восторги слушателей не ослабѣвали и не падали. „За душу захватывала русская пѣсня“, вспоминалъ потомъ Горбуновъ, — „въ натуральномъ исполненіи Т. И. Филиппова“, — и именно этого пѣвца изображаетъ Писемскій.

Русская пѣсня въ кружкѣ Островскаго пользовалась исключительнымъ почетомъ. Искусныхъ пѣвцовъ разыскивали во всѣхъ углахъ Москвы, не обѣгая грязныхъ, шумливыхъ трактировъ и погребовъ. Сюда собирались доморощенные артисты, игравшіе на разныхъ инструментахъ, и о нѣкоторыхъ изъ нихъ такъ вспоминаетъ Т. И. Филипповъ: „Николка-рыжій гитаристъ, Алексій съ торбаномъ: водку запивалъ квасомъ, потому что никакой закуски желудокъ его не принималъ. А былъ артистъ и „венгерку“ на торбанѣ игралъ, такъ, что и до сихъ поръ помню“.

Подобная пѣсня раздавалась не въ однихъ трактирахъ и кабачкахъ. Общепринятый непобѣдимый артистъ Т. И. Филипповъ перенесъ ее въ литературныя гостинныя и даже въ свѣтскія залы. Здѣсь восторгъ охватывалъ и самихъ хозяевъ и ихъ прислугу, часто плакавшую отъ умиленія.

Островскій раздѣлялъ общее восхищеніе. Онъ и самъ обладалъ очень красивымъ теноромъ, пѣлъ превосходно, — правда, не русскія пѣсни, а романсы. И ему очень льстили его успѣхи на этомъ поприщѣ, онъ въ ранней молодости готовъ былъ гордиться ими, по крайней мѣрѣ, не меньше, чѣмъ писательскими. Народная пѣсня произвела на драматурга неотразимое впечатлѣніе. Подъ вліяніемъ ея — не только его художественный талантъ усвоилъ новые мотивы творчества, но

измѣнилось даже самое міросозерцаніе Островскаго. Несомнѣннымъ отраженіемъ народныхъ пѣсенъ явилась драма „Не такъ живи, какъ хочеться“. Островскій очень долго и тщательно работалъ надъ этой пьесой, воодушевляя ее поэтическимъ народнымъ духомъ. Какое значеніе имѣла въ этой работѣ народная поэзія показываетъ первый набросокъ пьесы: онъ переполненъ выраженіями и цѣлыми стихами изъ народныхъ пѣсенъ.

Но еще существеннѣе, конечно, вопросъ о преобразованіи міросозерцанія молодого писателя, т.-е. о видоизмѣненіи самой основы его литературной дѣятельности. Оно въ высшей степени любопытно и составляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ фактовъ всей жизни Островскаго.

Ивановъ.

Вліаніе путешествія Островскаго по Россіи на его творчество.

Правительственная командировка литераторовъ для изученія мѣстностей Россіи въ бытовомъ и промышленномъ отношеніи — фактъ въ высшей степени замѣчательный въ исторіи русскаго общества. Онъ совпалъ съ началомъ царствованія Александра II и былъ созданъ великимъ княземъ Константиномъ Николаевичемъ. Великій князь былъ однимъ изъ самыхъ искреннихъ сторонниковъ преобразовательнаго движенія. Второй сынъ императора Николая, былъ назначенъ для морской службы. На этомъ поприщѣ великій князь успѣлъ развить дѣятельность, совершенно неожиданную и, повидимому, не входившую въ кругъ обязанностей и заботъ *генералъ-адмирала*. Прежде всего онъ наложилъ руку на жестокую язву стараго времени, — на невѣжество, обманъ и всевозможныя тайныя преступныя продѣлки чиновниковъ. Онъ потребовалъ безусловной *правды* во всѣхъ служебныхъ отчетахъ, какіе представлялись ему, — и притомъ правда не должна была оставаться тайной канцеляріи. Великій князь желалъ знать подробно внутреннее состояніе Россіи, и для изученія его были призваны не чиновники, а лучшіе современные писатели и знатоки народнаго быта — Писемскій, Гончаровъ, Григоровичъ, Потѣхинъ, Аванасьевъ-Чужбинскій, Максимовъ. Островскій самъ вызвался принять участіе въ изслѣдованіяхъ. Онъ вошелъ въ соглашеніе съ Потѣхинымъ и подѣлилъ съ нимъ Волгу. Потѣхинъ взялъ себѣ мѣстность отъ устьевъ Оки до Саратова, Островскому достались верховья Волги.

При морскомъ вѣдомствѣ издавался журналъ „Морской Сборникъ“. Великій князь расширилъ содержаніе журнала и допустилъ статьи по самымъ жгучимъ современнымъ общественнымъ вопросамъ, — о гласномъ судопроизводствѣ, объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній. Въ журналѣ появились сочиненія, не имѣвшія ничего общаго съ морскимъ дѣломъ. Геніальный врачъ и знаменитый педагогъ Пироговъ помѣстилъ здѣсь свои статьи — „Вопросы жизни“, возставшія противъ

жестовости и бездушія старыхъ педагоговъ и учителей. Газеты только и жили перепечатками изъ морского журнала. Здѣсь же предполагалось печатать и отчеты писателей, отправлявшихся изслѣдовать русскую землю. Задача предстояла трудная и требовала отъ путешественниковъ особеннаго умѣнья — говорить съ простыми русскими людьми и вызывать ихъ на откровенность. Все, сколько-нибудь напоминавшее власть и начальника, отпугивало самыхъ смѣлыхъ и связывало ихъ языкъ. Такъ происходило особенно въ глухихъ мѣстностяхъ, представлявшихъ именно больше всего интереса для изслѣдователей. Нужна была большая сноровка, простота и находчивость, чтобы даромъ не прогуляться среди повально молчаливыхъ и загадочныхъ людей.

Выгодъ за всѣ труды большихъ не представлялось. Содержаніе было положено очень скромное — по сту рублей въ мѣсяцъ каждому изслѣдователю. Впослѣдствіи оно было увеличено, — но и самое дѣло являлось весьма сложнымъ, безпрестанно требовало неожиданныхъ расходовъ, — и писателей могла привлекать преимущественно занимательность самой работы. Наконецъ, вопросъ о печатаніи отчетовъ въ „Морскомъ Сборникѣ“ съ теченіемъ времени принялъ неблагоприятный оборотъ. Рѣшать его досталось морскому ученому комитету. Во главѣ комитета стоялъ адмиралъ Рейнеке, весьма мало понимавшій и цѣнившій вообще литературу и совершенно равнодушный ко всему — за предѣлами спеціальной морской и водяной службы. Онъ рѣшилъ искать въ статьяхъ изслѣдователей и принимать только то, что имѣло непосредственное отношеніе къ водѣ и представляло простой служебный докладъ. Въ результатѣ комитетъ сталъ отвергать статьи „по литературному достоинству“, устранять рассказъ о личныхъ впечатлѣніяхъ, вызванныхъ у автора природой, самобытными чертами быта. Художественная и просто свободная литературная форма изложенія не допускалась, — и авторы должны были искать мѣста своимъ статьямъ въ другихъ изданіяхъ. Островскій подвергся общей участи. Его отчетъ, „Путешествіе по Волгѣ отъ истоковъ до Нижняго Новгорода“ напечатанъ въ „Морскомъ Сборникѣ“, но авторъ былъ слишкомъ художникъ, чтобы удовлетворить канцелярскую редакцію. Отчетъ подвергся измѣненіямъ и сокращеніямъ, вычеркнуто не мало художественныхъ подробностей, — а въ нихъ именно и заключалась высшая цѣнность статьи.

Островскій собралъ громадное количество матеріала. Онъ остался безъ обработки, благодаря ученому морскому комитету; но и въ сыромъ видѣ онъ представлялъ поучительный и богатый источникъ свѣдѣній о верховьяхъ Волги. Островскій приступилъ къ изученію края прежде всего какъ художникъ, отзывчивый на все оригинальное и яркое въ природѣ и въ человѣческомъ быту. Даже въ напечатанномъ отчетѣ выгравировать окончательно художественные приемы судить о предметахъ и людяхъ — не удалось редакторамъ. Постоянно встрѣчаются живыя сцены, жизненные бытовые факты, мѣткія вдохновенныя характеристики, легучія острые слова. Любопытно, на примѣръ, свѣдѣніе о нравахъ города Торжка: оно впослѣдствіи пригодилось Островскому и

какъ драматургу. У торжковскихъ дѣвушекъ искони ведется обычай — тайный увозъ невѣсть, — и Кудряшъ является несомнѣннымъ отголо-скомъ торжковскихъ впечатлѣній.

Помимо нравовъ, Островскій подмѣчаетъ особенности мѣстныхъ говоровъ, записываетъ оригинальныя выраженія и даже собираетъ ма-теріаль для словаря нарѣчія приволжскаго населенія. Эти матеріалы наслѣдники Островскаго передадутъ потомъ въ Академію Наукъ. Не за-бываетъ путешественникъ и красоту природы, — пользуется каждымъ шагомъ своего пути, какъ глубокой внатокъ русской народной психо-логіи, какъ страстный любитель родной старины.

Легко представить, какую великую пользу принесло путешествіе художественному таланту Островскаго! Лучшей школы для него дельзя было и представить. Онъ видѣлъ одну изъ самыхъ самобытныхъ исто-рическихъ мѣстностей Россіи — съ древними городами, съ исконно-старинными обычаями и нравами; съ своеобразнымъ прадѣдовскимъ языкомъ. Его поражала беспросвѣтная захолустная глушь, въ срединѣ Россіи, въ какихъ-нибудь шестидесяти верстахъ отъ древняго города Твери. Онъ невольно вспоминалъ не только историческія былія давнихъ временъ, но даже сказки: до такой степени кругомъ жизнь была перво-бытна и неподвижна, — и теперь еще можно встать повторить выра-женіе русской сказки про Ивана Царевича: „Ѣдетъ онъ до вечера — перекусить ему нечего“.

И русскій путникъ въ срединѣ XIX вѣка едва достаетъ въ по-путномъ селѣ нѣсколько яицъ — утолить свой голодъ.

Дальше, его поражаетъ полное отсутствіе мужиковъ во всей деревнѣ, даже десятскимъ — баба, и на вопросъ, гдѣ мужики, отвѣчаетъ на не-слыханномъ языкѣ:

— Которы ушли у вамотесы, которы дорогу циня.

А рядомъ вѣчные города съ былой, безвозвратно исчезнувшей вольностью, широкая Волга, выдавшая виды на своихъ тихихъ водахъ, Нижній Новгородъ съ величавой исторіей Козьмы Минина, захудалый Угличъ съ кровавымъ трагическимъ преданіемъ о цареубійцѣ... Всѣ эти событія и образы прошлаго всплывали въ памяти Островскаго и не могли исчезнуть безслѣдно. Нѣкоторыя случайныя встрѣчи еще глубже вѣдрали впечатлѣнія поволжскаго путешествія.

„Гроза“ писалась одновременно съ отчетомъ о путешествіи: отчетъ появился въ „Морскомъ Сборникѣ“ въ 1859 году, „Гроза“ — въ пер-вой книгѣ „Библиотеки для чтенія“ за 1860 г. Оба произведенія — плодъ живыхъ впечатлѣній путешествія. Участъ „Грозы“ оказалась счастливейше статьи. На драму обратила вниманіе Академія и поручила проф. Плетневу представить отзывъ о пьесѣ. Критикъ восхищался характеромъ Катерины, вѣрнымъ изображеніемъ провинціального го-родского быта и находилъ произведеніе достойнымъ Уваровской преміи. Академія и присудила эту премію 29 декабря 1860 года.

Но воспоминанія о поѣздѣ не ограничились „Грозой“. Остров-скій начинаетъ дѣятельно заниматься русской стариной. Подвигъ Козьмы

Минина представлялъ благодарную задачу для драмы. Волжскія впечатлѣнія ярко возставали въ памяти драматурга, и онъ даже вложилъ въ уста своего героя описаніе одной изъ самыхъ краснорѣчивыхъ картинъ Поволжья.

Мининъ ободряетъ себя мыслью, что не погибнетъ царство, населенное народомъ упорнаго и терпѣливаго труда. Глядя на родную рѣку, Мининъ говоритъ:

Вонъ огоньки зажглись по берегамъ...
Бурлаки, трудъ тяжелый забывая,
Убогую себѣ готовятъ пищу.
Вонъ пѣсню затанули... Нѣтъ, не радость
Сложила эту пѣсню, а неволя, —
Неволя тяжкая и трудъ безмѣрный.
Разгромъ войны, пожары деревень,
Житъе безъ кровли, ночи безъ ночлега...
О, пойте! Громче пойте! Соберите
Всѣ слезы, съ матушки широкой Руси,
Новгородскія, псковскія слезы,
Съ Оки и съ Клязьмы, съ Дона и съ Москвы,
Отъ Волхова и до широкой Камы...
Пусть всѣ онѣ въ одну сольются пѣсню,
И рвутъ мнѣ сердце, душу жгутъ огнемъ,
И слабый духъ на подвигъ утверждаютъ...

Драма появилась въ январской книгѣ „Современника“ за 1862 годъ. Ровно три года спустя въ томъ же журналѣ Островскій напечаталъ „Воеводу или сонъ на Волгѣ“. Вся пьеса одушевлена удалью старинныхъ волжскихъ молодцовъ, жившихъ „матушкой-Волгой“, дѣлившихъ съ нею свои радости и горе. Одна изъ самыхъ лирическихъ пьесъ написана, повидимому, исключительно во славу Волги. Открывается она настоящимъ гимномъ въ честь великой рѣки: стихи эти, по разсказу очевидца, производили сильнѣйшее впечатлѣніе на замоскворѣцкихъ друзей автора, они не могли равнодушно слушать ихъ даже въ чтеніи. Это — дѣйствительно очень красивое и прочувствованное обращеніе къ Волгѣ, говоритъ его одинъ изъ удалыхъ молодцовъ, которому нѣтъ простора въ избѣ и гулять охота въ лодкѣ по широкому волжскому раздолью:

Кормилица ты наша, мать родная!
Ты насъ поишь и кормишь и лелѣешь!
Челомъ тебѣ! Катись до синя моря,
Крутымъ ярамъ да краснымъ бережечкамъ
На утѣшенъе, какъ на погулянъе!
Не даромъ слово про тебя ведется;
Не мало пѣсенъ на Руси поется,
А всѣхъ милѣй — „По матушкѣ по Волгѣ“.

И дальше начинается пѣсня...

Островскій не ограничился лирическимъ воспроизведеніемъ стариннаго русскаго быта, онъ занялся обработкой наиболѣе драматиче-

скихъ сюжетовъ, какіе только можно отыскать въ русской исторіи. Эпоха междоусобія, конечно, стояла здѣсь на первомъ планѣ, „Козьма Мининъ“ — только вступленіе. Въ 1867 г. явилась въ печати драматическая хроника — „Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій“, въ томъ же году напечатано „Тушино“ и въ слѣдующемъ — „Василиса Мелентьева“.

Она возникла, несомѣнно, ради личности Ивана Грознаго. Мысль объ этой пьесѣ не принадлежала Островскому.

Раньше, чѣмъ творчество Островскаго развилось на новомъ пути, къ его волжскимъ воспоминаніямъ прибавились другія, не столь сильныя и глубокія, но имѣвшія свое значеніе въ художественномъ развитіи драматурга. Можетъ-быть, и мысль драматизировать самую живую эпоху русской исторіи была подсказана Островскому отчасти ближайшимъ знакомствомъ съ западно-европейской драматической литературой. Знакомство это находится въ связи съ заграничнымъ путешествіемъ нашего писателя.

Ивановъ.

Островскій на службѣ при Императорскомъ театрѣ.

Одобреніе государемъ записки Островскаго о народномъ театрѣ естественно завершилось практическимъ назначеніемъ. Во второй половинѣ 1885 года вопросъ былъ рѣшенъ окончательно и еще раньше Александръ III, въ первый разъ встрѣчая Островскаго, заявилъ ему:

— Поручая вашему вѣдѣнію свои театры, я увѣренъ, что они будутъ въ хорошихъ рукахъ. Дѣлайте все, что найдете полезнымъ для процвѣтанія ихъ.

Перваго января 1886 года управляющимъ Императорскими Московскими театрами былъ назначенъ А. А. Майковъ, Островскій — заведующимъ репертуарной частью и начальникомъ театрального училища. Московскіе театры получили самостоятельное управленіе и двухъ хозяевъ: собственно по хозяйственной части и по художественной и учебной. Важнѣйшія обязанности легли на Островскаго, на самомъ дѣлѣ единственнаго распорядителя театральнымъ дѣломъ, и онъ немедленно весь отдался своему долгу. У него давно уже былъ намѣченъ цѣлый рядъ реформъ. Еще раньше, когда была образована комиссія для пересмотра старыхъ театральныхъ постановленій и порядковъ, Островскій принялъ живѣйшее участіе въ ея работахъ. Еще тогда онъ неутомимо составлялъ записки, историческіе обзоры, проекты, и особенно хлопоталъ объ учрежденіи театральной школы.

„Если я доживу до тѣхъ поръ“, говорилъ онъ, „то исполнится мечта всей моей жизни, и я спокойно скажу: нынѣ отпущаеши раба Твоего съ миромъ!...“ Теперь только что полученное назначеніе онъ называлъ счастьемъ. Онъ почувствовалъ новый приливъ силъ, восторженный подъемъ духа, и „съ непогасшею еще страстностью“, говорилъ

онъ, взялъ на свои плечи новую ношу. Онъ прибавлялъ, что плечи были уже усталы, а ноша тяжела и непосильна. Но дѣйствительно страстная любовь къ дѣлу должна восполнить всѣ немощи и тягости.

Прежде всего Островскій принялся за вопросъ о школѣ. По обыкновенію онъ и на этотъ счетъ составилъ обстоятельную записку. Театральное училище должно поставять артистовъ на Императорскую сцену. Теперь эта сцена вынуждена пополнять свою труппу провинціальными актерами и даже любителями: явленіе — ненормальное и даже убыточное. Школа и сцена должны быть неразрывно другъ съ другомъ связанными учрежденіями. Изъ школы ученики должны поступать на сцену и здѣсь — среди опытныхъ артистовъ завершать свое художественное воспитаніе, вырастать на глазахъ публики. Театръ — естественное продолженіе школы, и такъ должно быть одинаково и для драмы и для оперы. Не оставилъ Островскій безъ вниманія и балетъ. Онъ хотѣлъ обновить его, сообщить ему занимательность — съ помощью феерій и сказочныхъ представленій. Наконецъ, драматургъ входилъ и въ частные вопросы театральной службы, тщательно пересматривалъ составъ лицъ, завѣдующихъ постановкой и исполненіемъ пьесъ, — и предложилъ не мало существенныхъ преобразованій и въ этой области. Работа шла безостановочно, можно сказать — Островскій полагалъ на нее всѣ свои духовныя и физическія силы. По временамъ имъ овладѣвала огорочъ предъ громадностью и сложностью задачи, и онъ писалъ тогда: „нѣтъ, я чувствую, что у меня нехватаетъ силъ и твердости провести въ дѣло, на пользу родного искусства тѣ завѣтныя убѣжденія, которыми я жилъ, которыя составляютъ мою душу. Это положеніе глубоко трагическое“. Но эти настроенія не заставляли Островскаго опускать руки. Напротивъ, послѣ тяжелаго раздумья онъ съ новымъ рвеніемъ набрасывался на работу и сообщалъ совсѣмъ другія вѣсти въ родѣ слѣдующей: „Вотъ уже двѣ недѣли я до самозабвенія работаю надъ преобразованіемъ театрального училища, а теперь страдаю на экзаменахъ всякой мелочи обоего пола“.

Очевидецъ рассказываетъ, до какихъ предѣловъ доходило утомленіе Островскаго. Почти каждый день онъ являлся домой измученный, съ потухшимъ взглядомъ, опускался въ кресло и въ теченіе нѣкотораго времени не могъ вымолвить слова...

— Дай мнѣ опомниться, прійти въ себя, — начиналъ онъ. — Я сегодня чуть не умеръ. Мнѣ нехватало воздуха, нечѣмъ было дышать... Ревматизмъ не позволяетъ отъ боли пошевелить руками... народу, съ которымъ надо было объясняться, пропасть... погомъ доклады — я сегодня подписалъ шестьдесятъ бумагъ, — и вотъ видишь, въ какомъ состояніи воротился домой...

Едва отдохнувъ, вечеромъ онъ отправлялся въ театръ, — большею частью успѣвалъ посѣтить тотъ и другой, волновался, видя неисправности, и дома засыпалъ безпокойнымъ и тревожнымъ сномъ.

Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ изнурительнаго труда Островскій собрался поѣхать въ деревню. Имѣніе это — селцо Щельково, Кине-

шемскаго уѣзда было приобрѣтено еще отцомъ Островскаго, по завѣщанію покойнаго досталось его второй женѣ, и она продала его своему пасынку.

Ивановъ.

Послѣдніе дни жизни Островскаго.

Мѣстность, гдѣ расположено Щельково, одна изъ самыхъ живописныхъ. Ее пересѣкаютъ три рѣчки: первая двѣ (Куенга и Сендега) быстрыя въ своемъ теченіи по оврагамъ, гдѣ онѣ красиво извиваются и шумятъ, дѣлая безчисленные каскады. Мера — спокойная, сплавная рѣчка, текущая также въ красивыхъ берегахъ (на ней Ал. Ник. любилъ ловить рыбу неводомъ). Не было ни одного гостя въ Щельковѣ, который бы не восхищался его мѣстоположеніемъ. Говорятъ, что отецъ братьевъ Островскихъ, чувствуя приближеніе смерти, просилъ приподнять его съ кровати, на которой кончился, чтобы дать ему возможность въ послѣдній разъ взглянуть на окрестные виды, открывающіеся изъ оконъ дома.

Въ усадьбѣ имѣется старый деревянный двухэтажный домъ, съ огромнымъ каменнымъ скотнымъ дворомъ и каменнымъ зданіемъ кухни и прачечной съ мезаниномъ. Въ мезанинѣ этомъ и въ верхнемъ этажѣ стараго дома находился пріютъ для пріѣзжихъ гостей. Всѣхъ чаще жилъ здѣсь актеръ Александринскаго театра Фед. Алекс. Бурдинъ съ семьей, издавна находившійся въ дружескихъ отношеніяхъ съ Ал. Ник., пользовавшійся особеннымъ его вниманіемъ передъ прочими и полнымъ довѣріемъ. Рѣдкое лѣто не навѣщали здѣсь Ал. Ник. кто-либо изъ литературныхъ и театралныхъ друзей и всѣхъ чаще, конечно, И. О. Горбуновъ.

Съ балкона открывается не подлежащій описанію живописный видъ на окрестности съ рѣчкой внизу горы и съ красивой, рисующейся среди зелени, церковью Никольскаго погоста. Послѣ покупки братьями Островскими у своей мачехи Щелькова, Мих. Ник. не въ далекомъ разстояніи отъ стараго дома, выстроилъ собственно для себя небольшой деревянный домикъ, соединенный со старымъ березовой аллеей. Въ этомъ домикѣ проживалъ Мих. Ник. въ рѣдкіе свои пріѣзды въ Щельково, чтобы отдохнуть отъ нелегкихъ и многосложныхъ своихъ обязанностей по управленію Министерствомъ государственныхъ имуществъ. Въ верхнемъ же этажѣ этого домика Ал. Ник. постоянно занимался вырѣзными работами изъ дерева, которыя онъ страстно любилъ и въ которыхъ былъ очень искусенъ. Видъ изъ этого домика еще лучше, чѣмъ изъ стараго дома.

Мы видѣли Ал. Ник., среди этихъ красотъ природы, здоровымъ и жизнерадостнымъ. Съ необыкновенно ласковою улыбкою, которой никогда невозможно забыть и которою высказывалось полнѣйшее удовольствіе доброю памятію и посѣщеніемъ, — радушно встрѣчалъ онъ

пріѣзжихъ и старался тотчасъ же устроить ихъ такъ, чтобы они чувствовали себя какъ дома. На деревенское угощеніе имѣлось достаточно запасовъ въ погребѣ и на огородѣ, на которомъ сажался и сѣялся всякій рѣдкій и нѣжный овощъ и которымъ любилъ похвастаться самъ владѣлецъ. У него, какъ у опытнаго и прославленнаго рыболова, что ни заносъ уды, то и клевь рыбы — обычно щурятъ — въ омутѣ рѣчки передъ мельничной запрудой, и въ такомъ количествѣ, при всякой ловлѣ, что довольно было на цѣлый ужинъ. Оставаясь такимъ же радушнымъ и хлѣбосольнымъ, какъ и въ Москвѣ, въ деревнѣ своей онъ казался упростившимся до дѣтской наивности и полного довольства и благодущія. Несомнѣнно, онъ отдохнулъ, повеселѣлъ и сталъ совершенно беззаботенъ, а чтобы не обратили ему это все въ упрекъ и обвиненіе, то, вотъ, когда открывається сѣздъ мировыхъ судей, онъ, въ качествѣ почетнаго судьи, каждый мѣсяцъ ѣздитъ въ городъ Кивешму, да и вообще ее старается посѣщать: тамъ у него есть, гдѣ остановиться и съ кѣмъ поговорить. А затѣмъ вотъ и газеты и журналы высылаются изъ Москвы: „читаемъ, гуляемъ въ своемъ лѣсу, ѣздимъ на Свдегу ловить рыбу, собираемъ ягоды, ищемъ грибы“. „Отправляемся въ луга съ самоваромъ — чай пьемъ. Соберемъ помочь, станемъ пѣсни слушать; угощеніе жницамъ предоставимъ: все по предписанію врачей на законномъ основаніи“. Богатырь въ кабинетѣ съ перомъ въ рукахъ, — въ столовую къ добрымъ гостямъ выходилъ настоящимъ ребенкомъ, а семьѣ всегда предъявлялась имъ сильная и глубокая любовь къ домашнему очагу. Въ маленькомъ скромномъ хозяйствѣ, не дающемъ ни копейки дохода, ощущалась полная благодать для внутренняго довольства и для здоровья, которое начало сдавать: усилились колотья въ бокахъ; увеличилась одышка, очень пугаетъ сердце. Въ деревнѣ меньше и рѣже приходится схватываться за грудь и жаловаться на боли, а по возвращеніи въ городъ, конечно, опять начнется старая исторія, и напомнятъ о себѣ застарѣлыя недуги. Въ городѣ много работы; не стало отдыха.

Между тѣмъ надвигалась бѣда. Чрезмѣрная работа послѣднихъ лѣтъ оказалась губительною тѣмъ болѣе, что цѣлый годъ производилась порывами и тревожно. Эти волненія и ежедневныя безпокойства въ Москвѣ оказались болѣе убійственными, чѣмъ прежняя умѣренная дѣятельность и правильно налаженныя литературныя занятія, когда привелось написать для русской драматической сцены 44 оригинальныхъ произведенія, кромѣ нѣкоторыхъ переводныхъ пьесъ. Литературныя занятія, какъ всякое тѣлесное упражненіе, могли казаться здоровыми, но, чрезмѣрно возбуждая душевныя силы, въ то же время истощали и убивали тѣло, въ которомъ уже успѣли угнѣздиться тяжелые недуги. Эта-то чрезмѣрность въ трудѣ, а главное — постоянное раздраженіе неприяностями по управленію трупной на податливой почвѣ потрясеннаго организма и сдѣлались роковыми, какъ всякое излишество, когда передъ отъѣздомъ на лѣто въ Щельково Ал. Ник. еще вдобавовъ и простудился. По цѣлымъ часамъ отъ ревматическихъ бо-

лей онъ не могъ пошевелиться и ужасно страдалъ; дорогой впадалъ въ обмороки.

А затѣмъ коротенькій сказъ, торопливое газетное извѣстіе, на легкомъ ходу:

„Утромъ въ Духовъ день 2 іюня (1886 г.), А. Н. Островскому внезапно сдѣлалось дурно, и онъ скончался“.

Совершилось ужасное событіе, и разнеслась по Россіи потрясающая вѣсть:

Островскаго не стало!

Тѣмъ не менѣе, по искреннему и правдивому выраженію, безыскусственному, высказанному, между прочимъ, на двадцатипятилѣтнемъ юбилеѣ его драматической дѣятельности:

Пройдутъ года — дойдетъ отъ дѣдовъ
Ко внукамъ трудъ почтенный твой,
И Пушкинъ, Гоголь, Грибоѣдовъ
Съ тобой вѣнецъ раздѣлять свой...

Показывая намъ юмористическую сторону жизни, онъ училъ плакать и смѣяться честно и искренно, — и этимъ особенно дорога намъ его память. Не далеко ходить и за утѣшеніемъ.

Уже очень давно сказано: „жить послѣ смерти въ сердцахъ тѣхъ, кого покидаемъ, — не значить умереть“, а нашимъ личнымъ воспоминаніямъ впереди остается еще довольно простора и поводовъ для объясненія дѣятельности и для характеристики личности нашего великаго драматическаго писателя.

Максимовъ

Самодурство и его растлѣвающее вліяніе.

Гдѣ больше строгости, тамъ и грѣха больше. Надо судить по человѣчеству.

Предъ нами въ „Семейной картинѣ“ грустно покорныя лица нашихъ младшихъ братій, обреченныхъ судьбою на зависимое, страдательное существованіе. Это міръ затаенной, тихо вздыхающей скорби, міръ тупой, ноющей боли, міръ тюремнаго, гробоваго молчанія, лишь изрѣдка оживляемый глухимъ, бессильнымъ ропотомъ, робко замирающимъ при самомъ зарожденіи. Нѣтъ ни свѣта, ни тепла, ни простора; гнилью и сыростью вѣетъ темная и тѣсная тюрьма. Ни одинъ звукъ съ вольнаго воздуха, ни одинъ лучъ свѣтлаго дня не проникаетъ въ нее. Въ ней вспыхиваетъ по временамъ только искра того священнаго пламени, которое пылаетъ въ каждой груди человѣческой, пока не будетъ залито наплывомъ житейской грязи. Чуть тлѣется искра въ сырости и смрадѣ темницы, но иногда на минуточку вспыхиваетъ она и обливаешь свѣтомъ правды и добра мрачныя фигуры томящихся узниковъ. При помощи этого минутнаго освѣщенія мы видимъ, что тутъ страдаютъ наши братья, что въ этихъ одичавшихъ, безсловесныхъ,

грязныхъ существахъ можно разобрать черты лица человѣческаго, — и наше сердце стѣсняется болью и ужасомъ. Они молчатъ, эти несчастные узники, — они сидятъ въ летаргическомъ оцѣпенѣніи и даже не потрясаютъ своими цѣпями; они почти лишились даже способности сознавать свое страдальческое положеніе; но тѣмъ не менѣе они чувствуютъ тяжесть, лежащую на нихъ, они не потеряли способности ощущать свою боль. Если они безмолвно и неподвижно переносятъ ее, такъ это потому, что каждый крикъ, каждый вздохъ, среди этого мрачнаго омута, захватываетъ имъ горло, отдается колючею болью въ груди, каждое движеніе тѣла, обремененнаго цѣпями, грозитъ имъ увеличеніемъ тяжести и мучительнаго неудобства ихъ положенія. И не отсюда ждать имъ отрады, негдѣ искать облегченія: надъ ними буйно и безотчетно владычествуетъ бессмысленное *самодурство*, въ лицѣ разныхъ Большовыхъ, Торцовыхъ, Брусковыхъ, Уланбековыхъ и пр., не признающее никакихъ разумныхъ правъ и требованій. Только его дикіе, безобразные крики нарушаютъ эту мрачную тишину и производятъ пугливую суматоху на этомъ печальномъ кладбищѣ человѣческой мысли и воли.

Но не мертвецы же всѣ эти жалкіе люди, не въ темныхъ же могилахъ родились и живутъ они. Вольный Божій свѣтъ разстилался когда-то и передъ ними, хоть на короткое время, въ давнюю пору раннаго беззаботнаго дѣтства. Воспоминаніе объ этой золотой порѣ не оставляетъ ихъ и въ смрадной тюрьмѣ, и въ горькой кабалѣ самодурства. Грубые, необузданные крики какого-нибудь самодура, широкіе размахи руки его напоминаютъ имъ просторъ вольной жизни, гордые порывы свободной мысли и горячаго сердца, — порывы заглушенные въ несчастныхъ страдальцахъ, но погибшіе не совсѣмъ безъ слѣда. И вотъ черныи осадокъ недовольства, безсильной злобы, тупого ожесточенія начинаетъ шевелиться на днѣ мрачнаго омута, хочетъ всплыть на поверхность взволнованной бездны и своимъ мутнымъ наплывомъ дѣлаетъ ее еще безобразнѣе и ужаснѣе. Нѣтъ простора и свободы для живой мысли, для задушевнаго слова, для благороднаго дѣла; тяжкій самодурный запретъ наложенъ на громкую, открытую, широкую дѣятельность. Но пока живъ человѣкъ, въ немъ нельзя уничтожить стремленія жить, то-есть проявлять себя какимъ бы то ни было образомъ во внѣшнихъ дѣйствіяхъ. Чѣмъ болѣе стремленіе это стѣсняется, тѣмъ его проявленія бывають уродливѣе; но совсѣмъ не быть они не могутъ, пока человѣкъ не совсѣмъ замеръ. И такова сила самодурства въ этомъ темномъ царствѣ Торцовыхъ, Брусковыхъ и Уланбековыхъ, что много людей дѣйствительно замираетъ въ немъ, теряетъ и смыслъ, и волю, и даже силу сердечнаго чувства — все, что составляетъ разумную жизнь, — и въ идіотскомъ безсиліи прозябаетъ, только совершая отправления животной жизни. Но есть и живучія натуры: тѣ глубоко внутри себя вбирають ядъ своего неудовольства, чтобы при случаѣ выпустить его, а между тѣмъ неслышно ползуть, подобно змѣѣ, съживаются, извиваются и перевертываются ужомъ и жабою... Они безмолвны, неслышны, незамѣтны; они знаютъ, что

всякое быстрое и размахистое движение отзовется нестерпимой болью на ихъ закованномъ тѣлѣ; они понимаютъ, что, рванувшись изъ своихъ желѣзъ, они не выбѣгутъ изъ тюрьмы, а только вырвутъ куски мяса изъ своего тѣла. И вотъ они принимаются за работу глухую и тихую: изгибаясь, вертясь и сжимаясь, они пробуютъ всѣ возможные манеры — нельзя ли втихомолку вывободить руки, чтобы потомъ распилить свои цѣпи... Начинается воровское, урывчатое движение, съ оглядкой, чтобы кто-нибудь не подмѣтилъ его; начинается обманъ и подлость, притворство и зложелательство, ожесточеніе на все окружающее и забота только о себѣ, о достиженіи личнаго спокойствія. Тутъ нѣтъ злобно обдуманнхъ плановъ, нѣтъ сознательной рѣшимости на систематическую, подземную борьбу, нѣтъ даже особенной хитрости; тутъ просто невольное, вынужденное внѣшними обстоятельствами, вовсе не обдуманное и ни съ чѣмъ хорошенько не соображенное проявленіе чувства самосохраненія. Какъ у насъ невольно и безъ нашего сознанія появляются слезы отъ дыма, отъ умиленія и хрѣна, какъ глаза наши невольно щурятся при внезапномъ и слишкомъ сильномъ свѣтѣ, какъ тѣло наше невольно сжимается отъ холода, — такъ точно эти люди невольно и бессознательно принимаются за плутовскую, лицемерную и грубо-эгоистическую дѣятельность, при невозможности дѣла открытаго, правдиваго и радушнаго... Нечего винить этихъ людей, хотя и не мѣшаетъ остерегаться ихъ: они сами не вѣдаютъ, что творять. Подъ страхомъ нагоняя и потасовки, рабски воспитанные, — съ безпрестаннымъ опасеніемъ остаться безъ куска хлѣба, рабски живущіе, они всѣ силы свои напрягаютъ на пріобрѣтеніе одной изъ главныхъ рабскихъ добродѣтелей — безсовѣстной хитрости. И чего же имъ совѣститься, какую правду, какія права уважать имъ? Вѣдь самодурство властвуетъ надъ ними, давить и убиваетъ ихъ — совершенно безправно, бессмысленно, безсовѣстно! Въ людяхъ, воспитанныхъ подъ такимъ владѣтельствомъ, не можетъ развиваться сознаніе нравственнаго долга и истинныхъ началъ честности и права. Вотъ почему безобразнѣйшее мошенничество кажется имъ похвальнымъ подвигомъ, самый гнусный обманъ — ловкою штукой. Они могутъ васъ надувать, обкрадывать, подводить подъ ножъ, и при всемъ этомъ оставаться искренно радужными и любезными съ вами, сохранять невозмутимое добросердечіе и множество истинно добродѣтельныхъ качествъ. Въ ихъ натурѣ вовсе нѣтъ злости, нѣтъ и вѣроломства; но имъ нужно какъ-нибудь выплыть, выбиться изъ гнилого болота, въ которое погружены они сильными самодурами; они знаютъ, что выбраться на свѣжій воздухъ, которымъ такъ свободно дышать эти самодуры, можно съ помощью обмана и денегъ; и вотъ они принимаются хитрить, льстить, надувать, начинаютъ и по мелочи и большими кушами, но всегда тайкомъ и рывкомъ, закладывать въ свой карманъ чужое добро. Что за дѣло, что оно чужое? Вѣдь у нихъ самихъ отняли все, что они имѣли, *свою волю и свою мысль*; какъ же имъ разсуждать о томъ, что честно и что безчестно? какъ не захотѣть надуть другого для своей личной выгоды.

Такимъ образомъ наружная покорность и тупое, сосредоточенное горе, доходящее до совершеннаго идиотства и плачевнѣйшаго обезличенія, переплетаются въ темномъ царствѣ, изображаемомъ Островскимъ, съ робкою хитростью, гнуснѣйшимъ обманомъ, безсовѣстнѣйшимъ вѣроломствомъ. Тутъ никто не можетъ ни на кого положиться: каждую минуту вы можете ждать, что пріятель вашъ похвалится тѣмъ, какъ онъ ловко обсчиталъ или обворовалъ васъ; компаніонъ въ выгодной спекуляціи — легко можетъ забрать въ руки всѣ деньги и документы и засадить своего товарища въ яму за долги; тестъ надуеъ зятя приданнымъ; женихъ обочтеть и надуеъ сваху; невѣста-дочь проведетъ отца и мать, жена обманетъ мужа. Ничего святого, ничего чистаго, ничего праваго въ этомъ темномъ мірѣ: господствующее надъ нимъ самодурство, дикое, безумное, неправое, прогнало изъ него всякое сознание чести и права... И не можетъ быть ихъ тамъ, гдѣ повержено впрахъ и нагло-растопгано самодурами человѣческое достоинство, свобода личности, вѣра въ любовь и счастье, и святыня честнаго труда.

А между тѣмъ тутъ же рядомъ, только за стѣною, идетъ другая жизнь, свѣтлая, опрятная, образованная... Обѣ стороны темнаго царства чувствуютъ превосходство этой жизни и то пугаются ея, то привлекаются къ ней. Но основы этой жизни, ея внутренняя сила — совершенно непонятны для жадныхъ людей, отвыкшихъ отъ всякой разумности и правды въ своихъ житейскихъ отношеніяхъ. Только самыя грубыя и внѣшнія, бьющія въ глаза, проявленія этой образованности понятны для нихъ, только на нихъ они нападаютъ, ежели вздумаютъ *невзлюбить* образованность, и только *ихъ подражаютъ*, ежели увлекутся страстью жить *по благородному*. Старикъ-самодуръ сбръветъ бороду и станетъ напиваться шампанскимъ, вмѣсто водки; дочь его будетъ пѣть *жестокіе* романсы и увлекаться офицерами; сынъ начнетъ кутить и покупать дорогія платья и шали танцовщицамъ; вотъ и весь кодексъ ихъ образованности... Зато и тѣ, которые боятся новаго свѣта, — если имъ попадется дурачекъ Вихоревъ или Бальзаминовъ, рады принять его за представителя образованности, и по поводу его излить свое негодованіе на новые порядки... И такъ черезъ всю жизнь *самодуровъ*, черезъ все страдальческое существованіе *безтоптыныхъ* проходитъ эта борьба съ волною новой жизни, которая, конечно, залетѣтъ когда-нибудь всю издавна накопленную грязь и превратитъ топкое болото въ свѣтлую и величавую рѣку, но которая теперь еще только вздымаетъ эту грязь и сама въ нее всасывается, и вмѣстѣ съ нею гниетъ и смердитъ... Теперь новыя начала жизни только еще тревожатъ сознание всѣхъ обитателей темнаго царства, въ родѣ далекаго привидѣнія или кошмара. Даже для тѣхъ, которые рѣшаются сами *подражать новую моду*, она все-таки, тяжела такъ, какъ тяжелъ бываетъ всякій кошмаръ, хотя бы въ немъ представлялись видѣнія самыя прелестныя. И точно какъ послѣ кошмара, даже тѣ, которые, повидимому, уже успѣли освободиться отъ самодурнаго гнета и успѣли возратить себѣ чувство и сознание, — и тѣ все еще не могутъ найтись хоро-

шенько въ своемъ новомъ положеніи, и не понявъ ни настоящей образованности ни своего призванія, не умѣютъ удержатъ и своихъ правъ, не рѣшаются и принятыя за дѣдо, а возвращаются опять къ той же покорности судьбѣ, или къ темнымъ сдѣлкамъ съ ложью и самодурствомъ.

Таково общее впечатлѣніе комедій Островскаго, какъ мы ихъ понимаемъ. Чтобы нѣсколько рельефнѣе выставить нѣкоторыя черты этого блѣднаго очерка, напомнимъ нѣсколько частныхъ, долженствующихъ служить подтвержденіемъ и поясненіемъ нашихъ словъ. Въ настоящей статьѣ мы ограничимся представленіемъ того нравственнаго растлѣнія, тѣхъ безсовѣстно-неестественныхъ людскихъ отношеній, которыя мы находимъ въ комедіяхъ Островскаго, какъ прямое слѣдствіе тяготѣющаго надъ всѣми самодурства.

Обманъ тутъ — явленіе нормальное, необходимое, какъ убійство на войнѣ. Бытъ этотъ темнаго царства такъ ужъ сложился, что вѣчная вражда господствуетъ между его обитателями. Тутъ всѣ въ войнѣ: жена съ мужемъ — за его самовольство, мужъ съ женою — за ея непослушаніе или неугодженіе; родители съ дѣтьми за то, что дѣти хотятъ жить своимъ умомъ, дѣти съ родителями за то, что имъ не дадутъ жить своимъ умомъ; хозяева съ приказчиками, начальники съ подчиненными — воюютъ зато, что одни хотятъ все подавить своимъ самодурствомъ, а другіе не находятъ простору для самыхъ законныхъ своихъ стремленій; дѣловые люди воюютъ изъ-за того, чтобы другой не перебилъ у нихъ барышей ихъ дѣятельности, всегда рассчитанной на эксплуатацію другихъ; праздные шатуны бьются, чтобы не ускользнули отъ нихъ тѣ люди, трудами которыхъ они задаромъ кормятся, шеголяютъ и богатѣютъ. И всѣ эти люди воюютъ общими силами противъ людей честныхъ, которые могутъ открыть глаза угнетеннымъ труженикамъ и научить ихъ громко и настоятельно предъявить свои права. Вслѣдствіе такого порядка дѣлъ, всѣ находятся въ осадномъ положеніи, всѣ хлопочутъ о томъ, какъ бы только спасти себя отъ опасности и обмануть бдительность врага. На всѣхъ лицахъ написанъ испугъ и недоувѣрчивость; естественный ходъ мышленія измѣняется, и на мѣсто здравыхъ понятій вступаютъ особенныя, условныя соображенія, отличающіяся скотскимъ характеромъ, совершенно противныя человѣческой природѣ. Точно въ такомъ безумномъ ослѣпленіи находятся всѣ жители темнаго царства, возстающаго передъ нами изъ комедій Островскаго. Они въ постоянной войнѣ со всѣмъ окружающимъ, и потому не требуйте и не ждите отъ нихъ раціональныхъ соображеній, доступныхъ человѣку въ спокойномъ и мирномъ состояніи. Пузатовъ дѣлаетъ такой военный силлогизмъ: „если я тебя не разобью, такъ ты меня разобьешь; такъ лучше же я тебя разобью“. И что же сказать противъ такого силлогизма? И не рождается ли онъ самъ собою у всякаго человѣка, поставленнаго въ затруднительное положеніе выбирать между побѣдою и пораженіемъ? Нечего и удивляться, что, рассказывая о томъ, какъ не додалъ денегъ нѣмцу, представившему счетъ изъ магазина, Пуза-

товъ разсуждаетъ такъ: „а то всё ему и отдать? да за что это? Нѣтъ, ужъ опосля честь будетъ. Они тамъ ломаютъ шпы какую хотятъ, а имъ соору-то и вѣрятъ. И въ другой разъ то же соплую, кому всекеля не возьметъ“. Вы видите, что здѣсь идетъ самая обыкновенная игра: кто лучше играетъ, тотъ и остается въ выигрышѣ.

Но Пузатовъ самъ не любитъ особенно обмана, обмана безъ нужды, безъ надежды на выгоду; не любитъ, между прочимъ, и потому, что въ такомъ обманѣ выражается не солидный умъ, занятый существенными интересами, а просто легкомысліе, лишенное всякой основательности. Ширялова же, у котораго плутовство переходитъ всякія границы, онъ не одобряетъ больше потому, что ужъ тотъ ни войны ни мира не разбираетъ, — то во время перемирія стрѣлять начнетъ, то даже по своимъ ударить. „Это — говоритъ Пузатовъ, — словно жидъ какой: отца родного обманетъ. Право. Такъ вотъ въ глаза и смотритъ всякому. А вѣдь святошей прикидывается“. Впрочемъ и неодобреніе Пузатова нельзя въ этомъ случаѣ принимать серіозно: въ самую минуту его брани на Ширялова, вупецъ этотъ является къ Антипу Антипычу въ гости. Антипъ Антипычъ не только очень любезно принимаетъ его, не только внимательно слушаетъ его рассказы о кутежѣ сына-Сеньки, вынуждающемъ старика самого жениться, и о собственныхъ плутовскихъ шуткахъ Ширялова, но въ заключеніе еще сватаетъ за него сестру свою, и тутъ же, безъ согласія и безъ вѣдома Марьи Антиповны окончательнo слаживаеъ дѣло. Что его побудило къ этому? Отвѣтъ высказывается въ нѣсколькихъ словахъ, произносимыхъ имъ по уходѣ Ширялова. „Экой воръ мужикъ-то, — самъ съ собою разсуждаетъ Пузатовъ, подмигивая глазомъ, — тонкая бестія! Вѣдь какимъ лазаремъ прикинется! Вишь ты, Сенька виноватъ!... А ужъ что, братъ, толковать: просто на старости блажь пришла... Что жъ, мы съ нашимъ удовольствіемъ! Ничего, можно-съ!... Только, Парамонъ Феропонтычъ, на счетъ приданого-то кто кого обманетъ, — дѣло темное-съ. Мы тоже съ матушкой на свою руку охумки не положимъ“... Дѣло, стало быть, очень просто: представилась возможность выгодно сбыть сестру; какъ же не воспользоваться случаемъ? Для сестры же тутъ доброе дѣло выходитъ: все-таки будетъ пристроена!...

Таковы люди, таковы людскія отношенія, представляющіяся намъ въ „Семейной картинѣ“, первомъ по времени произведеніи Островскаго. Въ немъ уже находятся задатки многого, что полнѣе и ярче раскрылось въ послѣдующихъ комедіяхъ. По крайней мѣрѣ видно, что уже и въ это время авторъ былъ пораженъ тѣмъ непринизненнымъ и мрачнымъ характеромъ, какимъ у насъ большею частію отличаются отношенія самыхъ близкихъ между собою людей. Здѣсь же намѣчены отчасти и причины этой мрачности и враждебности: бессмысленное самодурство однихъ и робкая уклончивость, бездѣятельность другихъ. Что же касается до тѣхъ изъ обитателей „темнаго царства“, которые имѣли силу и привычку къ дѣлу, такъ они всё съ самаго перваго шага вступали на такую дорожку, которая никакъ ужъ не могла при-

вести къ чистымъ нравственнымъ убѣжденіямъ. Работающему человѣку никогда здѣсь не было мирной, свободной и общепользительности; едва успѣвши осмотрѣться, онъ уже чувствовалъ, что очутился какимъ-то образомъ въ непріятельскомъ станѣ и долженъ, для спасенія своего существованія, какъ-нибудь надуть своихъ враговъ, привинувшись хотя добровольнымъ переметчикомъ. А тамъ начинаются хитрости, какъ бы обмануть бдительность непріятелей и спастись отъ нихъ; а ежели и это не удастся, придумываются непріязненные дѣйствія противъ нихъ, частію въ отмщеніе частію же для огражденія себя отъ новой опасности. Гдѣ же тутъ развиться правильнымъ понятіямъ объ отношеніяхъ людей другъ къ другу? Гдѣ тутъ воспитаться уваженію человѣческаго достоинства? Здѣсь всѣ въ отвѣтъ за какую-то чужую несправедливость, всѣ дѣлаютъ мнѣ пакости за то, въ чемъ я вовсе не виноватъ, и отъ всѣхъ я долженъ отбиваться, даже вовсе не имѣя желанія побить кого-нибудь. Поневолю человѣкъ дѣлается неразборчивъ и начинаетъ бить, кого попало, не теряя даже сознанія, что въ сущности-то никого бы не слѣдовало бить. Невольно повторись опять сравненіе жизни „темнаго царства“ съ ожесточенною войною. На войнѣ вѣдь не бѣда, если солдатъ убьетъ такого непріятеля, который ни одного выстрѣла не послалъ въ нашъ станъ: онъ подвернулся подъ пулю, — и довольно. Солдата-убійцу не будетъ совѣсть мучить. Такъ точно, что за бѣда, если купецъ обманулъ честнѣйшаго человѣка, который никому въ жизни ни малѣйшаго зла не сдѣлалъ? Довольно того, что онъ покупаетъ товаръ; торговля все равно, что война: не обмануть — не продать!... Приложите то же самое къ помѣщику, къ чиновнику „темнаго царства“, къ кому хотите, — выйдетъ все то же: все въ военномъ положеніи, и никого совѣсть не мучить за обманъ и присвоеніе чужого, оттого именно, что ни у кого нѣтъ нравственныхъ убѣжденій, а всѣ живутъ сообразно съ обстоятельствами.

Такимъ образомъ мы находимъ глубоко-вѣрную, характеристически-русскую черту въ томъ, что Большевъ въ своемъ злостномъ банкротствѣ не слѣдуетъ никакимъ особеннымъ *убѣжденіямъ* и не испытываетъ *глубокой душевной борьбы*, кромѣ страха, какъ бы не попасться подъ уголовный... Въ преступленіи они понимаютъ только внѣшнюю, юридическую его сторону, которую справедливо презираютъ, если могутъ какъ-нибудь обойти. Внутренняя же сторона послѣдствія совершаемаго преступленія для другихъ людей и для общества — вовсе имъ не представляются. Замышляя злостное банкротство, Большевъ и не думаетъ о томъ, что можетъ повредить благосостоянію *займодавцевъ*, и, можетъ быть, пустить нѣсколько человѣкъ по міру. Это ему не приходитъ въ голову даже и тогда, какъ ужъ его въ яму посадили. Онъ толкуетъ, что ему страшно на Иверскую взглянуть, проходя мимо Иверскихъ воротъ, жалуется, что на него мальчишки пальцами показываютъ, боится, что въ Сибирь его сошлютъ: но о людяхъ, разоренныхъ имъ, — ни слова. Мудрено ли же, что онъ такъ легко рѣшается на преступленіе, котораго существеннѣйшая-то мерзость ему и непонятна! Онъ

видитъ только, что „*другіе же дѣлаютъ*“. И это для него не оправдательная фраза, не примѣръ только, какъ утверждалъ одинъ строгій критикъ Островскаго. Нѣтъ, тутъ исходная точка, изъ которой выводится вся мораль Большова. Онъ видитъ, что другіе банкротятся, зажиливаютъ его деньги, а потомъ строятъ себѣ на нихъ дома съ бельведерами да заводятъ удивительные экипажи: у него сейчасъ и прилагается здѣсь общее соображеніе: „чтобы меня не обыграли, такъ я долженъ стараться другихъ обыграть“. И ужъ тутъ нужды нѣтъ, что кредиторы Большова не банкротились и не дѣлали ему подрыва: все равно, съ кого бы ни пришлось, только бы сорвать свою выгоду. Тутъ, какъ и въ сраженіи, разбирать личности нечего. Вотъ кабы никто не обманывалъ, т.-е. кабы войны не было, тогда и Самсонъ Силычъ жилъ бы мирно и честно, никого не надувалъ. А то какъ же ему-то вести себя, когда всѣ кругомъ мошенничаютъ? И кому какая будетъ польза отъ его честности? Не онъ, такъ другіе надуютъ, все единственно. Вотъ разговоръ Большова съ Подхалюзинимъ на этотъ счетъ:

Большовъ. Вотъ ты бы, Лазарь, когда на досугѣ баланцъ для меня сдѣлалъ, учелъ бы розничнюю по панской-то части, ну, и остальное, что тамъ еще. А то торгуемъ, торгуемъ братецъ, а пользы ни на грошъ. Али сидѣльцы, что ли, грѣшатъ, таскаютъ роднымъ да любовницамъ; ихъ бы маленько усовѣщивать. Что такъ, безъ барыша-то небо копытятъ? Аль сноровки не знаютъ? Пора бы, кажется.

Подхалюзинъ. Какъ же это можно, Самсонъ Силычъ, чтобы сноровки не знать? Кажется, самъ завсегда въ городѣ бываешь и завсегда толкуешь имъ-съ.

Большовъ. Да что же ты толкуешь-то?

Подхалюзинъ. Извѣстное дѣло-съ, стараюсь, чтобы все было въ порядкѣ и какъ слѣдуетъ-съ. Вы, говорю, ребята, не зѣвайте: видишь, чуть дѣло подходящее, покупатель, что ли, тумакъ наверху, али цвѣтъ съ узоромъ какой барышнѣ понравился, — взялъ, говорю, и накинулъ рубль али два на аршинъ.

Большовъ. *Чай, братъ, знаешь, какъ нѣмцы въ магазинахъ нашихъ баръ обираютъ. Положимъ, что мы — не нѣмцы, а христіане православные, да тоже пироги-то съ начинкой ѣдимъ.* Такъ ли, а?

Подхалюзинъ. Дѣло понятное-съ. И мѣрять-то, говорю, надо тоже коестественнѣе, тyani да потягивай, только чтобъ, Боже сохрани, какъ не лопнуло; вѣдь не намъ, говорю, послѣ носить. Ну, а *затѣвается, такъ никто не виноватъ*, — можно, говорю, и просто черезъ руку лишній аршинъ шмыгнуть.

Большовъ. *Все единственно: вѣдь портной украдетъ же.* Эхъ, Лазарь, плохи нынче барыши: не прежнія времена.

Ясное дѣло: вся мораль Самсона Силыча основана на правилѣ: чѣмъ другимъ красть, такъ лучше я украду. Правило это, можетъ быть, не имѣетъ драматическаго интереса, — это ужъ тамъ какъ угодно критикамъ; но оно имѣетъ чрезвычайно обширное приложеніе во многихъ сферахъ нашей жизни. По этому правилу иной беретъ взятку и кривитъ душой, думая: все равно, — не я, такъ другой возьметъ и тоже рѣшитъ криво. Другой держитъ свои помѣщичьи права, рассчитывая: все равно, — вѣдь если не мой управляющій, то окружной станетъ стѣснять моихъ крестьянъ. Иной подличаетъ передъ начальствомъ, со-

ображая: все равно, — вѣдь если не меня, такъ онъ другого найдетъ для себя, а я только мѣста лишусь. Словомъ — куда ни обернись, вездѣ вы встрѣтите людей, дѣйствующихъ по этому правилу: тотъ принимаетъ у себя негодяя, другой обираетъ богатаго простака, третій сочиняетъ доносъ, четвертый соблазняетъ дѣвушку, — все на основаніи того же милаго соображенія: *не я такъ другой*. Кажется, ясно, что здѣсь такое соображеніе совсѣмъ не имѣетъ значенія примѣра... Оно есть не что иное, какъ выраженіе самаго грубаго и отвратительнаго эгоизма, при совершенномъ отсутствіи какихъ-нибудь высшихъ нравственныхъ началъ.

Слѣдуя внушеніямъ этого эгоизма, и Большевъ задумываетъ свое банкротство. И его эгоизмъ еще имѣетъ для себя извиненіе въ этомъ случаѣ: онъ не только видитъ, какъ другіе наживаются банкротствомъ, но и самъ потерпѣлъ нѣкоторое разстройство въ дѣлахъ именно отъ несостоятельности многихъ должниковъ своихъ. Онъ съ горечью говоритъ объ этомъ Подхалюзину:

„Вотъ ты и знай, Лазарь, какова торговля-то! Ты думаешь что! Такъ вотъ даромъ и бери деньги. Какъ не деньги, скажешь, — видалъ, какъ лягушки прыгаютъ. На-ко, говорить, вексель. А по векселю-то съ многого что возьмешь, коли съ него взять-то нечего! У меня такихъ-то векселей тысячь на сто, и съ протестами; только и дѣло, что каждый годъ подкладывай. Хошь за полтину серебра всѣ отдамъ! Должниковъ-то по нимъ, чай, и съ собаками не сыщешь: которые повымерли, а которые поразбѣжались, — некого и въ яму посадить. А и посадишь-то, Лазарь, такъ самъ не радъ: другой такъ обдержится, что его оттедова куревомъ не выкуришь. Мнѣ, говорить, и здѣсь хорошо, а ты проваливай“.

Но чтобы выйти изъ подобной борьбы не побѣжденнымъ, — нужно еще имѣть желѣзное здоровье и, главное, вполне обеспеченное состояніе. А между тѣмъ, по устройству „темнаго царства“, — все его зло, вся его ложъ тяготѣетъ страданіями и лишеніями именно только надъ тѣми, которые слабы, изнурены и необезпечены въ жизни; для людей же сильныхъ и богатыхъ — та же самая ложъ служитъ къ услажденію жизни. Что же имъ за выгода обличать эту ложъ, бороться съ этимъ зломъ? Можно ли ожидать, что купецъ Большевъ станетъ требовать, на примѣръ, отъ своего приказчика Подхалюзина, чтобы тотъ разорялъ его, поступая, по совѣсти и отговаривая покупателей отъ покупки гнилого товара и отъ платы за него лишнихъ денегъ? Само собою разумѣется, что ужъ скорѣе самъ приказчикъ могъ бы, проникнувшись добросовѣстностію, послѣдовать такому образу дѣйствій. Но приказчикъ связанъ съ хозяиномъ: онъ сытъ и одѣтъ по хозяйской милости, онъ можетъ „въ люди произойти“, если хозяинъ полюбилъ его; а ежели не полюбилъ, то что же такое приказчикъ, со своей непрактической добросовѣстностію? Такъ, — ничтожество!... И вотъ Подхалюзинъ начинаетъ соображать шансы своего положенія. Человѣкъ онъ не гениальный, не герой и не титанъ, а очень обыкновенный, смертный. Невозможно и требовать отъ него практическаго

протеста противъ всей окружающей его среды, противъ обычаевъ, установившихся вѣками, противъ понатій, которыя, какъ святыня, внушались ему, когда онъ былъ еще мальчишкою, ничего не смыслившимъ... Ясно, что онъ долженъ подчиниться той морали, какая господствуетъ въ атмосферѣ, его окружающей, пойти по той дорожкѣ, которая проторена другими... Не пробовать же ему новой, никому невѣдомой дороги, когда ужъ есть готовый, торный проселокъ.

Но, съ другой стороны, какъ натура живая и дѣятельная, и Подхалюзинъ задаетъ себѣ нѣкоторые жизненные вопросы и задачи. Задачи его обыкновенно очень мизерны, вопросы — не глубоки, потому что кругъ зрѣнія его очень ограниченъ. Онъ видитъ передъ собою своего хозяина-самодура, который ничего не дѣлаетъ, пьетъ, ѣстъ и проклажается въ свое удовольствіе, ни отъ кого ругательствъ не слышитъ, а напротивъ — самъ всѣхъ ругаетъ невозбранно, — и въ этомъ гаденькомъ лицѣ онъ видитъ идеаль счастья и высоты достижимыхъ для человѣка. Что выходитъ изъ тѣснаго круга обыденной жизни, постоянно имъ видимой, о томъ онъ имѣетъ лишь смутныя понятія, да ни мало и не заботится, находя, что-ужь совсѣмъ другое, объ этомъ ужъ нашему брату и думать нечего... А разъ рѣшивши это, поставивши себѣ такой предѣлъ, за который нельзя переступить, Подхалюзинъ, очень естественно, старается приспособить себя къ такому кругу, гдѣ ему надо дѣйствовать, и для того съезживается и выгибается. Это же и не стоитъ ему большого труда, — дѣло привычное съ малолѣтства: какъ вытянуть по спинѣ аршиномъ или начнутъ объ голову кулаки оббивать, — такъ тутъ по неволѣ выгнешься и сожмнешься... И Подхалюзинъ, вынося самъ всякія истязанія и находя, наконецъ, что это въ порядкѣ вещей, глубоко затаиваетъ свои личныя, живыя стремленія, въ надеждѣ, что будетъ же когда-нибудь и на его улицѣ праздникъ. Между тѣмъ нравственное развитіе идетъ своимъ путемъ, логически-неизбѣжнымъ при такомъ положеніи: Подхалюзинъ, находя, что личныя стремленія его принимаются всѣми враждебно, мало-по-малу приходитъ къ убѣжденію, что дѣйствительно личность его, какъ и личность всякаго другого, должна быть въ антагонизмѣ со всѣмъ окружающимъ, и что, слѣдовательно, чѣмъ болѣе онъ отнимаетъ отъ другихъ, тѣмъ полнѣе удовлетворитъ себя. Изъ этого начала развивается то вѣчно-осадное положеніе, въ которомъ неизбѣжно находится каждый обитатель „темнаго царства“, пускающійся въ практическую дѣятельность, съ намѣреніемъ добиться чего-нибудь... Высшія нравственныя правила, для всѣхъ равно обязательныя, существуютъ для него только въ нѣсколькихъ прекрасныхъ реченіяхъ и заповѣдяхъ, никогда не примѣняемыхъ въ жизни; симпатическая сторона природы въ немъ не развита; понятія, выработанныя наукою, объ общественной солидарности и о равновѣсіи правъ и обязанностей, — ему недоступны. Самые идеалы его (потому что идеалы и у Подхалюзина есть, такъ есть и у гордничаго въ „Ревизорѣ“) грубы, тусклы, безобразны и безчеловѣчны. Гордничій мечтаетъ о томъ, какъ онъ, сдѣлавшись

генераломъ, будетъ заставлятъ городничихъ ждаты себя до пяти часовъ; такъ точно Подхалюзинъ предполагаетъ: „тятенька подурили на своемъ вѣку, — будетъ: теперъ намъ пора“. И только бы ему достигъ возможности осуществить свой идеалъ: онъ въ самомъ дѣлѣ не замедлитъ заставить другихъ такъ же бояться, подличать, фальшивить и страдать отъ него, какъ боялся, подличалъ, фальшивилъ и страдалъ самъ онъ, пока не обезпечилъ себѣ право на самодурство.

Тяжело прослѣдить подобную карьеру; горько видѣть такое искаженіе человѣческой природы. Кажется ничего не можетъ быть хуже диваго, неестественнаго развитія, которое совершается въ натурахъ, подобныхъ Подхалюзину, вслѣдствіе тяготѣнія надъ нимъ самодурства. Но въ послѣдующихъ комедіяхъ Островскаго намъ представляется новая сторона того же вліянія, по своей мрачности и безобразію едва ли уступающая.

Эта новая сторона является намъ въ натурахъ подавленныхъ, безотвѣтныхъ. Такія натуры представляются намъ почти въ каждой изъ комедій Островскаго, съ большею или меньшею ясностью очертаній. Даже въ „Своихъ людяхъ“ Аграфена Кондратьевна принадлежитъ къ такимъ натурамъ; но здѣсь она не играетъ видной роли. Ярче выставляются намъ въ послѣдующихъ комедіяхъ лица Мити въ „Бѣдность не порокъ“, и дѣтей Брусковыхъ въ пьесѣ „Въ чужомъ пиру похмелье“, и лица дѣвушекъ почти во всѣхъ комедіяхъ Островскаго. Авдотья Максимовна, Любовь Торцова, Даша, Нада — все это безвинныя, безотвѣтныя жертвы самодурства, и то сглаженіе, *отмѣненіе* человѣческой личности, какое въ нихъ произведено жизнью, едва ли не безотраднѣе дѣйствуетъ на душу, нежели самое искаженіе человѣческой природы въ плутахъ, подобныхъ Подхалюзину. Тамъ еще коегдѣ пробивается жизнь, самобытность, мерцаютъ минутами лучъ какой-то надежды; здѣсь — тишь невозмутимая, мракъ непроглядный, здѣсь предъ вами стоитъ мертвая красавица въ безлюдной степи, и общее гробовое молчаніе нарушается лишь движеніемъ степного коршуна, терзающаго въ воздухѣ добычу... Жутко, точно на кладбищѣ или въ домѣ купца раскольника накануне великаго праздника.

Добролюбовъ.

Бытовое и художественное значеніе комедіи Островскаго: „Свои люди — сочтемся“.

По содержанію и ходу пьесы видно, что злостное банкротство купца Большова составляетъ главный предметъ всей комедіи. Съ этимъ предметомъ связаны, такъ или иначе, интересы всѣхъ лицъ. Изъ этихъ лицъ важнѣйшія: купецъ Самсонъ Силычъ Большовъ, главный приказчикъ его — Лазарь Елизарычъ Подхалюзинъ, и дочь Большова — Липочка.

Большовъ — живой, полный типъ богатаго купца-самодура. Онъ образованія никакого не получилъ. Поэтому онъ не только не пони-

маеть, въ чемъ заключаются обязанности человѣка передъ обществомъ, но просто напросто считаетъ себя внѣ всякихъ нравственныхъ правилъ. Такія правила онъ признаеть обязательными только для другихъ. Себя самого Большевъ считаетъ единственнымъ закономъ и средоточіемъ всего, до чего только достигаетъ его власть. Въ домѣ, напримѣръ, всѣ передъ нимъ трепещуть, отъ мальчика Тишки и до жены, Аграфены Кондратьевны. Его деспотизмъ тяготеетъ надъ всѣми домашними безъ разбору. Вотъ отчего въ трудную минуту сглаживается различіе чиновъ и званій: мать, дочь, кухарка, хозяйка, мальчишка, приказчикъ — все это сливается въ одну, угнетенную, партію; у всѣхъ работа одна — какъ бы ускользнуть отъ общей опасности. Жену Большевъ въ глаза называетъ *старой коргой*; о дочери говоритъ: „мое дѣтище: хочу — съ кашей ѣмъ, хочу — масло пахтаю“. Нравственныхъ убѣжденій у Большева нѣтъ никакихъ, да и не откуда имъ взяться. Это очень важное обстоятельство. Имъ объясняется, почему Большевъ такъ спокойно и увѣренно дѣйствуетъ по своему собственному правилу. А правило его вотъ какое: какъ бы лучше самому устроиться на счетъ ближняго, а ужъ ближній пеняй на себя за оплошность. „Отъ чего не надуть пріятели, коли рука подойдетъ? Ничего, можно“. Такъ говоритъ Пузатовъ въ комедіи „Семейная картина“. Такое же правило и у Большева. На такомъ взглядѣ на жизнь и построены планъ его банкротства. Замѣчательны мотивы банкротства: Большевъ не потому не платитъ денегъ, что нечѣмъ; напротивъ, денегъ у него много; а просто — „не хочется“ платить. Да кромѣ того, Большевъ знаетъ, что и многіе поступаютъ такъ же и за то считаются въ свѣтѣ опытными и ловкими. А тутъ встаетъ страпцій Ризположенскій подтверждаетъ то же самое: „Вѣдь не вы первый, Самсонъ Силычъ, не вы послѣдній; нешто другіе-то не дѣлають?“ Эти слова до того успокаиваютъ Большева, что онъ съ полной увѣренностью рѣшаетъ: „Этакъ-то лучше; только напусти Богъ смѣлости“. Ясно, что Большевъ, вовсе не понимаетъ, что онъ дѣлаетъ преступленіе, обманываетъ, а можетъ-быть и разоряетъ честныхъ людей. У Большева совершенно особая понятія объ обществѣ, о законѣ, о религіи и, вообще, о нравственныхъ предметахъ. На общество онъ глядитъ какъ на враждебный станъ. Чѣмъ другимъ красть, такъ лучше я украду: такова мораль Большева. Законъ для него представляется чѣмъ-то внѣшнимъ, какимъ-то юридическимъ препятствіемъ къ исполненію его прихоти. И Большевъ нисколько не уважаетъ этого нравственнаго начала, онъ можетъ легко обойти его. Какъ у всѣхъ нравственно-неразвитыхъ людей, у Большева нѣтъ религіи, нѣтъ никакого внутренняго голоса, который предостерегалъ бы его отъ неправды. Когда Лазарь замѣчаетъ Большеву: „А ужъ по мнѣ, Самсонъ Силычъ, коли платить по 25 к., такъ пристойнѣе совсѣмъ не платить“. Большевъ отвѣчаетъ: А что? вѣдь и правда. Храбростью-то никого не удивишь, а лучше тихимъ-то манерцемъ дѣльце обдѣлать. *Тамъ послѣ суди Владыко на второмъ пришествіи*“. Вотъ религія Большева. Онъ не въ состояніи подумать о внутренней сторонѣ своего поступка, т.-е.

о томъ злѣ, которое онъ сдѣлалъ людямъ и обществу. Это не приходитъ ему въ голову даже тогда, когда его посадили въ „яму“. Онъ толкуетъ, что ему страшно на Иверскую взглянуть; жалуется, что мальчишки на него пальцами указываютъ; боится, что въ Сибирь сошлютъ, а о людяхъ, которыхъ онъ разорилъ своимъ злостнымъ банкротствомъ, все-таки ни слова.

При всемъ своемъ нравственномъ безобразіи Большовъ вызываетъ въ душѣ зрителя чувство не злобы, а сожалѣнія. Авторъ развилъ этотъ характеръ во всѣхъ подробностяхъ и съ тонкимъ умѣньемъ. Онъ выставилъ передъ зрителемъ душу своего героя, самыя затаенныя его мысли, самое зарожденіе его желаній. И мы видимъ, что какъ во время обдумыванія своего безчестнаго банкротства, такъ и вообще во всѣхъ своихъ поступкахъ, и въ обращеніи съ семьей и съ посторонними, Большовъ не имѣетъ въ душѣ ни тѣни злости или коварства; все въ немъ въ высшей степени просто, добродушно, глупо! Мы видимъ, что Самсонъ Силычъ вовсе не злодѣй, а — своенравный неотесанный невѣжда. Смолоду въ немъ заглушены симпатичныя стороны его природы и не развито никакихъ нравственныхъ понятій. Потому-то онъ и живетъ безъ размышленія, а такъ, какъ живется; самодурствуетъ потому, что никто не противодѣйствуетъ; надуваетъ потому, что ему выгодно. Въ законѣ онъ видитъ не представителя высшей правды, а — камень на дорогѣ. Совѣсть у него не внутренній голосъ, а насмѣшки прохожихъ, опасеніе ссылки. Грубость его такова, что даже несчастіе не образумило его и не пробудило въ немъ человѣческихъ чувствъ. Большовъ выводитъ только одно: „сама себя раба бьетъ, коль не чисто жнетъ“, т. е. осуждаетъ себя за то, что не умѣлъ вполне ловко обдѣлать дѣльце. Однимъ словомъ, безобразная дѣятельность Большова происходитъ не оттого, чтобы низости и преступленія лежали въ природѣ его, а оттого, что въ немъ вовсе не воспитанъ человекъ. Большовъ прожилъ свой вѣкъ подъ такими вліяніями, при такихъ обстоятельствахъ, которыя отчасти задержали, отчасти совсѣмъ исказили правильное развитіе въ немъ нравственной личности.

Подхалюзинъ тоже не имѣетъ въ себѣ ничего злодѣйскаго. Это — вторая, низшая инстанція будущаго самодура, плуть сознательный, мошенникъ умный. Онъ не очертя голову кидается въ обманъ, онъ обдумываетъ свои предпріятія и старается подыскать имъ нравственную фізіономію, соблюсти видимую, юридическую добросовѣстность. Подхалюзинъ — такой именно плуть, какихъ воспитало русское купеческое самодурство. Онъ весь вѣкъ дѣйствуетъ по мелочамъ, обмѣриваетъ и надуваетъ, считая это принадлежностью торговли. Только когда вышелъ случай необыкновенный, Подхалюзинъ остановился и сталъ соображать, какъ имъ лучше воспользоваться. Тутъ онъ испыталъ въ душѣ даже нѣкоторую тревогу, какъ видно изъ монолога его во второмъ дѣйствіи: „Какъ теперь это дѣло разсудить надо?“ спрашиваетъ онъ себя въ задумчивости: „говорятъ, надо совѣсть знать! Да, извѣстное дѣло, надо совѣсть знать, да въ какомъ это смыслѣ пони-

мать надо? Противъ хорошаго человѣка у всякаго есть совѣсть; а коли онъ самъ другихъ обманываетъ, такъ какая же тутъ совѣсть?" И выводитъ онъ, наконецъ, такой смыслъ во всемъ этомъ осложненіи обстоятельствъ, что ему, Подхалюзину, попользоваться въ этомъ дѣлѣ даже тѣмъ-нибудь лишнимъ — нѣтъ грѣха никакого, и жалѣть хозяина нѣтъ никакой надобности. „Вышла“ — говорить — „линія, ну и не плошай; онъ свою политику ведетъ, а ты свою статью гони“. И вотъ, гонить онъ эту „статью“ именно потому, что не знаетъ другого способа выбиться изъ-подъ гнета на свѣтъ и просторъ. Онъ идетъ тѣмъ путемъ, какой ему преподанъ хозяиномъ. Какъ только добьется Подхалюзинъ богатства, онъ непременно повторитъ Большова. Въ сценѣ объясненія съ Липочкой, гдѣ Лазарю удастся склонить Липочку на бракъ съ нимъ, онъ безъ околичностей высказываетъ ей свою задушевную мысль: Мы, Алимпіада Самсоновна, какъ только сыграемъ свадьбу, такъ перейдемъ въ свой домъ-съ. А ужъ имъ-то командовать не дадимъ-съ. Нѣтъ, ужъ теперь кончено-съ. Будетъ съ нихъ, — *почудили на своемъ вѣку, теперь намъ пора!*“ Въ Подхалюзинѣ есть даже черты привлекательныя: онъ человѣкъ не черствый. Липочку онъ любитъ искренно, хотя и выражаетъ свою любовь неуклюже, какъ-то грубовато, что, впрочемъ, понятно, при общей нравственной неотесанности этого героя.

Въ Липочкѣ, какъ существѣ молодомъ и съ внѣшней стороны привлекательномъ, нравственная грубость, неотесанность производитъ еще болѣе тягостное впечатлѣніе, нежели въ характерахъ старшихъ членовъ семьи Большова. Ея обращеніе и съ свахою, и съ Подхалюзинимъ, и съ матерью въ началѣ пьесы, и особенно съ отцомъ, въ последнемъ актѣ, проникнуто совершенной грубостью, безсердечіемъ. Эти черты въ ея нравѣ поставлены и выдержаны авторомъ въ такой мѣрѣ, что передъ нами живой типъ, безъ малѣйшаго шаржа или карикатурности. Липочка — вѣрная, точная представительница той среды, въ которой она выросла, тѣхъ понятій и обычаевъ, которыми воспиталась. Существо холодное, умственно-ограниченное, съ неразвитымъ сердцемъ и съ природенною мелочностью, она такъ все время и остается личностью жалкою, нравственно-убогою, а иногда — прямо комическою, напримѣръ, въ тѣ моменты, гдѣ она матери своей говоритъ: „выросла да посмотрѣла на свѣтскій тонъ, такъ и вижу, что я гораздо другихъ образованнѣе“, или къ разговору съ Подхалюзинимъ приплетаешь французскія фразы, въ родѣ: „комъ ву зеть жоли“.

Къ первокласснымъ поэтическимъ достоинствамъ этой комедіи Островскаго относятся: 1) внимательная, тонкая обработка характеровъ и главныхъ дѣйствующихъ лицъ, и даже — лицъ второстепенныхъ, напримѣръ: стряпчаго Ризположенскаго, свахи Наумовны, няни Оюминичны; 2) естественность и занимательность драматическихъ положеній и столкновеній; 3) живость и быстрота развитія драматическаго дѣйствія; 4) яркій, картинный, типическій языкъ.

Какъ комедія общественныхъ нравовъ, эта пьеса Островскаго стоитъ рядомъ съ другими, замѣчательнѣйшими драматическими произведеніями отечественной литературы, на примѣръ, комедіями „Горе отъ ума“ и „Ревизоръ“. Пьеса „Свои люди — сочтемся“ вводитъ зрителя (или читателя) въ пониманіе духа изображаемаго времени въ средѣ нашего купечества. Въ живыхъ образахъ, при отсутствіи малѣйшей искусственности въ постройкѣ своей пьесы и интересовъ дѣйствующихъ въ ней лицъ, авторъ такъ приближаетъ къ намъ эту эпоху, что мы какъ-будто читаемъ въ душѣ дѣйствующихъ лицъ ихъ намѣренія и цѣли, можемъ прослѣдить ихъ дѣйствія отъ момента зарожденія въ душѣ ихъ перваго порыва до полного достиженія ими осуществленія своихъ завѣтныхъ желаній. Подъ тройнымъ наслоеніемъ всякихъ предрасудковъ, необразованности, невоспитанности, герои Островскаго все-таки не теряютъ своего человѣческаго подобія. Авторъ умѣетъ доискаться человѣчности въ этихъ непривлекательныхъ фигурахъ. И оттого именно, что они — живые люди, а не ходульные, трагическія фигуры — злодѣи, они окончательно представляются жалкими жертвами своего времени, своей среды, бѣдной средствами для умственного и нравственнаго развитія. Сила общественнаго значенія пьесы Островскаго обнаруживается двумя важнѣйшими вліяніями на читателя или зрителя: во-первыхъ, становится ясно и осязательно, что низости и преступленія не лежатъ въ природѣ человѣка, а налегаютъ на него постепенно — при отсутствіи правильнаго образованія и воспитанія; во-вторыхъ, становится ясно и то, что выведенные въ такихъ комедіяхъ типы вызываютъ состраданіе къ нимъ почти въ такой же мѣрѣ, въ какой мѣрѣ вызывается досада и негодованіе на тѣ обстоятельства жизни, которыя извращаютъ воспитаніе человѣка, дѣлаютъ человѣка существомъ нравственно-безобразнымъ, комичнымъ и презрѣннымъ.

Евстаѳовъ.

„Свои люди — сочтемся“ Островскаго и „Бригадиръ“ Фонвизина.

Изъ сравненія двухъ комедій мы увидимъ, насколько подвинулось впередъ русское общество отъ 1764 до 1850 года; покажемъ, что

1) Сфера средняя, купеческая, въ наше время стала тѣмъ, чѣмъ была высшая общественная среда, сословіе дворянское.

2) Чѣмъ были иноземцы, особенно французы, для лицъ „Бригадира“, для высшей общественной среды XVIII вѣка, тѣмъ стали наши подражатели-дворяне для средняго сословія XIX столѣтія. Увидимъ, что

3) „Свои люди — сочтемся“ и „Бригадиръ“ изображаютъ одно и то же:

- a) ложно-понятное воспитаніе и
- b) злоупотребленіе закономъ.

Но траги-комедія Островскаго одушевлена новымъ началомъ, о которомъ многимъ писателямъ XVIII вѣка и не снилось.

Стремленіе автора комедіи: „*Свои люди — сочтемся*“, то же самое, что и у Фонвизина; касается оно только другого сословнаго круга — *оталечь и освободить среднее русское общество отъ предрасудковъ допетровской Руси*, и точно такъ же двумя путями: осмѣяніемъ тѣхъ, которые, при старыхъ предрасудкахъ, остаются въ отжившихъ, мертвыхъ формахъ, и тѣхъ, которые переняли дурное иностранное изъ другихъ рукъ, или, лучше, у русскихъ-французовъ, и стараются походить на дворянъ наружно, съ виду, но не усвоили сущности, внутренняго образовательнаго начала. Ясно, какъ непонятно для бригадирши, что сынъ ея отваживается братья не за свое дѣло, самъ выбираетъ себѣ невѣсту; въ высшей средѣ эти воззрѣнія уже вымерли; но они не потеряли еще силу въ среднемъ сословіи. Такъ смотритъ на свою дочь купецъ Большовъ: за кого велитъ онъ, за того она и должна пойти. И стряпчій Сысой Псоичъ узаконяетъ этотъ допетровскій обычай: „не нами заведено, не нами и кончится; а ужъ это первый долгъ, чтобы дѣти слушались родителей“, разумѣется, чтобы не сами выбирали жениха, или невѣсту, а чтобы принимали ихъ изъ отцовскихъ рукъ. Ново-воспитанная Олимпиада Самсоновна въ глаза бранитъ свою мать за отвратительныя понятія и объявляетъ ей наотрѣзъ, что вовсе не намѣрена потакать ея глупостямъ. Эга образованная купеческая дочь, рѣшаясь выйти за приказчика, хочетъ, по крайней мѣрѣ, что-нибудь сдѣлать *по-благородному*, предлагаетъ жениху увезти ее потихоньку, потому что *такъ дѣлаютъ*. Отца ея посадили въ яму; мать плачетъ, что на старости лѣтъ мужъ оставилъ ее сиротою; а современная дочь упрекаетъ ее, съ чего-де мать взяла плакать точно по покойникѣ, и вѣдь не Богъ знаетъ что случилось; и павшему, убитому отцу, котораго прежде такъ боялась, съ невозмутимымъ безсердечіемъ говоритъ: „что жъ, тятенька сидятъ и получше насъ съ вами!“ Другіе, представители старой Руси, живо переносятъ читателя къ *совѣтнику* въ „Бригадирѣ“: они не ѣдятъ по постамамъ скоромнаго, и въ то же самое время эти постники-сухойдцы, по замѣчанію Большова, и Богу-то угодить на чужой счетъ норовятъ, одной рукой крестятся, а другой въ чужую пазуху лѣзутъ.

Обѣ комедіи точно такъ же родственны и по задачѣ, но различіе ихъ состоитъ, во-первыхъ, въ самомъ духѣ изображенія: у Фонвизина замѣчается стремленіе представить нелѣпости въ возможно смѣшномъ видѣ; комедія Островскаго начинается тоже смѣхомъ, но этотъ смѣхъ переходитъ въ голосъ грознаго суда, возстающій во всеоружіи искусства на поражение беззаконій. Другая разница комедіи та, что у Фонвизина раскрыта больше одна сторона и притомъ смѣшная, а на другую, болѣе серьезную, только указано; у Островскаго исчерпаны двѣ задачи: ложно-понятное, превратное воспитаніе, т.-е. неразумное, слѣпое подраженіе русскимъ французамъ, дворянамъ, то же презрѣніе къ національному, къ своему родному, и другая задача — злоупотребленіе за-

кономъ, на которое Островскій, вопреки Фонвизину, не указываетъ, а избираетъ его главнымъ дѣйствиємъ произведенія. Преступный замыселъ и незаконное дѣло превращаютъ комедію въ трагедію.

Никто не изображалъ купческаго міра въ такой полнотѣ, въ такомъ разнообразіи и съ такою художественною правдою, какъ Островскій. Авторъ отворяетъ читателю всѣ двери, и онъ можетъ слѣдить за этими лицами на всѣхъ путяхъ: за ихъ дѣствіями въ средѣ общественной, за ихъ жизнію въ кругу семейномъ, наконецъ, можетъ свободно входить въ ихъ личный, внутренній міръ, полный разнообразныхъ интересовъ, желаній, стремленій и плановъ. Прежде мы войдемъ въ семейный міръ людей этого сословнаго круга, а потомъ познакомимся съ ними, какъ съ дѣтелями общественными. Бригадиру соотвѣтствуетъ *Большовъ*, бригадиршѣ — *Аграфена Кондратьевна*, Иванушкѣ — *Липочка*. У представителей старой Руси, при сходствѣ въ понятіяхъ, стремленіяхъ, образѣ дѣствій, то различіе, что мать больше до-петровская женщина, а въ Большовѣ замѣтно уже раздвоеніе: онъ уже разъ обрилъ себѣ бороду, не взирая ни на просьбы ни даже на слезы жены; дочь не имѣетъ уже ничего общаго съ родителями. Члены этого семейства преслѣдуютъ различные идеалы, каждый ищетъ своего: для *отца* зятѣмъ можетъ-быть кто угодно, хоть *Федотъ*, какъ выражается онъ, отъ проходныхъ воротъ, лишь бы денежки водились, да приданого поменьше домиль. *Дочь* объявляетъ, что не пойдетъ за купца, не за тѣмъ она такъ воспитана, не для того училась и по-французски, и на фортопьянахъ, и танцовать. „Что мнѣ въ купцѣ? Какой онъ можетъ имѣть вѣсъ? Гдѣ у него амбиція? Мочалка-то его что ли мнѣ нужна? *До-станъ* благороднаго!“ И вотъ старая Русь въ лицѣ ключницы *Фоминишны* возстаетъ противъ такого соблазна: „не мочалка, а Божій волосъ, сударыня, такъ-то-съ!“ И *матери* подай непременно купца, да чтобъ онъ и лобъ крестилъ по-старинному. *Фоминишна* дорисовываетъ этотъ старинный идеалъ жениха: „Что тебѣ дались эти благородные? Голый на голомъ, да и христіанства-то никакого нѣтъ: ни въ баню не ходятъ ни пироговъ по праздникамъ не печеть...“

Познакомимся ближе съ членами этого разногласнаго, неблагоустроеннаго семейства.

Какъ въ крови бригадира живетъ понятіе о чинѣ, такъ и у Самсона Силыча есть свой чинъ — капиталъ. Большовъ весь проникнутъ сознаниємъ его силы, важности и значенія: объявляя свою волю — отдать дочь въ замужество, онъ говоритъ: „и въ разсужденіи приданого тоже можемъ надѣяться, что *она не острамитъ нашего капитала*“; ясно, что въ глазахъ Большова денежная сила имѣетъ значеніе важнаго званія и чина. Только поэтому Самсонъ Силычъ обращается съ подавляющимъ призраніемъ съ бѣднымъ чиновникомъ, даже тогда, когда нуждается въ немъ: „А что, Сысой Псойчъ, чай ты съ этимъ крючкотворствомъ на своемъ вѣку много чернилъ извелъ?“ Страпчій замѣчаетъ, что онъ пришелъ *понавѣдаться* „То-то вотъ, вы, подлый народъ такой, кровопійцы какіе-то: только бѣ вамъ пронюхать что-нибудь этакое,

такъ ужъ вы и вѣтесъ тутъ съ вашимъ дьявольскимъ наущеніемъ". Устинья Наумовна, неподражаемый типъ московской свахи, женщина бывалая, бойкая, разбитная, сама сидитъ на четырнадцатомъ классѣ, а и та преклоняется передъ Самсономъ Силычемъ: „съ богатымъ мужикомъ, что съ чортомъ, не сообразишь". Она соблазняется приманкою золота и соболей за то, чтобы только разстроить свадьбу, но страхъ какъ боится Большова: „Ну, ты самъ разсуди, съ какимъ я рыломъ покажусь самому-то? Вѣдь ты знаешь, каково у насъ чадочко Самсонъ-то Силычъ: вѣдь онъ, не ровень часть, и чепчикъ помнетъ". Большовъ устроилъ помолвку дочери съ приказчикомъ, но и къ будущему зятю обращается съ недостигаемой высоты; онъ хочетъ соединить ихъ руки, но и въ эту торжественную минуту не измѣняетъ своего высокомернаго тона: „ну, теперь ты, Лазарь, *ползи!*" Какъ бригадиръ и сыну замѣчаетъ о своемъ чинѣ и заслугахъ, такъ и Большовъ говоритъ о дочери своей, не какъ отецъ, а какъ денежный вельможа: „понимаемъ, что отецъ, что пристали, отстаньте, гусь свинѣ не товарищъ". Потонувши въ довольствѣ и богатствѣ, Большовъ запаматовалъ и о Богѣ; если и вспомнить Его, то приѣмлетъ имя Его всеу, обращается къ нему съ видомъ кощунства, сбудется за то на немъ пословица: „громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится". Рѣшаясь на дѣло безчестное — не платить довѣрителямъ, онъ не убоился закончить свой замыселъ неподобными словами: „тамъ послѣ суди Владыка на второмъ пришествіи". Большовъ омраченный страстію, забывается до нечестія, призываетъ Бога на помощь въ дѣлѣ нечистомъ, въ грабительствѣ: „Чорта ли тамъ по грошамъ-то наживать! Махнулъ съ разу да и шабашъ. Только напусти Богъ смѣлость". Въ немъ даже проглядываетъ какой-то грубый матеріализмъ, правда, темный; но вы видите, что у этого зазнавагося богача и религіозные помыслы потемнѣли отъ жиру: „Вотъ она жизнь-то; истинно сказано: суета суетъ и всяческая суета. Чортъ знаетъ, и самъ не разберешь, чего хочется. Вотъ бы и закусилъ что-нибудь, да обѣдъ испортишь; а и такъ-то сидѣтъ — одурь возьметъ. Али, чайкомъ бы что ль побаловать. Вотъ такъ-то и все: жилъ, жилъ человекъ, да вдругъ и померъ — такъ *все прахомъ и поидетъ*". И больше машинально, по памяти и привычкѣ прибавляетъ: „Охъ, Господи, Господи!

Вторая сила Большова — власть отца, и она далеко выше потрясенной власти бригадира. Но родительская власть древней патриархальной Руси у Большова выродилась въ тотъ грубый деспотизмъ, который такъ мѣтко названъ самодурствомъ. Жена не смѣетъ передъ нимъ пикнуть; заплачетъ она, онъ ей скажетъ: „сама не знаешь, о чемъ разрюмилась", и она плачетъ и подтверждаетъ: „не знаю, батюшка, охъ, не знаю". — „То-то вотъ сдуру. Слезы у васъ дешевы". Дочь боится его, хотя тайно, въ душѣ, презираетъ; мать она презираетъ открыто и нагло грубитъ ей, и та грозитъ ей только отцомъ: „пойду къ отцу, такъ въ ноги и брякнусь, житья, скажу, нѣтъ отъ дочери, Самсонушка". На дочь и на будущность ея онъ смотритъ, какъ на вещь, которую можетъ помѣстить, куда заблагоразсудитъ, гдѣ для него лучше и удоб-

нѣе, и жениха ей выбираетъ не по ней, а по себѣ. Онъ, пожалуй, не противъ благородного, но когда это ему мѣшаетъ, такъ онъ прямо говоритъ: „А ну его! По моимъ дѣламъ теперь не такого нужно“. Когда дочь, воспользовавшись тѣмъ, что онъ былъ въ духѣ, рѣшилась высказать передъ нимъ завѣтное желаніе свое — выйти замужъ за военнаго, мать чуть не пришла въ ужасъ: „окстись, безумная, Христось съ тобою!“ Но Большовъ даже не разсердился, а посмотрѣлъ на это, какъ на извинительное ребячество, какъ на игру въ мыльные пузыри, и скорѣе снисходительно разсмѣялся: „Экъ вѣдь что вывезла!“ Приказчикъ глубоко понималъ, какъ важенъ для него этотъ грубый видъ родительскаго авторитета; онъ очень хорошо знаетъ, какъ и когда надо пользоваться такимъ самодурствомъ, и потому съ большимъ искусствомъ ударяетъ на эту слабую струну, и ударяетъ съ тѣмъ, чтобы Самсонъ Силычъ самъ взялъ его въ зятя: „Алимпіада Самсоновна, можетъ-быть, и глядѣтъ-то на меня не захотятъ-съ?“

— „Важное дѣло! Не плясать же мнѣ по ея дудочкѣ на старости лѣтъ: за кого велю, за того и пойдетъ! Мое дѣтище: хочу съ кашей ѣмъ, хочу масло дахтаю“. Онъ обѣщаль Лазарю подшутить надъ семьей шутку, и дѣйствительно, собравши всѣхъ, и своихъ и чужихъ, совершенно неожиданно объявляетъ Лазаря и Липочку женихомъ и невѣстой. Всѣ до одинаго остолбенѣли: и жена, и дочь, и ключница, и сваха; никто ничего понять не можетъ: мать затмилась, словно чурбанъ какой: „Господи, да что жъ это такое?“ Дочь и въ испугѣ и въ негодованіи вскрикиваетъ, какъ могли выдумать подобный вздоръ; не пойдетъ она за такого противнаго. Ошеломленная Ѳомишишна восклицаетъ: „Съ нами крестная сила!“ И сваха стала втупивъ: „Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!“ Этой минутой всеобщаго возбужденія какъ нельзя лучше пользуется Подхалюзинъ, и еще сильнѣе ударяетъ въ слабую струну самодура: „Тяленька! Видно не бывать-съ по вашему желанію!“

— „Какъ же не бывать, коли я того хочу? На что жъ я и отецъ, коли не приказывать? Даромъ что ли я ее кормилъ?“

— „Гдѣ это видано, чтобы воспитанныя барышни выходили за своихъ работниковъ?“

— „Молчи лучше! Велю, такъ и за дворника выйдешь“.

Наконецъ мать не вытерпѣла, кровь заговорила: „Да за что жъ вы это, душегубцы, дѣвку-то опозорили?“

— „Да, очень мнѣ нужно слушать вашу фанаберію. Захотѣлъ выдать дочь за приказчика, и поставлю на своемъ, и разговаривать не смѣй; я и знать никого не хочу“. — Таковъ Самсонъ Силычъ Большовъ, какъ денежная власть и какъ домовладыка. Мы еще встрѣтимся съ нимъ на другомъ поприщѣ.

Аграфена Кондратьевна — женщина допетровской Руси, и столько же, какъ и бригадирша, если не болѣе. Встарину русская нація по понятіямъ и возрѣнію на міръ точно такъ же, какъ и по языку, была одинъ человѣкъ; поэтому и ключница Ѳомишишна можетъ

быть названа продолженіемъ Аграфены Кондратьевны; обѣ онѣ—какъ бы одно тѣло, одинъ духъ; съ дочерью у Большойвой несравненно менѣе родственнаго, нежели съ ключницей; вся разница въ томъ, что одна приказываетъ, а другая слушаетъ, исполняетъ. Вопреки мужу, Аграфена Кондратьевна отличается набожностію, даже не ѣстъ мясного по понедѣльникамъ: вотъ отчего она вышла изъ себя, когда увидѣла, что дочь, ни свѣтъ, ни заря, не поѣвши хлѣба Божьяго, грѣхотничаетъ, принялась за пляску. Богатство не измѣнило ея прежнихъ привычекъ, и обычаевъ, занятыхъ у русскихъ французовъ, она не знаетъ. Женихъ просить позволенія поцѣловать у ней руку, она со всѣмъ патріархальнымъ простодушіемъ подаетъ ему обѣ: „цѣлуй, батюшка, обѣ чистыя“. Очень естественно поэтому ея смущеніе и безпокойство въ ожиданіи благороднаго жениха: „Сама ты, мать, посуди, что я буду съ благороднымъ-то зятемъ дѣлать? Я и слова-то сказать съ нимъ не умѣю, точно въ лѣсу“. Она буквально послушна слову апостола: „жена да боится своего мужа“; особенно она боится его тогда, когда онъ въ гнѣвѣ или нетрезвъ: „Развоюется такъ, страсти, да и только! Посуду колотить: у! говорить, такія вы и этакія, убью сразу! Только за дочь не смолчить она, и подчасъ возноситъ голосъ передъ мужемъ. Большой не велитъ приставать съ дочерью; по его миѣнію, нечего ей хотѣть, когда она обута, одѣта, накормлена. Совершенно справедливо возстаетъ мать противъ такого грубаго понятія о чадолубіи, и очень рѣзко, чуть не съ бранью, выговариваетъ мужу: „Да ты, Самсонъ Силычъ, очумѣлъ что ли? По христіанскому закону всякаго накормить слѣдуетъ... а вѣдь это родная дѣтище... Разставаться скоро приходится, а ты и слова добраго не вымолвишь... долженъ бы на пользу посовѣтовать что-нибудь такое житейское“... Но когда преступникъ Большой, несчастный отецъ, сидитъ между двухъ коршуновъ, между зятемъ и дочерью, тогда ограниченная женщина дѣйствуетъ на васъ, какъ теплое дыханіе любви въ ледяной атмосферѣ эгоизма. Безсердечіе дочери, возмутительная неблагодарность зятя, въ этой кроткой душѣ подняли страшную бурю. Тутъ только она высказала, что давно уже у ней лежало камнемъ на сердцѣ; одну дочь Богъ далъ, и ту послалъ въ наказаніе. За кровную обиду мужа, безжалостно наносимую неблагодарными дѣтьми, она снимаетъ материнское благословеніе съ зятя, и дочь, свою кровь, готова проклясть на всѣхъ соборахъ: „умрешь, не сгниешь!“ восклицаетъ она въ изступленіи, отрекаясь отъ своего рожденія. Самая простая, обыденная женщина внезапно передъ вами преобразуется героемъ, какъ ударомъ молніи, одушевленнымъ праведнымъ гнѣвомъ и вооруженнымъ проклятіемъ на дѣтей за нечестіе къ родителямъ! Въ художественномъ отношеніи жена Большова если не лучше, то счастливѣе бригадирши, именно отъ положенія, въ которое поставилъ ее авторъ. Совершенно чуждая вамъ по своимъ понятіямъ и интересамъ, она становится, близкимъ, родственнымъ вамъ существомъ, какъ человѣкъ, какъ женщина, облагороженная состраданіемъ, любовію и праведнымъ негодованіемъ за поруганіе святѣйшихъ правъ человѣческихъ.

У Фонвизина уродливое чадо европейскаго образованія — сынъ, у Островскаго — дочь, уродливая копія подражателей — дворянъ. *Иванушка* смѣшонъ, жалокъ и только возбуждаетъ презрѣніе; *Липочка*, кромѣ всего этого, отвратительна и глубоко возмущаетъ нравственное чувство. Подхалюзину, какъ приказчику и какъ влюбленному, она представляется совершенствомъ недосягаемымъ; онъ такъ ее опредѣляетъ: „Алимпіада Самсоновна — барышня образованная, какихъ въ свѣтѣ нѣтъ“; прозаичнѣе и вѣрнѣе смотритъ на нее сваха: „воспитанія не Богъ знаетъ какого; пишетъ какъ слонъ брюхомъ ползаетъ; по-французскому, или на фортопьянахъ, тоже сямъ, тамъ, да и нѣтъ ничего“. Но главное сдѣлано: учили всему сказанному и танцамъ. Какъ же поэтому она, такая образованная барышня, можетъ жить съ подобными родителями? Такъ точно горюетъ и Иванушка: ему уже двадцать пять лѣтъ, а родители его еще живы, и онъ осужденъ оставаться съ такими животными. Липочка въ глаза говоритъ матери, что она сама для нея не очень значительна, что отъ словъ матери ей иногда даже краснѣть приходится. Правда, родили ее, она была дитя безъ понятія; а какъ выросла, *посмотрѣла на свѣтскій тонъ*, такъ увидѣла, что она образованнѣе другихъ, и потому напрямикъ говоритъ своей родительницѣ, что не намѣрена потакать ея глупостямъ: „Вамъ съ тятенькой только кляузы строить да тиранничать... Ужъ молчали бы лучше, когда не такъ воспитаны“. Итакъ, повторимъ, какъ Иванушка, Липочка питаетъ такое же полное презрѣніе къ отцу и къ матери, — къ этой открытое, но отца презираетъ и боится.

Идеаль Олимпіады Самсоновны долженъ быть не какой-нибудь приказный, и даже не студентъ; штатскій въ глазахъ ея — такъ, какой-то неодушевленный. Ее плѣняютъ усы и эполеты, и мундиръ, а у иныхъ даже шпоры съ колокольчиками; ей даже досадно, что они въ танцахъ отвязываютъ саблю, не понимаютъ, какъ блеснуть очаровательнѣе. Если уже не это, такъ женихъ ея долженъ быть, по крайней мѣрѣ, благородный, а не купчишка какой-нибудь, при томъ чтобы непременно былъ бронецъ и одѣтъ по-журнальному... И вдругъ она падаетъ, какъ съ облаковъ: отецъ, вмѣсто взлелѣяннаго ею идеала, подводитъ къ ней приказчика, работника! — Обругавши своего жениха дуракомъ необразованнымъ, образованная Олимпіада Самсоновна слышитъ отъ него вещи странныя, неимовѣрныя: у этого дурака и денегъ-то больше, чѣмъ у иного благороднаго; домъ и лавки уже не отцовскіе, а его собственность; наконецъ, узнаетъ, что ея отецъ, несостоятельный должникъ, банкротъ. Пораженная окончательно, дочь, вмѣсто жалости къ родителямъ, имъ же въ лицо бросаетъ несчастіемъ и позоромъ: „Что жъ это такое со мной дѣлаютъ? Воспитывали, воспитывали, потомъ и обанкрутились!“ По этой страшной нотѣ вы чувствуете, что въ этой дѣвушкѣ спитъ и уже пробуждается чудовище. Въ душѣ она уже рѣшила выйти за этого, какъ она говоритъ, работника; ей теперь надо только сохранить приличіе, не показать сразу, что она продаетъ себя за деньги. Она раздумываетъ, а Подхалюзинъ

въ это время рисуеть ей купеческій эдемъ: дома она будетъ ходить въ шолковыхъ платьяхъ, а въ гости и въ театрѣ окромя бархатныхъ и надѣвать не станетъ. „Шляпы, салопы, прочь всѣ дворянскія приличія, надѣнемъ какую чуднѣй... нешто въ этомъ домѣ будемъ жить? На потолокахъ райскихъ птицъ нарисуемъ, сиреновъ, капидоновъ разныхъ...“

— „Нынче уже капидоновъ-то не рисуютъ.“

— „Ну, такъ мы пуветами пустимъ“.

И Олимпіада тонко, съ бездушнымъ расчетомъ, спускается съ тона на тонъ, сходитъ съ высоты своего идеала осторожно, какъ съ крутой лѣстницы, все ниже и ниже, чтобы сгладить, по возможности, рѣзкость перехода. Прежде она возражаетъ какъ будто общимъ мѣстомъ: „да, всѣ вы передъ свадьбой такъ говорите, а тамъ и обманете“; потомъ обращается, и уже гораздо мягче, къ нему лично: „Для чего вы, Лазарь Елизарычъ (замѣтите, уже не дуракъ необразованный), для чего вы по-французски не говорите? — Жилетка у васъ скверная. Дайте подумать. — Увезите меня потихоньку“. — Перебравши столько ноть, чтобы не сразу, не краснѣя спуститься до уровня съ приказчикомъ, она нашла, наконецъ, приличнымъ изъяснить свое согласіе: „ну, а коли не хотите увезти, — такъ ужъ, пожалуй, и такъ“. — Тотъ было опрометью бросился къ родителямъ — объявить имъ радость; но невѣстѣ, благодивно сторговавшейся, нечему особенно радоваться; она удерживаетъ жениха, не ради сердечныхъ изліаній, а для того, чтобы повѣрить ему всѣ свои чувства къ отцу и матери: „Ахъ, если бы вы знали, Лазарь Елизарычъ, какое мнѣ житье здѣсь! У маменьки семь пятницъ на недѣлѣ; тятенька, какъ не пьянъ, такъ молчитъ, а какъ пьянъ, такъ прибѣтъ, того и гляди. Каково это терпѣть образованной барышнѣ! Вотъ какъ бы я вышла за благороднаго, такъ я бы и уѣхала изъ дому и забыла бы обо всемъ этомъ“. И они уже въ разговорѣ... перейдутъ въ свой домъ, будутъ жить сами по себѣ, заведутъ все по модѣ, а *тѣ* — какъ хотять.

Лазарь больше походитъ на челоуѣка, нежели эта противоестественная дочь; и въ немъ, при видѣ теста, убитаго горемъ и стыдомъ, даже въ немъ забрежжитъ лучъ челоуѣческаго чувства. Но дочь униженному, опозоренному темничнику-отцу отказываетъ въ выкупѣ изъ его же собственнаго добра; изъ захваченныхъ ея мужемъ денегъ она не можетъ дать своему родителю больше десяти копеекъ за рубль... Съ чѣмъ же они сами останутся, вѣдь они не мѣщане какіе-нибудь; до двадцати лѣтъ она свѣта не видала; неужели ей отдать за отца деньги, а самой въ ситцевыхъ платьяхъ ходить?

Лазарю и тому стало жаль отца своей жены: „Ахъ, Алимпіада Самсоновна-съ, не ловко-съ!“ Онъ хочетъ самъ ѣхать къ кредиторамъ, справшиваетъ ея совѣта... а она молчитъ тогда, когда бездушная статуя поднялась бы, кажется, съ своего пьедестала и пошла бы челоуѣческими шагами! Не выдержалъ Лазарь, самъ наконецъ сказалъ: „*тѣду*“. Скажетъ ли она хоть какое-нибудь доброе слово... поощренія,

„какъ хотите, такъ и дѣлайте — ваше дѣло“. И гнусныя твари, говоритъ король Лиръ, кажутся сносными, когда другія еще гнуснѣе: *не быть подлѣйшимъ уже есть заслуга*. — Неблагодарный злодѣй, ограбившій своего благодѣтеля, безчестный Подхалюзинъ, и тотъ лучше Олимпіады, этого не женоподобнаго творенія!

Вызовемъ теперь этихъ лицъ, какъ общественныхъ дѣятелей, а это связано съ замысломъ траги-комедіи и съ развитіемъ дѣйствія.

Прочитавши „Свои люди — сочтемся“, съ перваго раза вы придете въ большое недоумѣніе и невольно спросите: чего ради почтенный купецъ, которому сорокъ лѣтъ всѣ кланялись въ поясъ, на старости лѣтъ задумалъ дѣло преступное — злостное банкротство? Еще въ большее недоумѣніе васъ повергаетъ то, что онъ не самъ воспользовался чужою собственностью, а отдалъ ее вмѣстѣ со всѣмъ своимъ имуществомъ другимъ, зятю и дочери, и себѣ ничего не оставилъ. И при самомъ чтеніи рождается въ васъ и не разъ возникаетъ это возраженіе, такъ что отъ него трудно отказаться, и вы готовы повторить слова Подхалюзина: „Самсонъ Силычъ купецъ богатѣйшій, и теперича все это дѣло, можно сказать, такъ, для препровожденія времени затѣялъ“. Специалистамъ очень хорошо извѣстны подобныя явленія въ исторіи поэзіи, этотъ камень преткновенія для эстетической критики! Почти такимъ же образомъ, только въ дѣлѣ правомъ и совершенно чистомъ, у Шекспира поступилъ король Лиръ, въ сценѣ раздѣла царства, которую Гёте не убоился назвать недѣлюю. Но лучшая современная критика старается оправдать Шекспира и если не уничтожить совсѣмъ, то, по крайней мѣрѣ, какъ можно болѣе ослабить строгій приговоръ нѣмецкаго поэта. Въ оправданіе она говоритъ, что такъ рассказываетъ преданіе, потомъ указываетъ и на психическія причины: бремя величія, постоянное зрѣлище раболѣпства, пышныя торжества и шумныя пиршества утомили царственного старца; а закоренѣлая привычка повелѣвать заставили его *такъ, а не иначе* раздѣлить королевство... Лиръ хочетъ потѣшить старческое сердце, слушая покорныя признанія дочерей; наконецъ, можно подумать, что старецъ-король, ожидавшій отъ Корделіи самыхъ нѣжныхъ изліяній, хотѣлъ оправдать себя передъ старшими дочерьми, отдавая ей бѣольшую и лучшую часть, и, безъ сомнѣнія, хотѣлъ у ней провести послѣдніе дни жизни и умереть на рукахъ любимѣйшей изъ дочерей. По мнѣнію нашему, этимъ далеко не все сказано; самое главное оправданіе такихъ видимыхъ несообразностей — а ихъ не мало у Шекспира — состоитъ въ томъ, что этого геніальнаго драматурга *событія, характеры лицъ, ихъ мысли и дѣйствія*, несмотря ни на преданія ни на исторію, создались въ мѣрѣ воображаемаго, т.-е. возможнаго порядка вещей. Но Островскій взялъ содержаніе своей траги-комедіи изъ современнаго, дѣйствительнаго міра, изъ извѣстной дѣйствительной среды, а потому величайшая, повидимому, несообразность поражаетъ еще болѣе: похищеніе чужого и въ то же время отреченіе не только отъ похищеннаго, но и отъ своего собственнаго. Человѣкъ въ одно и то же

время поступает грабительно и самоотверженно. Признаемся, и мы желали бы лучшей, болѣе прочной закладки въ художественномъ зданіи Островскаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ беремъ и оправдать автора. Во-первыхъ, въ самой комедіи есть оправданіе противъ этого обвиненія: на кого же Большовъ записалъ бы имущество, готовясь объявить себя несостоятельнымъ должникомъ? И не естественнѣе ли всего ввѣриться Лазарю, благодѣтельствованному имъ съ дѣтства! Увѣренность свою Большовъ думалъ несокрушимо утвердить родственнымъ союзомъ; а что онъ положился на совѣсть и на благодарность приказчика, имъ обогащеннаго и возвеличеннаго имъ до зятя, такъ это не только возможно, но и говорить весьма сильно въ пользу Большова, не совѣмъ еще испорченнаго нравственно. Во-первыхъ, этотъ человекъ съ неимо-вѣрно упорнымъ характеромъ, а Подхалюзинъ глубоко изучилъ его, и съ этой стороны знаетъ его вдоль и поперекъ. „У нихъ такое заведеніе, коли имъ что попало въ голову, уже ничѣмъ не выбьешь оттедова. Все равно какъ въ четвертомъ году захотѣли бороду обрить: сколько ни просили Аграфена Кондратьевна, сколько ни плакали, — дѣтъ, говорить, послѣ опять отпущу, а теперь поставлю на своемъ: взяли да и обрили“. Въ-третьихъ, есть и психическія причины: Большовъ зараженъ болѣзнію стяжанія, его томитъ жажда золота; онъ чувствуетъ страхъ и боль при одной мысли, что долженъ своими руками отдавать это золото кредиторамъ: „Вотъ теперь приходится много денегъ платить, говорить онъ стряпчему, и не то чтобы у меня ихъ не было, а признаться тебѣ сказать, не хочется. Пожалуй, расплатиться можно, да себѣ-то, глядишь, ничего и не останется. Вотъ какъ теперь деньги-то всѣ въ рукахъ, такъ отдавать-то и жалко. Ты этого и понять-то не можешь, потому что такихъ денегъ съ роду не видывалъ. Какъ вспомню, что отдавать надобно, такъ вотъ за сердце и схватить, — индо нездоровъ сдѣлался. Тѣфу, вы окаянныя! (Съ волненіемъ въ голосѣ.) Кажется, вотъ... ну, вотъ... задушилъ бы кого-нибудь“. Въ силу этого опаснаго недуга, въ глазахъ Большова заму-жество дочери, нераздѣльное съ приданымъ, становится весьма важною побудительною причиною — не покидать замысла, не останавливаться на половинѣ дороги. Итакъ, въ-четвертыхъ, еще причина — замужество дочери: „Тамъ, что хошь говори, а у меня дочь невѣста, хоть сейчасъ изъ полы въ полу, да со двора долой“. Въ-пятыхъ, есть побужденія, въ немъ самомъ лежація: и его утомила тяжелая, неутомонная торговая дѣятельность; отяжелѣлъ Большовъ, какъ маршалы Наполеона, и захотѣлъ погрузиться въ покойное довольство: „да и самому отдохнуть пора, проклажались бы мы, лежа на боку, и торговлю всю эту въ чорту“. А можетъ-быть, его устыдить окружающая среда? Не поддержитъ ли кто падающаго человека? Не отведетъ ли благодѣтельная невидимая рука тучу искушенія, нависшую надъ головой еще не преступника Большова? Хоть бы самъ онъ крикнулъ, какъ богатырь русской сказки: „есть ли въ полѣ живъ человекъ?“ Но кругомъ него пусто и глухо, даже, напротивъ, все наталкиваетъ на соблазъ

и преступленіе, и Большовъ, къ несчастію, видитъ это очень ясно: „И другіе дѣлаютъ. Да еще какъ дѣлаютъ-то: безъ стыда, безъ совѣсти! На лежачихъ лесорахъ ѣздятъ, въ трехъэтажныхъ домахъ живутъ; другой такой бельведеръ съ колоннами выведетъ, что ему съ своей образиной и войти-то туда совѣстно; а тамъ и вапуть, и взять съ него нечего. Коляски эти разъѣдутся неизвѣстно куда, дома всѣ заложены, останется ль, нѣтъ ли кредиторамъ-то старыхъ сапоговъ пары три. Вотъ тебѣ вся недолга. Да еще обманеть-то кого: такъ бѣдняковъ какихъ-нибудь пустить въ одной рубашкѣ по міру. А у меня кредиторы все люди богатые, что имъ сдѣлается!“ И такъ, еще причина, и притомъ одна изъ самыхъ важныхъ: въ самомъ обществѣ, вмѣсто поддержки отъ паденія, Большовъ нашель не только извиненіе, но и оправданіе беззаконнаго дѣла почти поощреніе въ нему. Лазарь доказываетъ хозяину, что сидѣльцы *знаютъ* споровку: „Покупатель что ли тумакъ подвернулся, али цвѣтъ съ узоромъ какой барышнѣ понравился, взялъ, говорю, да и накинулъ рубль или два на аршинъ“. Большовъ при этомъ случаѣ не приминулъ указать и на нѣмцевъ: „Чай, братъ, знаешь, какъ нѣмцы въ магазинахъ нашихъ баръ обираютъ. Положимъ, что мы не нѣмцы, а христіане православные, да тоже пироги-то съ начинкой ѣдимъ“. Лазарь насквозь видитъ своего хозяина и очень хорошо понимаетъ, въ чему клонятся эти рѣчи; онъ втайнѣ радуется такому настроенію и въ отвѣтахъ даетъ понять, что онъ ничуть не прочь отъ участія въ мошенничествѣ, и потому продолжаетъ: „и брать-то, говорю, надо поестественнѣе... а зазѣваются, такъ никто виновать, можно и черезъ руку лишній аршинъ шмыгнуть“. Большовъ снова обращается къ примѣру: „Все единственно, вѣдь, портной украдетъ же. А? Украдетъ, вѣдь?“ И Рисположенскій, пришедшій, какъ онъ выразился, *понавѣдаться*, поспѣшилъ также подтвердить: „украдетъ, Самсонъ Силычъ, безпремѣнно, мошенникъ, украдетъ: ужъ я этихъ портныхъ знаю“. Стряпчій, для залога дома, совѣтуетъ искать такого человѣка, чтобы совѣсть зналъ. „А гдѣ ты его найдешь нынче? возражаетъ Большовъ: нынче всякій норовить, какъ тебя за воротъ схватить, а ты совѣсти захотѣлъ“. Какая же нравственная опора можетъ быть въ такой средѣ для совѣсти шаткой, и гдѣ же тутъ искать поддержки человѣку, настроенному и готовому на преступленіе? Ко всему этому присоединяется новое обстоятельство, еще болѣе подстрекающее Большова и наносящее новый сильный ударъ совѣсти: приказчикъ принесъ газеты, а въ нихъ цѣлый рядъ знакомыхъ, купцы первой и второй гильдіи, и ихъ такъ много, что Большову не пересчитать и до завтрашняго дня; всѣ они объявляются несостоятельными должниками. Наконецъ, Большовъ самъ себѣ наливаль двухъ демоновъ-искусителей, которые съ радостію готовы увлечь его на путь беззаконія. Одинъ — демонъ бѣдности, стряпчій Рисположенскій; онъ ищетъ поживы, готовъ изъ-за нея на всякія услуги, и, хлопоча собственно для себя, соблазняетъ Большова своимъ мастерствомъ устраивать подобныя дѣла, и ему обѣщаетъ такую механику подсмолить,

что оглядокъ уже не будетъ. Другой искуситель еще обаятельнѣе, и потому еще болѣе опасный — приказчикъ Лазарь. Онъ давно проникъ въ умысль хозяина, издалека, совершенно незамѣтно, увлекаетъ его, но дѣлаетъ видъ, что ничего не знаетъ. Глухо ведутъ они разговоръ, какъ будто боятся еще произнести или обнаружить, что замышляютъ злостное банкротство. Эта сцена замѣчательна, какъ по художественности своей, такъ и по психологической вѣрности. Большовъ заводитъ рѣчь издалека, жалуется, что торговля идетъ дурно: лавокъ много, цѣлыхъ три, а ничего не везетъ... и спрашиваетъ Лазаря, *чувствуетъ ли онъ это*. Тонкій плутъ нарочно повторяетъ хорошо понятное слово: „кажется, долженъ чувствовать-сь“.

— „Такъ какъ ты думаешь?“

— „Да какъ думать-сь? Ужъ это какъ вамъ угодно. Наше дѣло подначальное“.

Большовъ старается вызвать его на откровенность, а онъ отмалчивается или скользитъ, но къ тутъ ударяетъ въ тактъ, и Большовъ это чувствуетъ.

— „Скажи, Лазарь, по совѣсти, любишь ты меня? Тотъ молчитъ, выжидаетъ еще...“

— „Поилъ, кормилъ, въ люди вывелъ, кажется“.

Тогда только начинается Лазарь высказываться, и то вполонину.

— „Эхъ, Самсонъ Силычъ! Да что тутъ разговаривать-сь. Ужъ вы во мнѣ-то не сомнѣвайтесь! Ужъ одно слово: вотъ какъ есть, весь тутъ.“

— „Да что жъ, что ты весь-то?“

— „Ужъ коли того, а либо что, такъ останетесь довольны: себя не пожалѣю“.

И Большовъ говоритъ уже напрямикъ, что теперь самое лучшее время, векселямъ сроки подошли... какъ будто они уже обслуживали это дѣло, долго стоваривались объ немъ, и какъ будто теперь имъ остается только порѣшиться окончательно. Большовъ мягче сердцемъ; онъ думалъ предложить кредиторамъ по двадцати-пяти копеекъ за рубль; не возьмутъ — вдвое, а за семь гривенъ обѣими руками ухватятся... и Лазарю говорить, что предложить двадцать пять.

— „А ужъ по мнѣ, Самсонъ Силычъ, коли платить по двадцати-пяти, такъ *пристойнѣе* совсѣмъ не платить“.

И Большовъ радъ такому лестному отголоску своему корыстолюбію.

— „А помогать станешь?“

— „Помилюйте, Самсонъ Силычъ, въ огонь и въ воду полѣзу-сь.“

— „Спасибо тебѣ, Лазарь, удружилъ! Награжу на всю жизнь“.

И вслѣдъ за этимъ разговоромъ начинается рядъ обмановъ, вѣроломствъ и предательствъ. Большовъ обѣщаль стряпчему за всю механику тысячу рублей и енотовую шубу; Подхалюзинъ тайкомъ отъ хозяина обѣщаетъ тому же Рисположенскому двѣ тысячи, чтобы укрѣпить за собою домъ и лавки; свахѣ двѣ тысячи и соболью шубу только за то, чтобы разстроить свадьбу, и все это обѣщано съ тѣмъ, чтобы

попользоваться всѣмъ и вѣроломно обмануть и хозяина, и страпчого, и сваху.

Несмотря на то, что Лазарь достаточно уже опуталъ свою жертву, получилъ закладную на домъ и лавку, ему все еще кажется, что онъ только распаталъ Большова. Чтобы добить его окончательно, онъ ловкой рукой ударяетъ снова въ двѣ чувствительныя струны: раздражаетъ корыстолюбіе и упорство своего хозяина; приступаетъ къ нему съ видомъ жалобы на страпчого, какъ будто съ негодованіемъ говорить, что эта чернильная душа даетъ дурной совѣтъ — объявиться несостоятельнымъ.

— „Что жъ объявиться, такъ объявиться — одинъ конецъ.

— „Ахъ Самсонъ Силычъ, что это вы изволите говорить!

— „Что жъ, деньги заплатить? Да съ чего жъ ты это взялъ? Да я лучше все огнемъ сожгу, а ужъ имъ ни копейки не дамъ. Перевози товаръ, продавай векселя, пусть тащутъ, воруютъ, кто хочетъ, а ужъ я имъ не плательщикъ“.

Мы старались въ своемъ произведеніи отыскать все, что только можетъ служить оправданіемъ автора, и указали на всѣ, кажется, причины, которыя можно привести на возраженія критики противъ возможности замысла, какъ главной основы драматическаго дѣйствія; тѣмъ не менѣе, не можемъ не повторить, что желали бы болѣе прочной, непоколебимой закладки для этого великолѣпнаго литературнаго зданія.

Подхалюзинъ, съ неподражаемымъ искусствомъ играющій на душѣ Большова, перебралъ на всѣ лады этотъ послушный ему инструментъ, и теперь приступаетъ къ самой отдаленной послѣдней своей цѣли. Для этого онъ подходитъ къ Большову съ противоположной стороны, начинаетъ его пугать несчастнымъ исходомъ дѣла: если, напримѣръ, придерутся, потянутъ въ судъ, да отнимутъ имѣніе; Аграфена Кондратьевна, а въ особенности Олимпиада Самсоновна, барышня образованная, останутся ни при чемъ, должны будутъ терпѣть голодь и холодъ?... И онъ до того увлекся созданной имъ картиной бѣдствія, что какъ будто самъ ея испугался, такъ, что ударился въ слезы: Лазарь плачетъ отъ жалости къ птенцамъ беззащитнымъ! Что же дѣлать? Надобно, по крайней мѣрѣ, образованную барышню заранѣе пристроить за *хорошаго* человѣка, да чтобы она была за *нихъ*, какъ за каменной стѣной; а вотъ тотъ женихъ, что сватался изъ благородныхъ-то, и оглобли назадъ поворотилъ; а ужъ мы знаемъ, что за этотъ поворотъ самъ же Подхалюзинъ обѣщалъ свахѣ двѣ тысячи рублей и соболью шубу! И бѣдная жертва до того заслушалась покоей сирены, что сама бросается въ объятія чудовища! Этимъ послѣднимъ маневромъ, который сдѣлалъ бы честь любому іезуиту, Лазарь довелъ Большова до того, что тотъ собственными руками отдаетъ ему и дочь и все добро свое: самъ будетъ за него сватомъ и на него же переводить все свое имущество. До сихъ поръ дѣйствіе, какъ и нужно, шло медленно, ровнымъ, тяжелымъ шагомъ; теперь ходъ его видимо ускоряется. И съ внутренней стороны драма рѣзко измѣняется: изъ комедіи быстро переходитъ въ трагедію; въ

трехъ первыхъ дѣйствіяхъ смѣхъ смѣнялся иногда весьма серіознымъ лицомъ, а въ послѣднемъ онъ уже переходитъ въ жалость, состраданіе и ужасъ. Прежде всего авторъ поражаетъ васъ художественнымъ созданіемъ противоположностей: счастливые супруги блаженствуютъ въ богатомъ домѣ, а отецъ, отдавшій имъ эти палаты со всѣмъ имѣніемъ и своимъ и чужимъ, сидитъ въ ямѣ! Онъ пресыщается стыдомъ, а дочь его, теперь уже Подхалюзина, украшенная шелковою блузою послѣдняго фасона, покоится въ роскошномъ положеніи: супругъ ея въ модномъ сюртукѣ охорашивается передъ зеркаломъ; къ полному его удовольствію, Тишка подтверждаетъ, что онъ похожъ на француза, какъ двѣ капли воды. Супруги строятъ планы: онъ выучится танцовать; зимой будутъ ѣздить въ купеческое собраніе, будутъ полькировать. Коляска сторгована за тысячу рублей, столько же стоятъ лошади, серебряная сбруя; поѣдутъ они въ паркъ, въ Сокольники, а публика пушай смотритъ!

„Что это вы меня не поцѣлуете, Лазарь Елизаровичъ?“

Онъ проситъ сказать ему что-нибудь на французскомъ діалектѣ, „такъ-съ, самую малость“, и, узнавши, что сказанная фраза значить по-русски: какъ вы милы, — въ совершенномъ упоеніи. Они наслаждаются на лаврахъ, безчестно пожатыхъ, и ни единого слова о бѣдномъ отцѣ, ни дочь ни зять, поднятый имъ изъ праха.

Но карающая Неиздима уже давно подстерегаетъ эти минуты самозабвенія; грозной тучей виситъ она надъ преступными головами и скоро разразится громомъ; надъ дѣтьми — за неблагодарность и нечестіе къ родителямъ; надъ отцомъ — за тайное беззаконіе. Вся эта сцена, какъ истинное подобіе грознаго судилища, поражаетъ зрителя ужасомъ и состраданіемъ. Первый фіалъ Божьяго гнѣва преступный, несчастный отецъ долженъ принять изъ рукъ дочери и зятя, котораго онъ возвысилъ изъ ничтожества и осыпалъ благодѣянiami. Лазарь еще въ сидѣльцахъ былъ не чистъ на руку; Большовъ это замѣчалъ, и не разъ, но не ославилъ его, не прогналъ отъ себя, а сдѣлалъ главнымъ приказчикомъ, отдалъ ему все состояніе и, наконецъ, свою дочь, на которую тотъ и глядѣть едва ли бы осмѣлился. И вотъ теперь, вмѣсто того, чтобы всѣмъ жертвовать для спасенія своего благодѣтеля и отца отъ несчастія и позора, онъ едва не издѣвается надъ нимъ, когда старикъ, убитый горемъ и безсердечіемъ, потерялъ человѣческое терпѣніе и назвалъ ихъ змѣями подколодными: *тятенька замелтъль маленько*. Дочь убиваетъ его окончательно, когда на отрѣзъ сказала, что больше десяти копеекъ за рубль не дадутъ ему, и нагло дала понять, чтобы отецъ отвязался наконецъ. Кромѣ чудовищной неблагодарности дѣтей, Большовъ обреченъ на другое тяжкое наказаніе: онъ преданъ общественному позору: точно грѣшную душу дьяволу по мытарствамъ тащатъ, когда ведутъ его на поруганіе по Ильинкѣ, и эта улица кажется ему за сто верстъ! Этого мало, и совѣсть возстаетъ на виновнаго, пугая его призраками кары небесной. Какъ онъ взглянетъ на ликъ Пречистой Дѣвы, когда пойдетъ мимо Иверской? Отрезвленный полнымъ сознаніемъ преступленія, Большовъ видитъ

въ себѣ Іуду: этотъ за деньги продалъ Иисуса Христа, а онъ — со-вѣсть свою! Наконецъ, предстаютъ предъ нимъ и земныя страшилища — присутственныя мѣста, уголовная палата, Сибирь... Вотъ когда онъ начинаетъ уже не требовать отъ дѣтей своей собственности, а со слезами проситъ у нихъ Христа ради!

Никакъ не можете вы отказать Большову въ чувствѣ жалости, и не только какъ къ несчастному отцу, но и какъ къ преступнику. Правда, онъ попрадь нравственный и гражданскій законъ, но и возмездіе понесъ несоразмѣрно тяжкое; со всѣхъ сторонъ, градомъ посыпались на него удары; неблагодарность дѣтей, общественный позоръ, угрызения совѣсти, страхъ передъ закономъ общественнымъ и гражданскимъ — предчувствіе суда Божія и наказанія человѣческаго!

Намъ остается объяснить послѣднее и самое главное отличіе комедіи „Свои люди — сочтемся“ отъ „Бригадира“, показать, чѣмъ обозначился тотъ важный шагъ впередъ, который почти во сто лѣтъ сдѣлало русское общество, а за нимъ литература русская. Это и есть то новое начало, которое одушевляетъ произведеніе Островскаго, и о которомъ, какъ мы сказали, многимъ писателямъ XVIII вѣка даже не снилось. Въ прошломъ столѣтіи русская литература, принявшая въ образецъ европейскую, выражала стремленіе водворить въ русскомъ обществѣ идеаль общественности европейской. Поэтому весьма естественно, что поэзія наша того времени изображала по преимуществу лица *этого обновляющагося общества, т.-е. сословія высшаго*. Теперь становится совершенно понятнымъ, почему лица средняго и низшаго сословія, если ихъ случайно заводили въ область литературы, обращены къ намъ одною грубою, матеріальною стороною: знали ихъ по одной внѣшности, видѣли ихъ погруженными въ кругу мелкихъ, житейскихъ нуждъ, сталкивались съ ними въ обыденныхъ интересахъ. Когда Лукинъ въ комедіи („Могъ, любовью исправленный“) вывелъ честнаго слугу — а писатели-дворяне слугъ тогда знали лучше, ибо были ближе къ нимъ — вывелъ слугу, который бережетъ своего барина не только отъ плута купца, но и отъ вѣроломнаго друга; почти спасаетъ отъ гибели безпутнаго, но добраго юношу; не принимаетъ отъ него отпускнуой, великодушно отказывается отъ свободы, и только для того, чтобы не покидать своего господина въ несчастіи: тогда, трудно повѣрить, поднялись крики строгихъ цѣнителей и судей: „*такихъ добрыхъ слугъ у насъ не бывало!*“ — Пусть онъ послужитъ образцомъ, — благородно отвѣтилъ имъ Лукинъ. Нашелся и такой критикъ, который *съ ругательствомъ и улыбкою* сказалъ автору „*къ чему вдругъ столь избранное и плодovitое нравоученіе для подлago сего рода?*“ „Для того, — говоритъ Лукинъ, — чтобы очистить оный отъ подлости и научить поступкамъ, всякому честному человѣку приличнымъ“. Очевидно, большинство писателей не возвышалось надъ сословными предразсудками и даже полагало, что съ лицами средней и низшей среды нераздѣльны понятія не только необразованія, невѣжества, но и пороковъ, какъ будто такъ и быть должно, и иначе быть не можетъ; и напрасно было бы въ этой низ-

кой сферѣ искать чего-нибудь родственнаго людямъ въ настоящемъ значеніи слова, представителямъ сословія высшаго, которымъ однимъ свойственны образованіе, развитіе ума и нравственное совершенствованіе.

И вотъ почти сто лѣтъ надо было пройти послѣ появленія „Бригадира“ для того, чтобы въ другую комедію русскую не только вошла, но и получила въ ней полныя права гражданства та космополитическая идея, которая была провозглашена съ высоты трона свободолюбивой государыней: „человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, владѣлецъ или земледѣлецъ, руководѣльникъ или торговецъ, праздный хлѣбоядца или прилежаніемъ и раченіемъ подающій къ тому способы, управляющій или управляемый — все есть человѣкъ“.

Въ комедіи есть такія положенія, что вы совершенно забываете и купца, и сваху, и приказчика, и стряпчаго, а видите предъ собою міръ, какъ поле битвы; жизнь, какъ борьбу, и человѣка со всѣми его тревоженіями и страстями.

Но въ траги-комедіи Островскаго есть нѣчто болѣе того, что мы сказали: авторъ не только далъ право гражданства этой глубоко человѣческой идеѣ, но *стремится искоренить ее и въ сознаніе дѣйствующихъ лицъ*. Конечно, никто изъ нихъ не заявляетъ прямо и не говоритъ вамъ: я человѣкъ! этой грубой ошибки такой художникъ и сдѣлать не могъ; онъ надѣлаетъ ихъ настолько, насколько они могутъ вмѣстить. И стряпчій Рисположенскій, бѣдный Сысой Псоичъ, и тотъ выражаетъ ее, разумѣется, въ тугѣ сердечной, а не въ философскихъ изреченіяхъ; потому что горемыка-взяточникъ вынесъ эту мысль изъ тяжелой, изъ гнетущей дѣйствительности, которая сгибаетъ его до паденія: „Будешь и по мелочамъ, какъ взять-то негдѣ. Ну еще не что, кабы одинъ; а то вѣдь у меня жена да четверо ребятишекъ. Всѣ ѣсть просить, голубчики. Тотъ говоритъ — тятенька дай, другой говоритъ — тятенька дай. А я къ семейству очень чувствительный человѣкъ. Одного вотъ въ гимназію опредѣлили: мундирчикъ надобно, то, другое. А домишко-то звоно гдѣ!... Что сапоговъ однихъ истреплешь, ходимши къ Воскресенскимъ воротамъ съ Бутырокъ-то“.

Въ траги-комедіи есть, наконецъ, стремленіе, еще болѣе рѣзкою чертою отдѣляющее ее отъ всѣхъ комедій XVIII вѣка. Мы крайне сожалѣемъ, что эта новая мысль автора, доблестно-гражданская, не облечена въ достаточно-прозрачный образъ: или Островскій не рѣшилъ на шагъ болѣе смѣлый, разумѣемъ это только въ литературномъ смыслѣ, или фантазія художника нѣсколько утомилась при концѣ своего творческаго полета. Для большей ясности мы приведемъ въ цѣлости это важное мѣсто, совершенно измѣненное во второмъ изданіи. Рисположенскій постоянно ходитъ къ Подхалюзину, который долженъ ему полторы тысячи, а отдаетъ только по пяти цѣлковыхъ, да еще съ презрѣніемъ и досадою, что тотъ ему надоѣдаетъ. Стряпчій проситъ отдать уже все разомъ, тогда ему ходить будетъ не зачѣмъ; Подхалюзину такое настойчивое требованіе кажется дерзостію, и онъ готовъ

безъ церемоніи выгнать его изъ дома: пора де честь знать, попользовался и будетъ. Но тотъ все просить денегъ, а не то, такъ документъ; Подхалюзинъ находитъ это желаніе черезчуръ ужъ наивнымъ и вмѣсто документа предлагаетъ ему взять еще пять цѣлковыхъ, да и убраться съ Богомъ восвоеси.

Рисположенскій. Нѣтъ, погоди! Ты отъ меня этимъ не отдѣлаешься!

Подхалюзинъ. А что же со мной сдѣлаешь?

Рисположенскій. Языкъ-то у меня не купленный

Подхалюзинъ. Что же ты лизать, что ли, меня хочешь?

Рисположенскій. Нѣтъ, не лизать, а добрымъ людямъ рассказывать.

Подхалюзинъ. О чемъ рассказывать-то, купоросная душа! Да кто тебѣ повѣрить-то еще?

Рисположенскій. Кто повѣрить? А вотъ увидишь! А вотъ увидишь! Батюшки мои, да что жъ мнѣ дѣлать-то? Смерть моя! Грабить меня, разбойникъ, грабить! Нѣтъ, ты погоди! Ты увидишь! Грабить не приказано!

Подхалюзинъ. Да что увидать-то?

Рисположенскій. А вотъ что увидишь! Постой еще, постой, постой! Ты думаешь, я на тебя суда не найду?

Подхалюзинъ. Погоди, да погоди! Ужъ я и такъ ждалъ довольно. Ты полно пужать-то: не страшно.

Рисположенскій. Ты думаешь, мнѣ никто не повѣритъ? Не повѣритъ? Ну, пускай обижаютъ! Я... я вотъ что сдѣлаю: Почтеннѣйшая публика!

Подхалюзинъ. Что ты! Что ты! Очнись!

Тишка. Ишь ты съ пьяныхъ-то глазъ куда лѣзешь!

Рисположенскій. Пусти! Постой! Почтеннѣйшая публика! Тестя обокралъ! И меня грабить... Жена, четверо дѣтей, вотъ сапоги худые!

Подхалюзинъ. Все вретъ-съ! Самый пустой человекъ-съ! Полно ты, полно... Ты прежде на себя-то посмотри, ну куда ты лѣзешь!

Рисположенскій. Пусти! Тестя обокралъ! И меня грабить... Жена, четверо дѣтей, сапоги худые!

Тишка. Подметки подкинуть можно!

Рисположенскій. Ты что? Ты такой же грабитель!

Тишка. Ничего-съ, проѣхали!

Подхалюзинъ. Ахъ! Ну что ты мораль-то этакую пуцаешь!

Рисположенскій. Нѣтъ, ты погоди! Я тебѣ припомню! Я тебя въ Сибирь улеку!

Подхалюзинъ. Не вѣрьте, все вретъ-съ! Такъ-съ самый пустой человекъ-съ, вниманія не стоющій! Эхъ, братецъ, какой ты безобразный! Ну, не зналъ я тебя—ни за какія бы благополучія и связываться не сталъ.

Рисположенскій. Что взялъ! а! что взялъ! Вотъ тебѣ, собака! Ну, теперь подавись моими деньгами, чортъ съ тобой (*Уходитъ.*)

Подхалюзинъ. Какой горячій-съ! (*Къ публикѣ*) Вы ему не вѣрьте, это онъ, что говорилъ-съ — это все вретъ. Ничего этого и не было. Это ему, должно быть, во снѣ приснилось. А вотъ мы магазинчикъ открываемъ: милости просимъ! Малаго ребенка пришлите — въ луговицѣ не обочтемъ.

Развѣ только творческая игра высокаго сценическаго таланта можетъ придать этой сценѣ то особенно освѣщеніе, въ которомъ она такъ сильно нуждается; въ противномъ случаѣ, главная мысль, душа этого послѣдняго явленія не обнаружитъ всей жизненной силы, въ ней скрытой, а для большинства можетъ даже остаться почти незамѣчною. Что же здѣсь хотѣлъ высказать авторъ? Онъ стремится, во-первыхъ, водворить въ русскомъ обществѣ *власть общественнаго мнѣнія*; во-вторыхъ, хочеть показать, что лица низкопоставленныя, ограниченныя и даже порочныя, и тѣ уже *чувствуютъ теперь потребность, даже сознаютъ необходимость общественнаго суда*. Проводя эту мысль въ сознаниіи *и малыхъ міра сего*, Островскій сначала, еще прежде, заставилъ сваху высказать ее; но Устинья Наумова выражаетъ эту идею, какъ и слѣдуетъ, только инстинктивно, безъ всякаго сознаниія и отчета. Озлобленная на Подхалюзина, обѣщавшаго ей двѣ тысячи рублей да соболью шубу и безчестно ее обманувшаго, она уходитъ изъ дома и въ безсильномъ негодованіи прибѣгаетъ къ послѣдней угрозы: „Ужъ я васъ золотые, распечатаю—будете знать! Я васъ такъ по Москвѣ-то разславлю, что стыдно будѣтъ въ люди глаза показать!...“

Совершенно не то стряпчій Рисположенскій... Авторъ возвышаетъ его до сознаниія этой нравственной потребности, и возвышаетъ безъ всякой натяжки, естественно; потому что избираетъ для этого такой моментъ, когда подобный поворотъ вполне возможенъ: Рисположенскій мгновенно *ощущалъ* въ себѣ эту потребность, и вдругъ, внезапно озарился этою мыслию, ибо увидѣлъ въ ней свое спасеніе; по этой же причинѣ онъ заявляетъ ее и передъ лицомъ общества. Горько ему видѣть, какъ нагло издѣвается надъ нимъ же Подхалюзинъ, а еще больнѣе то, что онъ самъ поставилъ себя въ беззащитное положеніе: такой мастеръ обдѣлывать даже темныя судейскія дѣла, онъ ничего теперь не можетъ сдѣлать съ человѣкомъ, его же ограбившимъ; потому что не оградилъ себя никакимъ законнымъ документомъ. Подхалюзинъ ни тестю ни стряпчему не далъ противъ себя никакого юридическаго оружія и совершенно оградилъ себя отъ всякихъ законныхъ уликъ. Но если нужда долбитъ камень, то горе рождаетъ идеи, даже въ самомъ не развитомъ, въ самомъ ограниченномъ человѣкѣ... И многоопытный дѣлецъ, чувствуя все безсиліе своего права—въ судъ нельзя ему итти, нѣтъ никакихъ документовъ—и взяточникъ-стряпчій прибѣгаетъ къ карающему суду публики! И онъ когда его обидѣли и

ограбили и, мало того, еще осмѣяли, и онъ, какъ блудный сынъ, простираетъ руки къ имъ же оскорбленному обществу, апеллируетъ къ нему и въ отчаяніи взываетъ: „Почтеннѣйшая публика! Тестя обокралъ! И меня грабить!...“ И ему уже теперь хочется рассказать добрымъ людямъ, чтобы они всѣ знали, что Подхалюзинъ — безчестный грабитель; другими словами: ябедника и лихоимца Островскій возвышаетъ до сознанія правды и возлагаетъ на него очистительную миссію, ставитъ его передъ лицомъ русскаго общества съ огромнымъ воззваніемъ — чтобы всѣ честные русскіе люди нравственно наказывали всяческую мерзость и кривду; чтобы они безпощадно преслѣдовали даже тайное преступленіе, хотя бы оно стояло подъ прикрытіемъ всевозможныхъ орудій казуистики и формъ закона; а если обратимъ отрицательный способъ выраженія въ положительный, то найдемъ что отдаленнѣйшее, послѣднее стремленіе автора траги-комедіи состоятъ въ томъ, чтобы на всей русской землѣ, отъ края до края, царилъ единая вѣчная правда, которую русскій народъ возлюбилъ паче всѣхъ идеаловъ и назвалъ своею матерью!

Селинъ.

Чтеніе комедіи „Свои люди — сочтемся“ въ разныхъ кругахъ московскаго общества.

Московское общество выразило нетерпѣливое желаніе прослушать комедію Островскаго до выхода ея въ свѣтъ. Возникло это желаніе по почину М. Н. Каткова: въ скромной тогда квартирѣ его состоялось первое чтеніе „Банкрота“¹⁾. Съ Катковымъ члены кружка „Молодого Москвитянина“ были знакомы уже нѣсколько лѣтъ и часто посѣщали его. Члены этого кружка равнѣ другихъ замѣтили размѣры его дарованій, заслоненные отъ единомышленниковъ его западниковъ преклоненіемъ передъ Грановскимъ, какъ своего рода идоломъ. Впечатлѣніе, произведенное на новыхъ слушателей (присутствовали И. В. Бѣляевъ и братъ Каткова Меѳодій), было необыкновенное. Независимо отъ красотъ самаго произведенія, впечатлѣніе это увеличивалось и тѣмъ, что Островскій былъ необыкновенно искуснымъ чтецомъ своихъ произведеній.

Съ этого времени началось частое чтеніе этой пьесы въ разныхъ мѣстахъ, и быстро по Москвѣ разнеслась ея слава. Островскаго стали просить читать ее въ знакомыхъ и незнакомыхъ домахъ. Онъ направлялся съ своими товарищами, всегда имѣя съ собою, какъ непремѣннаго члена П. М. Садовскаго, который и читалъ съ нимъ попеременно.

„Сегодня, — писала графиня Ростопчина Погодину, — Садовскій для меня читаетъ „Банкротство“ у Новосильцевыхъ, а потому хотя

¹⁾ Первоначальное заглавіе „Свои люди — сочтемся“.

я очень нездорова, но встала съ постели, чтобы не прогулять этого занимательнаго вечера“. Чтеніе это произвело сильное впечатлѣніе на графиню Ростопчину, и она писала: „Что за прелесть „Банкротство“! Это нашъ русскій Тартюфъ, и онъ не уступаетъ своему старшему брату въ достоинствѣ правды, силы и энергіи. Ура! у насъ рождается своя театральная литература, и нынѣшній годъ былъ для нея благодатно плодovitъ“.

Вслѣдъ за симъ, комедію Островскаго П. М. Садовскій читалъ въ домѣ Н. Ф. Павлова.

Наконецъ, и самъ Погодинъ рѣшился сдѣлать у себя литературный вечеръ, на которомъ читались „Нелюдимка“ и „Свои люди — сочтемся“. Вечеръ этотъ состоялся 3 декабря 1849 г.

Пригласить Островскаго къ себѣ на вечеръ Погодинъ поручилъ Н. В. Бергу, который писалъ: „Непремѣнно явлюсь къ вамъ въ субботу, но не знаю, можно ли будетъ привести Островскаго. Я знакомъ съ нимъ, но не такъ коротко“. Но тѣмъ не менѣе Бергъ принялъ мѣры къ приглашенію Островскаго, и наканунѣ чтенія писалъ Погодину: „Какъ я сказалъ вамъ, такъ и сдѣлалъ: на другой день, по полученіи вашего письма, я написалъ къ общему нашему съ Островскимъ знакомому, прося его или свести меня съ Островскимъ поближе или пригласить его прямо къ вамъ. Вчера я получилъ отвѣтъ, но самый неопредѣленный. Господинъ, къ которому я писалъ, увѣдомляетъ меня, что Островскій почему-то дома почти никогда не бываетъ, а тамъ, гдѣ его можно найти въ настоящее время, онъ былъ два раза и не нашелъ его. Я писалъ снова къ этому господину, чтобы онъ хоть запиской увѣдомилъ Островскаго, или отыскалъ его, какъ хочеть. Не знаю, что будетъ. Завтра напишу снова и упомяну о желаніи графини Ростопчиной съ нимъ познакомиться. Если бъ я зналъ, гдѣ онъ живетъ, я давно бы съѣздилъ къ нему самъ и не прибѣгаль бы къ такому невѣрному и скучному посредству. Вотъ причины, почему я васъ не увѣдомлялъ до сихъ поръ. Просто не о чемъ было писать“.

Пригласить же Щепкина на свой вечеръ Погодинъ поручилъ Гоголю, который по этому поводу писалъ ему: „Когда увижусь съ Щепкинымъ, передамъ ему это и отвѣтъ привезу самъ“.

Какъ бы то ни было, Островскій былъ на вечерѣ у Погодина и своимъ произведеніемъ произвелъ сильное впечатлѣніе, о чемъ единогласно свидѣтельствуютъ участники этого вечера. „Комедія „Банкротъ“ удивительная“, отмѣчаетъ хозяинъ въ своемъ дневникѣ, „ее прочелъ Садовскій и авторъ“. Прослушавъ во второй разъ эту комедію, графиня Ростопчина писала Погодину: „Банкрота“ слушала я, отъ души радуюсь замѣчательному таланту, озарившему нашу немощность и нашъ застой. Chaque chose et chaque oeuvre a les défauts de ses qualités, поэтому нельзя, чтобы немного грязнаго не примѣшалось въ олицетвореніи типовъ, взятыхъ живьемъ и цѣликомъ изъ низшихъ слоевъ общества“.

Болѣе подробное описаніе этого вечера мы находимъ въ воспоминаніи Н. В. Берга: „На вечерѣ Погодина, Островскій читалъ свою комедію „Свои люди — сочтемся“ („Банкротъ“). Слушающихъ собралось довольно: актеры, молодые и старые литераторы, между прочимъ графиня Ростопчина. Гоголь былъ званъ также, но пріѣхалъ среди чтенія; тихо подошелъ къ двери и сталъ у притолки. Такъ и простоялъ до конца, злушая, повидимому, внимательно. Послѣ чтенія онъ не проронилъ ни слова. Графиня Ростопчина подошла къ Гоголю и спросила: „Что вы скажете, Николай Васильевичъ?“ — Хорошо, но видна нѣкоторая неопытность въ приѣмахъ. Вотъ этотъ актъ нужно бы подлиннѣе, а этотъ покороче. Эти законы узнаются послѣ, и въ непреложность ихъ не сейчасъ начинаешь вѣрить. — Больше ничего онъ не говорилъ, кажется, ни съ кѣмъ, во весь тотъ вечеръ. Къ Островскому, сколько могу припомнить, не подходилъ ни разу“.

Несмотря на это видимое равнодушіе, и на Гоголя комедія Островскаго, кажется, произвела впечатлѣніе. Подтвержденіемъ этого предположенія могутъ служить слѣдующія строки Погодина: „Въляевъ сказывалъ, что онъ хочетъ печатать статьи историческія. Онъ тоже подвигнетъ все-таки меня, какъ Островскій Гоголя“.

„Какъ чтець“, свидѣтельствуеъ Т. И. Филипповъ, „Островскій далеко превосходитъ Садовскаго; но когда черезъ нѣсколько времени имъ привелось совмѣстно играть сцены изъ той же пьесы въ домѣ С. А. Пановой, превосходство Садовскаго оказалось во всей его силѣ“.

Въ чтеніяхъ пьесы Островскаго прошла цѣлая зима. Читали пьесу и въ литературныхъ, и въ купеческихъ, и въ аристократическихъ домахъ, какъ на примѣръ у Мецкерскихъ и Шереметевыхъ. Въ оба эти дома ввелъ Островскаго и другихъ членовъ кружка „Молодого Москвитянина“ Филипповъ. Князь А. В. Мецкерскій, бывшій впоследствии Московскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства, былъ уже и ранѣе въ дружескихъ отношеніяхъ съ Филипповымъ. Съ Шереметевыми познакомилъ Филиппова Николай Петровичъ Алмазовъ, братъ Варвары Петровны Шереметевой и отецъ поэта Бориса Николаевича.

Барсуковъ.

Художественная и бытовая стороны комедіи Островскаго „Бѣдная невѣста“.

Начиная оцѣнку явленій литературныхъ 1852 года съ „Бѣдной невѣсты“ А. Н. Островскаго, мы поступимъ, впрочемъ, правильно какъ съ исторической, такъ и съ художественной точки зрѣнія. Какъ бы ни было несправедливо отношеніе критики къ новому произведенію Островскаго, каковы бы ни были недостатки самой комедіи, извѣстные и намъ конечно, но всего болѣе извѣстные ея автору, все-таки изъ литературы 1852 года уцѣлветъ и останется одно только: „Бѣд-

ная невѣста“. Отъ этого положенія не можетъ отречься и та близорукая критика, которая придираясь къ разнымъ мелкимъ недостаткамъ или даже просто недосмотрамъ въ комедіи, не замѣтила самаго важнаго, самаго существеннаго недостатка въ художественномъ отношеніи, недостатка экономіи въ планѣ и подробностяхъ. Задачи, замыслы произведенія такъ широко, такъ, можно сказать, блестяще раскинулись передъ самимъ художникомъ, явились ему такъ благородными и такъ говорящими сами за себя, что онъ пренебрегъ ради ихъ симметричностью постройки, что даже, драматургъ по свойству своего таланта, онъ забылъ объ условіяхъ драматизма и нѣкоторымъ сторонамъ своей концепціи далъ эпическое развитіе, нѣкоторыя же черты выразилъ даже лирически. Можетъ быть также, увлеченный благородствомъ и новостью своихъ задачъ, авторъ не выносилъ ихъ достаточно въ душѣ, не далъ имъ дозрѣть до надлежащей полноты и ясности представленія, но во всякомъ случаѣ, „Бѣдная невѣста“ свидѣтельствовала о силѣ таланта, находящейся въ извѣстномъ броженіи, въ необузданномъ состояніи, а никакъ не о безсиліи его.

Повторяемъ опять: существенный, главный недостатокъ „Бѣдной невѣсты“ — отсутствіе экономіи въ планѣ, въ построеніи, — недостатокъ, котораго всѣ другія являются уже неизбѣжными послѣдствіями. Сожми Островскій свою драму въ болѣе тѣсныя рамы, умѣрь нѣсколько свои въ высокой степени благородныя и широкія задачи, не выброси онъ заразъ всего, что передумано, перечувствовано имъ въ отношеніи къ избранному драматическому положенію, — созданіе получило бы стройность и цѣлость, хотя, можетъ-быть, утратило бы нѣсколько своей энергіи, той энергіи, которая всегда проглядываетъ въ произведеніяхъ субъективныхъ, которая составляетъ и порокъ ихъ и высокое достоинство, — энергіи, которая, какъ субъективная, изолируетъ произведеніе отъ общаго и обыкновеннаго сочувствія, но вмѣстѣ съ тѣмъ кладетъ на него неотразимо влекущую печать. Въ такой энергіи есть почти всегда нѣчто недосказанное, нѣчто заставляющее подозрѣвать, что она еще не вся вылилась, — и продукты ея дѣйствительно являются чѣмъ-то недосказаннымъ, хотя въ то же время эта недосказанность, да простятъ мнѣ нѣсколько фигурное выраженіе, прозрачна: сквозь нее видно, что хотѣлъ сказать поэтъ, видны основы его, видна болѣе всего поэзія его міросозерцанія. Пусть онъ не довелъ до послѣдней степени ясности своихъ задачъ, пусть не достигъ онъ положительной опредѣленности и типичности въ отдѣлкѣ выведенныхъ имъ образовъ; душа читателя, увлеченная силою творчества и, такъ сказать, покоренная міросозерцаніемъ дополняетъ въ себѣ сама, и притомъ дополняетъ правильно, недосказанныя черты. Ибо ничто въ такой степени не необходимо художнику, какъ міросозерцаніе. Талантъ находится въ прямомъ отношеніи съ жизнью, и большая или меньшая степень воспроизведенія жизни есть вмѣстѣ съ тѣмъ высшая или низшая степень правильнаго отношенія къ ея явленіямъ, т.-е. къ дѣйствительности. Безъ міросозерцанія, прочнаго, совершенно

сложившагося (хотя складывающагося различно, смотря по различнымъ историческимъ даннымъ мѣстности, народности, времени, а съ другой стороны, смотря по условіямъ, лежащимъ въ натурѣ художника), не бывало, нѣтъ и не будетъ истинныхъ художниковъ. Кого ни возьмете вы изъ тѣхъ избранныхъ, которые отмѣтили жизнь свою дѣломъ, оставили по себѣ какой-либо прочный слѣдъ, всѣ они разумѣли смыслъ жизни, и стало быть, серьезно смотрѣли на жизнь. Всѣ они, отрицательно ли, положительно-ли, дѣйствовали въ литературѣ *во имя* ясно сознаваемаго и живо чувствуемаго идеала, и безъ этой идеальной основы — художества быть не можетъ. Чѣмъ свободнѣе, чѣмъ шире, человѣчнѣе и вмѣстѣ идальнѣе міросозерцанія художника, т.-е. разумнѣе того, *во имя* чего воспроизводитъ онъ образы полные правды и караетъ всякую неправду жизни, и вмѣстѣ съ тѣмъ разумнѣе отношенія идеала къ дѣйствительности, тѣмъ болѣе яркій слѣдъ оставляетъ по себѣ его дѣятельность. Изъ разумнѣя отношенія между тѣмъ, во имя чего художникъ творитъ, и между тѣмъ, въ чемъ художникъ видитъ, или, лучше сказать, чувствуетъ глубоко положеніе или отрицаніе идеала, — изъ этого разумнѣя, обусловленнаго историческими данными извѣстной народности и извѣстной эпохи, выходитъ различное міросозерцаніе художника. Да не подумаютъ, впрочемъ, чтобы, увлекаясь нѣкоторымъ историческимъ фатализмомъ, мы въ словеніи міросозерцанія художника давали мѣсто только влиянію историческихъ данныхъ эпохи: на одни и тѣ же явленія различныя художественскія природы смотрятъ подъ различнымъ угломъ зрѣнія. Свѣтъ одинъ, но онъ преломляется въ призмѣ на нѣсколько различныхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ: нужно только, необходимо, чтобъ душа художника воспринимала свѣтъ и отражала тотъ или другой оттѣнокъ.

У Островскаго одного, въ настоящую эпоху литературную, есть свое прочное, новое и вмѣстѣ идеальное міросозерцаніе, съ особеннымъ оттѣнкомъ, обусловленнымъ какъ данными эпохами, такъ можетъ-быть и данными природы самого поэта. Этотъ оттѣнокъ мы назовемъ, нисколько не колеблясь, кореннымъ русскимъ міросозерцаніемъ, здоровымъ и спокойнымъ, юмористическимъ безъ болѣзненности, прямымъ безъ увлеченій въ ту или другую крайность, идеальнымъ, наконецъ, въ справедливомъ смыслѣ идеализма, безъ фальшивой грандіозности или столько же фальшивой сентиментальности. Другой вопросъ, всегда ли одинаково онъ служитъ ему; но всѣ задачи міросозерцанія выступили уже ярко въ доселѣ извѣстныхъ публикѣ произведеніяхъ Островскаго и выступаютъ скоро еще ярче въ новомъ его произведеніи, о которомъ, какъ не напечатанномъ еще, мы не имѣемъ права говорить, хотя оно послужило бы къ самому прямому разъясненію вопроса. Покаместъ, слѣдовательно, мы должны ограничиться міросозерцаніемъ, явнымъ для насъ въ „Своихъ людяхъ — сочтемся“, и въ особенности, чтобы не отдаляться отъ вопроса, міросозерцаніемъ „Бѣдной невѣсты“. Міросозерцаніе всякаго поэта особенно наглядно выступаетъ въ его отношеніи къ событію и положенію, взятымъ имъ для художественной

обработки, и въ отношеніи къ лицамъ, участвующимъ въ событіи, поставленнымъ въ извѣстное драматическое положеніе.

Всѣмъ нашимъ читателямъ извѣстна, безъ сомнѣнія, „Бѣдная невѣста“, и потому не для чего здѣсь излагать въ подробности ея содержаніе или канву событій, нечего также и доказывать, что главное, центральное, такъ сказать, драматическое положеніе, изъ котораго какъ изъ зерна выходятъ всѣ другія, — положеніе самой бѣдной невѣсты, Марьи Андреевны. Особенность міросозерцанія Островскаго въ отношеніи къ событію и положенію всего лучше и очевиднѣе можетъ быть доказана путемъ отрицательнымъ. Поэтому мы спросимъ, что увидѣли бы въ событіи и въ положеніи прежнія, весьма недавнія впрочемъ, школы, свирѣпствовавшія въ русской литературѣ, т.-е. школа фальшивой образованности и школа натуральная. Школа фальшивой образованности принялась бы за это положеніе съ своей обычной точки зрѣнія. Дѣло извѣстное:

Но вотъ среди толпы густой
Мелькаетъ быстро передъ вами
Ребенокъ робкій и нѣмой,
Съ большими грустными глазами.
Ребенокъ... Ей пятнадцать лѣтъ,
Но за собой она невольно
Влечетъ васъ... за нее вамъ больно
И страшно... Блѣдный, томный цвѣтъ
Лица, — печальный слѣдъ сомнѣній,
Тревожныхъ, раннихъ размышлений,
Тоски, неопытныхъ страстей,
И взглядъ внимательный — все въ ней
Вамъ говорить о *самовластной*
Душѣ... Ребенокъ бѣдный мой!
Ты будешь женщиной несчастной...
Но я не плачу надъ тобой...

Съ душевною болью выписываетъ авторъ статьи это, нѣкогда сильно на него дѣйствовавшее, лирическое мѣсто, но тѣмъ не менѣе *должны* представить его въ образецъ того фальшиваго міросозерцанія, съ которымъ самые талантливые люди литературной школы отнеслись бы къ положенію Марьи Андреевны. Характеръ они такъ же мало бы создали своимъ міросозерцаніемъ, какъ мало обозначенъ онъ въ пьесѣ Островскаго, даже несравненно меньше, но взглядъ былъ бы таковъ. Вслѣдствіе этого въ обстановкѣ явился бы не Меричъ, а господинъ, который былъ бы, пожалуй, и такъ же пустъ, но котораго пустоту оправдывалъ бы явно авторъ общими *язвами* современности; и Милашина не было бы, потому что въ Милашинѣ многимъ колеть глаза правда міросозерцанія автора, — и Хорьковъ вышелъ бы, пожалуй, и пьющимъ же съ горя человѣкомъ, но съ самыми грубыми и необразованными наклонностями, совершенно неспособнымъ понять деликатную и чистоплотную натуру Марьи Андреевны (*conditio sine qua non* — выставить чистоплотность, какъ рѣдкое качество), и мать Марьи

Андревны вышла бы не та, и отношеніе къ ней Марья Андреевны было бы не такое. Въ доказательство, что мы говоримъ не наугадъ, а на основаніи данныхъ прошедшаго, могли бы привести бездну повѣстей старыхъ годовъ; но всего лучше подтверждаетъ нашу мысль то, что критикъ этой школы именно хотѣлось, чтобы Марья Андреевна полюбила не Мерича, а *хорошаго* человѣка; потому, изволите видѣть, что въ такомъ случаѣ, она внушала бъ больше симпатіи. Бѣдная критика и не догадывалась въ своей наивности, что если бы комедія Островскаго писалась по ея теоріи, и вообще по заданной напередъ темѣ, то тотъ же самый Меричъ могъ бы быть выданъ авторомъ за весьма *хорошаго* человѣка, за одного изъ тѣхъ безчисленныхъ героевъ, по которымъ страдаютъ, сохнутъ, умираютъ злой чахоткой героини безчисленныхъ повѣстей и романовъ. Или вышла бы другая исторія: тотъ же Меричъ изображенъ былъ бы такъ карикатурно, какъ во многихъ же повѣстяхъ изображаются моншеры, не обладающіе великимъ искусствомъ одѣваться *comme il faut* и расчесывать волосы съ проборомъ назади, и метался бы въ глаза всѣмъ, даже упомянутой нами критикъ. Что касается добрѣйшаго Платона Марковича Добротворскаго, то онъ, какъ одно изъ орудій *гибели* Маріи Андреевны, явился бы такимъ карикатурнымъ звѣремъ, что Боже упаси. Вообще положеніе Марьи Андреевны было бы взято такъ, что она непременно погибла бы и задохлась окончательно въ самой пьесѣ среди грубой и грязной дѣйствительности, какъ погибаютъ разныя героини „превращеній“ и другихъ повѣстей въ этомъ родѣ: фактъ опять удобно доказываемый тѣмъ, что критикъ этой школы особенно не понравился психологическій выходъ натуры Марьи Андреевны въ пятомъ актѣ, совершенно излишнемъ, по ея мнѣнію.

Съ другой стороны, натуральная школа все участіе зрителя насильственно сосредоточила бы на лицѣ Платона Марковича, внушила бы ему глубокую, слезливую, бессознательную и въ особенности *приличную* старику страсть къ Марьѣ Андреевнѣ, — какъ Макару Алексѣевичу Дѣвушкину или Мошкину, и, подъ конецъ, выдала бы за него замужъ Марью Андреевну, съ разбитымъ, подразумѣвается, сердцемъ.

Ни того ни другого не сдѣлалъ Островскій: онъ не пощадилъ Мерича, не идеализировалъ Добротворскаго и избѣгъ даже еще крайности, въ которую не мудро впасть всякому, оскорбленному неправильнымъ отношеніемъ разныхъ школъ къ дѣйствительности, — не идеализировалъ самой дѣйствительности, обставляющей характеръ Марьи Андреевны; съ равнымъ разумнымъ участіемъ отнесся онъ и къ положенію своей героини, и къ положенію, напимѣръ, ея матери, и къ положенію Хорькова, и къ положенію Дуни, и т. д. Этимъ-то такъ и благородны, такъ широки и такъ новы его задачи, хотя и не во всѣхъ частяхъ выполнены равно удовлетворительно. Самая неудовлетворительность, и преимущественно техническая неудовлетворительность выполненія, произошла едва ли не оттого, что для автора

на первомъ планѣ стояли задачи. Имъ онъ пожертвовалъ драматизмомъ въ двухъ первыхъ актахъ, чтобы почти эпически-спокойными и какъ будто нѣсколько вяло тянущимися подробностями ввести насъ въ бытъ и отношенія изображаемаго имъ міра; имъ уступилъ онъ и въ нѣсколько лирически, а не драматически-патетической сценѣ пятаго акта между Меричемъ и Марьей Андреевной, въ ея обращеніи къ Меричу: „Поздно, Владимиръ Васильчъ, поздно...“ и т. д. Но такой недостатокъ, являясь дѣйствительно недостаткомъ на судъ строгой эстетической критики, заставляетъ какъ-то читателя искреннѣе сочувствовать произведенію, въ которомъ присутствіе субъективности автора не скрыло отъ другихъ тѣхъ задачъ, которыя ее самое тревожили.

Теперь взглянемъ нѣсколько на отношеніе художника къ выведеннымъ имъ лицамъ. Лицо Марьи Андреевны подверглось нареканіямъ за отсутствіе въ немъ характера. Мы сами соглашаемся отчасти, что Марья Андреевна скорѣе положеніе, чѣмъ лицо, но вмѣстѣ съ этимъ, не можемъ не высказать своего задушевнаго мнѣнія, что при такой молодости лѣтъ, ей еще нельзя было выработать опредѣленной личности, а при окружающей ее обстановкѣ — и неоткуда было взять элементовъ для опредѣленія личности: Марья Андреевна представляетъ собой общій процессъ женскаго сердца, въ ту эпоху, когда женщина вся состоитъ только изъ побужденій и неопредѣленныхъ стремленій, — а что у ней есть натура, изъ которой, какъ будетъ она постарше, выработается настоящая, славная женская личность, такъ это показываетъ много, — между прочимъ ея жажда искренней любви, ея благородное сознаніе собственнаго достоинства, ея честный взглядъ на вещи... Кромѣ того, мы видимъ въ ней не мечтательницу, не резонерку, не одно изъ тѣхъ неминуемо *гибнущихъ* въ дѣйствительности, по представленію нашихъ романистовъ и драматурговъ, существъ, которыхъ всѣ достоинства существуютъ только въ воображеніи ихъ сочинителей. Марья Андреевна, хоть она не вполне еще сложилась нравственно, даже, пожалуй, вовсе не сложилась, — натура живучая, способная понять правду жизни, смыслъ ея и настоящее дѣло, не вооружающаяся даже на окружающую ее сферу, ибо сама она, со всѣми страстными задатками ея организациі, все-таки продуктъ этой жизненной сферы. Милашина *возмущаетъ* Добротворскій, — ее не возмущаетъ; она видитъ въ немъ добраго человѣка даже въ ту минуту, когда ей крайне несносны заботы о скорѣйшемъ устройствѣ ея участи. Меричу отдалась она со всею непосредственностью и свѣжестью души, — но и тутъ она отрѣшается отъ настоящей жизни — она даже *безтокуитъ* этого господина тѣмъ, что старается завести съ нимъ рѣчь о близкихъ къ дѣлу интересахъ. Но, съ другой стороны, не одни впечатлѣнія окружающей сферы быта дѣйствовали на ея страстную и воспріимчивую натуру: внутренній міръ ея созданъ подъ вліяніемъ впечатлѣній другой сферы, подъ вліяніемъ чтенія, подъ вліяніемъ идей, которыя живутъ въ воздухѣ и какъ воздухъ проходятъ въ какой бы то ни было замкнутый и особый мірокъ. Этимъ можно оправдать даже ея мѣстамп

книжную рѣчь. Что касается, наконецъ, до психологическаго выхода ея характера, то этотъ выходъ могъ показаться насильственнымъ только развѣ той критикѣ, о которой мы уже говорили. Очевидно всякому, что словами: „я хочу жить, я имѣю право на счастье...“ авторъ не хотѣлъ ни поднять свою героиню на ходули ни навязать своей комедіи ложное или пошлое примиреніе, а только хотѣлъ быть вѣрнымъ передавателемъ душевнаго процесса такихъ натуръ, какъ натура Марьи Андреевны, — натуръ, не скоро впадающихъ въ апатію разочарованія, добивающихся отъ жизни — правды. Очевидно также и то, что авторъ не дѣлитъ съ своей Марьей Андреевной надеждъ на моральное возвышеніе Максима Дороеевича Беневоленскаго, — очевидно по его же указаніямъ, по всему слѣдующему за сценою V акта Марья Андреевны съ Меричемъ до конца комедіи, что разобьются въ прахъ такія надежды, хотя подлежатъ большому сомнѣнію, чтобы разбились или обмельчала натура его героини.

Дѣйствительность, окружающая Марью Андреевну, — матеріально очень бѣдная, а нравственно весьма недалекая. На ознакомленіе насъ съ этой обстановкою Островскій употребилъ, какъ мы уже замѣтили, не драматическія, а эпическія средства: много лишнихъ подробностей, которыя сами по себѣ прекрасны, взятыя отдѣльно, но ходу драмы не содѣйствуютъ, — вошло сюда. Зато мы знаемъ хорошо Анну Петровну, знаемъ Дарью, знаемъ Хорькову, знаемъ Добротворскаго, — знаемъ, однимъ словомъ, этотъ особенный, совершенно московскій, даже замоскворѣцкій міръ мелкаго чиновничества, изображенный безъ малѣйшей злобы и задней мысли. Нельзя не остановиться съ удовольствіемъ на отношеніи автора къ матери Марьи Андреевны, съ одной стороны, и на отношеніи его къ матери Хорькова — съ другой; принимая самое сильное участіе въ своей героинѣ, авторъ однако ничѣмъ не пожертвовалъ этому участію. Вы, напримѣръ, негодуете на Милашина, пристающаго къ Марьѣ Андреевнѣ съ пошлымъ и приторнымъ участіемъ въ тяжкую и рѣшительную минуту ея жизни, но ни разу не негодуете на Анну Петровну даже тогда, когда она попрекаетъ дочь въ неблагодарности, когда она настоятельно требуетъ чтобы та шла замужъ за Беневоленскаго; жаль вамъ Марьи Андреевны, да что жъ и старухѣ-то дѣлать? Женщина она слабая, сырая; кромѣ того, что ей втемяшилась въ голову idea fixe: какъ это безъ мужчины въ домѣ? — и домъ-то еще у нея оттягиваютъ. Недалека она — это точно, что недалеко, да вѣдь она любитъ свою Машеньку; вѣдь въ концѣ она сама чувствуетъ, что что-то неладно: „Признаться сказать, скоренько дѣло-то сдѣлали; кто его знаетъ, въ него не влѣзешь“. Однимъ словомъ, нѣтъ возможности сердиться читателю на бѣдную старуху, когда ни авторъ ни сама Марья Андреевна на нее не сердятся.

Подъ пару къ этому глуповато-доброму существу старикъ Платонъ Марковичъ Добротворскій — лицо вполне живое и типическое, къ которому опять авторъ отнесся необыкновенно правильно и чело-

вѣчно. Это ничего, что онъ поцѣлуешь въ рукавъ Максима Дороеевича Беневоленскаго; это ничего, что онъ добродушно замѣтитъ, говоря о лошаdkѣ Максима Дороеевича: „Ахъ проказникъ вы, проказникъ, Максимъ Дороеевичъ! Да вѣдь, чай, не купленная“ — абсолютныхъ понятій о честности вы отъ него и не требуйте, — но вѣдь онъ трогательно привязанъ къ семьѣ своего благодѣтеля; онъ бѣгаетъ по всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ, отыскивая жениха Машѣ; онъ скажетъ ей отъ души, по своему разумѣнiю, доброе слово („Свистуны вѣдь они, матушка, никакой основательности нѣтъ. Не вѣрьте вы имъ. Нынче любятъ, а завтра разлюбятъ“). Онъ прежде всего заботится о тишинѣ и мирѣ, — но между тѣмъ когда дѣло идетъ объ участи Маши, которая устроилась, по его мнѣнiю, благополучно, онъ даже Беневоленскому, къ которому относится съ уваженiемъ и съ нѣкоторою лестiю, скажетъ основательно, боясь за старья его шапки: „Что жъ вы, отецъ мой, у меня съ Марьей-то Андреевнoй дѣлаете? Вы этакъ у меня ее уморите, сердечную... А ужъ вы, батюшка, эти глупости-то оставьте“. Добрый, добрый старикъ, хотъ и не далеко онъ видитъ. Онъ совершенно подъ пару Аннѣ Петровнѣ, и правъ былъ авторъ, что къ нимъ обоимъ отнесся такъ человѣчно.

Иное отношенiе къ матери Хорькова, тоже мастерски задуманному и мастерски выполненному лицу. Тутъ же авторъ видимо относится со смѣхомъ къ претензiямъ полуобразованности — читателю больно за бѣднаго Хорькова въ сценѣ его объясненiя съ Марьей Андреевнoй, гдѣ Хорькова его, такъ сказать, подучиваетъ; еще яснѣе обозначается для васъ эта женщина въ третьемъ актѣ, когда она съ такимъ явнымъ злорадствомъ приходитъ къ матери Марьи Андреевны, чтобы вылить на бѣдную дѣвушку лужу сплетенъ. Вамъ очевидно, что она вломилась въ амбицiю — и что если такая женщина вломится въ амбицiю, такъ тутъ только держись. Вамъ ясно, каково должно было быть ее влiянiе на натуру сына, и какiе слѣды на его душѣ должно было оставить это влiянiе.

Самъ Хорьковъ — опять скорѣе положенiе, чѣмъ лицо, точно такъ же, какъ и Марья Андреевна, — положенiе, слишкомъ великодушно брошенное авторомъ въ драму, когда оно само могло послужить предметомъ драмы, но положенiе, котораго наиболѣе яркiя стороны набросаны кистью мастера. Какъ ни неудовлетворительно впечатлѣнiе, получаемое отъ малоразвитыхъ его отношенiй къ матери и къ Марьѣ Андреевнѣ, по все-таки эта „любовь изъ-за угла“, — удѣлъ натуръ слишкомъ сосредоточенныхъ и сначала запуганныхъ, потомъ попорченныхъ средою жизни, — трагическая безвыходность его положенiя, постоянное недовольство собою и страстное разрѣшенiе невыносимаго душевнаго состоянiя запоемъ, показываютъ, какъ широка была задача поэта въ созданiи его положенiя. Повторяемъ опять, это положенiе брошено только слишкомъ великодушно, вѣроятно, отъ избытка силъ таланта. Въ сценическомъ выполненiи

„Бѣдной невѣсты“ при искусной и теплой игрѣ актера, который возьметъ на себя роль Хорькова, положеніе можетъ уясниться, до-сказаться и произведетъ эффектъ поразительный. Замѣтимъ между прочимъ, что одинъ изъ критиковъ „Бѣдной невѣсты“ поставилъ Хорькову въ вину предложеніе Милашину *перехваченныхъ* писемъ *счастливаго своего соперника*. Зачѣмъ колоть Хорькову глаза счастливымъ соперникомъ, — возразилъ на это въ свое время одинъ изъ насъ, рецензентовъ „Москвитянина“, — когда онъ не оказалъ къ нему ни ревности ни зависти, когда онъ сразу оставилъ всѣ свои надежды и, забывши о себѣ, заботился только о судьбѣ Марьи Андреевны? Вѣдь онъ не о себѣ хлопоталъ, изъ комедіи это ясно; за что же критикъ наводитъ сомнѣніе на его честность? Что это за условный взглядъ на поведеніе? Дѣвушка гибнетъ, опутанная сѣтями подлаго человѣка, и ей нельзя подать помощи! Неужели же Хорькову, который знаетъ цѣну Меричу, въ подобномъ случаѣ оглядываться съ сомнѣніемъ на свой поступокъ? Ему и въ голову не могло прийти, что онъ дѣлаетъ дурно; онъ слишкомъ сильно любилъ Марью Андреевну и слишкомъ мало любилъ себя.

Что касается до лица Беневоленскаго, то созданное совершенно цѣльно и притомъ заразъ, всей натурой, вылитое, онъ не требуетъ разъясненія отношенія къ себѣ автора. Тутъ нельзя даже указать на какія-либо особенныя черты — все тутъ типично, отъ желанія пріобрѣсть образованную жену и виѣсть пріобрѣсти органчикъ для обученія канареекъ до пріобрѣтенія хорошей вещицы отъ нечаянно *набѣжавшаго* хорошаго человѣка и до разсказа о представленіи Роберта, въ которое, *загулявши*, не попалъ Максимъ Дорооеичъ: отъ возраженія на желаніе Анны Петровны, чтобы мужчина былъ непьющій: „Конечно... а знаете ли, сударыня, я вамъ осмѣлюсь сказать, что въ мужчинѣ даже и это ничего. Какъ ты думаешь, Платонъ Марковичъ, объ этомъ“? — до зарокъ не пить, даннаго передъ свадьбой, при чѣмъ читатель остается убѣжденъ, что такой зарокъ данъ только до послѣ-свадьбы, а всего скорѣе только до первой вѣрной оказіи. Особенно же хорошъ и просится въ картину Максимъ Дорооеичъ, когда самодовольно деретъ себя за хохолъ, одѣтый женихомъ и стоя передъ зеркаломъ. А между тѣмъ, личность Беневоленскаго была бы все-таки неполна безъ Дуни. Несмотря на всю краткость двухъ сценъ, въ которыхъ она является — къ ея личности нельзя прибавить ни одной черты, вся жизнь ея передъ вами, какъ на ладони... Напоминать черты Дуни, значить, выписывать всѣ ея слова, всю сцену ея съ Беневоленскимъ, а равно и первую сцену съ Пашею, или по даннымъ, заключающимся въ этихъ сценахъ, писать исторію этой женщины... Есть слова у Дуни въ высшей степени патетическія: „А все-таки, Паша... ты то возьми, лѣтъ пять жили... вѣдь жаяко... Конечно, немного я отъ него добраго видѣла... больше слезъ, одного сраму что перенесла. Такъ, ни за что прошла молодость и помянуть нечѣмъ“. Или ея обращеніе къ Беневоленскому: „Смотри жъ, живи

хорошенько... Эта вѣдь тебѣ навѣкъ, не то что я... Ну, прощай, не поминай лихомъ, — добромъ нечѣмъ. Что это я какъ дура расплакалась, въ самомъ дѣлѣ? О! махнемъ рукой, Паша, завьемъ горе веревочкой!" Всякій, кто и не знаетъ этого типа женщинъ, почувствуетъ невольно, что это все такъ именно должно сказаться, равно какъ и „адые, мусье“, брошенное на прощанье въ порывѣ какой-то размашистой удали завитаго веревочкой горя, равно какъ и то, что Дуня, издѣваясь, пугаетъ Беневоленскаго прежде: „а хочешь, сейчасъ дебошъ сдѣлаю“, все, все, такъ, отъ ясныхъ намековъ на ея жизнь, когда Беневоленскій прѣвзжалъ къ ней „пьяный да безолаберный — такъ какъ обѣснующій какой“, до ея ироническаго тона при встрѣчѣ съ нимъ и своего рода благородства въ словахъ: „Ты смотри, не загуби чужого вѣку даромъ. Грѣхъ тебѣ будетъ. Остепенись, да живи хорошенько“...

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о Меричѣ и Милашинѣ... Что къ Меричу, а равно и къ Милашину отнесся авторъ въ высшей степени правильно, это ясно изъ того даже, что критика известной школы до сихъ поръ сердится на него за эти лица. Что съ другой стороны, Меричъ и Милашинъ — превосходны только какъ задачи, что они не вызрѣли достаточно въ душѣ художника, это также ясно. Но общій психологическій процессъ такихъ натуръ, какъ натура Мерича и Милашина, представленъ до того осязательно, что вы, принимая участіе въ судьбѣ Марьи Андреевны, негодуете на того и другого и презираете ихъ. Можетъ быть, только двухъ-трехъ штриховъ рѣзца неоставало для довершенія этихъ фигуръ. Въ отношеніи того и другого къ Марьѣ Андреевнѣ слишкомъ явно, что они существуютъ только ради нея въ комедіи, что авторъ увлекался преимущественно драматизмомъ положенія и сосредоточилъ все на немъ, оставивши многое недосказаннымъ.

Но и того, что выполнено въ „Бѣдной невѣстѣ“, достаточно, чтобы она была замѣчательнымъ произведеніемъ во всякой литературѣ, а задачи ея такъ широки, благородны и новы, что, безъ сомнѣнія, поставятъ автора во главѣ современнаго литературнаго движенія.

Григорьевъ.

Персонажи „Бѣдной невѣсты“.

„Бѣдная невѣста“ приходилась родною сестрою первой комедіи Островскаго, принадлежала — такъ же какъ и „Свои люди — сочтемся“ — къ числу первоклассныхъ и образцовыхъ явленій въ русской словесности. Новая комедія была не такъ сценична, какъ первая; предметъ ея не приходился по плечу каждому читателю, но она имѣла высокое литературное значеніе и должна была навсегда сдѣлаться любимой пьесой для людей съ развитымъ вкусомъ. Мы знаемъ не одного безпристрастнаго знатока, предпочитающаго вторую комедію

Островскаго первой, — и сами отчасти раздѣляемъ это мнѣніе. Одна подарить намъ минуты наслажденія на театральныхъ подмосткахъ, — другая очаруетъ и увлечетъ читателя въ тиши кабинета. Одна поразитъ мастерствомъ хода и леденящею силою катастрофы, — другая наведетъ на глубокіе вопросы жизни и заставитъ сердце наше облиться кровью. Одна удовлетворитъ всякую театральную публику, при исполненіи отчетливомъ, но самымъ обыкновенномъ, — другая можетъ быть понята массою лишь тогда, когда для главной роли отыщется гениальная артистка со всѣмъ обаяніемъ молодости, красоты и душевнаго благородства. Несмотря на то, что красоты „Бѣдной невѣсты“ менѣе доступны массѣ, нежели красоты комедіи „Свои люди — сочтемся“, ея содержаніе ближе къ общей жизни, ея лица типичнѣе. Въ созданіи дѣйствующихъ лицъ, какъ типовъ, виденъ успѣхъ автора и несомнѣнное движеніе впередъ. Для многихъ читателей семейство Большова съ его обстановкой — гости, любопытныя явленія, лица разнаго ему круга; но въ „Бѣдной невѣстѣ“ почти все персонажи — всѣмъ намъ сестры и братья. Частицъ нашего собственнаго я въ нихъ гораздо больше. Въ Аннѣ Петровнѣ, бѣдной чиновницѣ, можетъ узнать себя первѣйшая аристократка, когда-либо выдававшая дочь по расчету; тысячи изящныхъ и даже нравственно недурныхъ молодыхъ людей отыщутъ родственныя струны въ Меричѣ и Милашинѣ; Беневоленскій живетъ и ходитъ между нами, — только не въ вицъ-мундирѣ со свѣтлыми пуговицами, но иногда въ купеческомъ нарядѣ или въ синемъ кафтанѣ богатаго кулака-крестьянина. Нѣчто подобное можно сказать и о самыхъ второстепенныхъ лицахъ, о Дунѣ, о Дарьѣ, о гостяхъ и зрителяхъ на свадьбѣ — въ этомъ страшномъ и поэтическомъ пятомъ актѣ, гдѣ авторъ поднялся на небывалую высоту творчества, смѣшавъ въ одно потрясающее цѣлое самыя простые элементы московской жизни: свадьбу съ угощеніемъ, слезы невѣсты, простодушное довольство людей, ея загубившихъ, горькія шутки покинутой любовницы, комическую болтовню зрителей и перебранки салонницъ между собою. Говоримъ смѣло — человѣкъ, который, послѣ серьезнаго чтенія этого пятаго акта, не увидитъ въ немъ истинно вдохновенной *гармоніи творчества*, лучше сдѣлаетъ, если обратится къ изученію современной политики или наукъ точныхъ: съ поэзіей ему дѣлать нечего.

Что же сказать о главномъ лицѣ комедіи, — о дѣвушкѣ, вокругъ которой сплетаются всѣ нити мастерски задуманной интриги? Марья Андреевна, бѣдная невѣста чиновника Беневоленскаго, есть истинное поэтическое созданіе и по личности своей, и еще болѣе по своему значенію. Это лицо, повторяемъ мы, только тогда будетъ понятно вполне, когда на русской сценѣ явится гениальная артистка для выполнения роли Маріи Андреевны. Собственно какъ дѣвушка, бѣдная невѣста не имѣетъ въ себѣ ничего особеннаго геройскаго или обворожительнаго: это юное, счастливо одаренное и чистое душою созданіе, какихъ въ свѣтѣ бываетъ не мало. Главную прелесть полу-

часть она отъ положенія, въ которое поставлена, и самое положеніе это до чрезвычайности просто, безъ него даже, до нѣкоторой степени, не обходится ни одно дѣвическое существованіе. Стѣсненныя дѣла семейства, глупая мать, въ которой эгоизмъ, любовь, безтолковость и слезливость перепутаны въ какую-то неразрывную сѣтку, красивый и пустоголовый мальчикъ, въ первый разъ заставившій заговорить молодое сердце, женихъ-взяточникъ... во всемъ этомъ немного новаго. Новаго въ положеніи — одна глубина и правда. Милліоны несчастныхъ замужествъ питаютъ собою романистовъ и драматурговъ, отъ Ричардсона до Дюма-сына, отъ Прудона до Дебри и Виктора Сежура, отчего же вся тема до сей поры не опошлилась окончательно? Оттого, что глубина и правда въ обработкѣ даннаго содержанія тѣмъ необходимымъ, чѣмъ самое содержаніе вседневнѣе. Не одна рутинна вредитъ дѣлу, — иногда ему вредитъ экзальтація и горячность. Наши Жоржъ-Санды мужского и женскаго пола, всѣхъ возрастовъ и званій, отъ старыхъ дѣвъ до старыхъ Тирсисовъ, пытались произнести благонамѣренныя протесты противъ разныхъ печальныхъ положеній въ жизни женщины, но какой изъ протестовъ этихъ стоитъ созданіе „Бѣдной невѣсты“ и простого драматическаго изложенія ея участи?

Женщинамъ, у которыхъ умъ хорошо развитъ и сердце понятно, мы совѣтуемъ перечестъ „Бѣдную невѣсту“ гдѣ-нибудь въ тишинѣ, съ должнымъ вниманіемъ. Онѣ оцѣнятъ поэта и возблагодарятъ его отъ души. Много знакомаго найдутъ онѣ на страницахъ его комедіи, найдется столько горькихъ слезъ и сердце разрывающихъ воспоминаній. Можетъ-быть, онѣ поймутъ и оцѣнятъ не одну Марью Андреевну, можетъ-быть, онѣ задумаются надъ покинутою Дуняшею...

Дружининъ.

Чтеніе комедіи „Бѣдная невѣста“ на раутѣ.

Въ 1851 году, въ „Москвитянинѣ“ не было напечатано ни одного художественнаго призведенія А. Н. Островскаго. Въ это время онъ писалъ свою знаменитую комедію „Бѣдная невѣста“, о которой говорилъ Погодину: „Я хотѣлъ показать только всѣ отношенія, вытекающія изъ характеровъ двухъ лицъ, изображенныхъ мною; а такъ какъ въ моемъ намѣреніи не было писать комедію, то я и представилъ ихъ голо, почти безъ обстановки (отчего и назвалъ этюдомъ). Если принять въ соображеніе существующую критику, то я поступилъ неосторожно: какъ вещь очень тонкую, имъ не понять ея, и они возьмутъ ее со стороны формы, принимая въ основаніе тѣ шаткія и условныя положенія, которыя выработались при нынѣшнемъ литературномъ развратѣ во французской и петербургской литературѣ. Не говорю уже о литературныхъ журналахъ“.

Творческая работа мѣшала Островскому заниматься въ „Москвитянинѣ“ такими предметами, которые не соответствовали его призва-

нію. „Писать мнѣ, — сознается онъ Погодину, — какія-либо другія вещи для „Москвитянина“, кромѣ художественныхъ, очень тяжело, вслѣдствіе разныхъ сплетней, которыя помаленьку отодвигаютъ насъ отъ васъ“.

Несмотря на это, Островскій до времени не прерывалъ своихъ сношеній съ Погодинымъ и на требованіе послѣдняго, чтобы онъ печаталъ свои произведенія только въ „Москвитянинѣ“, отвѣчалъ: „Пьесъ обѣщанныхъ вы напечатали много: Плавтова комедія готова, и печатайте ее хоть сейчасъ; „Бѣдная невѣста“ была готова еще лѣтомъ; „Сцены изъ русской жизни“ я уже началъ; только „Александра Македонскаго“ вамъ придется подождать. Вы знаете, въ какое положеніе я былъ поставленъ въ началѣ нынѣшняго лѣта критиками, и потому мнѣ хочется выступить съ чѣмъ-нибудь важнымъ, совершенно долѣланнымъ. Мелкія вещи я боюсь пускать. „Бѣдную невѣсту“ я вамъ доставлю скоро и двѣ или три сцены изъ русскаго быта. А впрочемъ, все-таки надобно поговорить лично, потому что, какъ я вижу, дѣла начинаютъ запутываться“.

Хотя комедія Островскаго „Бѣдная невѣста“ и была окончена, но онъ боялся выпускать ее въ свѣтъ. „Комедія моя позамѣшкалась“, писалъ онъ Погодину, „потому что я слышалъ комедію Писемскаго и нашелъ нужнымъ свою подкрасить нѣсколько, чтобы не красить за нее. Меня мучаетъ переписка ея, я ужасно боюсь глаза потерять. Я на-дняхъ привезу ее къ вамъ почитать, и потолкуемъ объ ней“. Отрывокъ изъ „Бѣдной невѣсты“ Островскій, впрочемъ, рѣшилъ напечатать въ „Раутѣ“ Сушкова. Напечатанный отрывокъ, по замѣчанію М. А. Дмитриева, „отличается живостью и комизмомъ языка: качества, всегда придающія большое достоинство всякой комедіи“.

Наконецъ, въ декабрѣ того же 1851 года, на Ростовчинской субботѣ Островскій рѣшилъ прочесть свою „Бѣдную невѣсту“ и произвелъ ею на слушателей въ томъ числѣ и на Шевырева, сильное впечатлѣніе. Шевыревъ подѣлился своими впечатлѣніями съ Погодинымъ: „Я къ тебѣ самъ хотѣлъ писать о томъ пріятномъ впечатлѣніи, которое произвела на меня новая комедія Островскаго. Я радъ за него и его дарованіе; это произведеніе разсвѣтъ всѣхъ нелѣпыхъ слухи, которые были на его счетъ. Мнѣ кажется, многіе характеры здѣсь схвачены глубже изъ жизни, и пріятно видѣть то, что авторъ идетъ впередъ и въ пониманіи жизни и искусства. Это не то, что раки западные: прогрессъ на языкѣ, а попятные шаги на дѣлѣ“. Точно такъ же и графиня Ростовчина писала: „Бѣдная невѣста“ — картинка и этуодъ самага нѣжно-отчетливаго фламандскаго рода: она произвела на меня такое же впечатлѣніе, какъ нѣкогда прелестная повѣсть Сентъ-Бева — „Кристенъ“, въ „Revue des deux Mondes“. Характеры просты, обыкновенны даже, но представлены и выдержаны мастерски; *дваушка* мила и трогательна до крайности, но, можетъ-быть, не вдругъ и не всѣ поймутъ это произведеніе, которое, впрочемъ, займетъ свое мѣсто. У Островскаго комизмъ граничитъ всегда съ драматическимъ

элементомъ, а смѣхъ переходитъ въ слезы: хоть тяжело, но не оставляетъ озлобленья“...

Когда слухъ объ успѣхѣ Островскаго достигъ Костромы, то Писемскій, въ самый день Рождества 1851 года, писалъ Погодину: „Сейчасъ получилъ письмо отъ Островскаго... Радуюсь его успѣху и заочно восклицаю: Ура!!! Выдирай наши!!!“ *Барсуковъ.*

Содержаніе „Грозы“.

Въ дрянномъ затхломи, уѣздномъ городишкѣ, въ которомъ должны быть хорошіе лабазы и „нарочитая“ торговля крупчаткой, въ городкѣ, въ которомъ начальническою милостью править безапелляціонно какой-нибудь городничій, въ которомъ (городкѣ) есть достаточное число храмовъ Божіихъ, и дома обывателей выстроены прочно, съ крѣпкими воротами, какъ у раскольниковъ, и болѣе крѣпкими засовами; въ городкѣ, въ которомъ люди умѣютъ богатѣть, въ которомъ непременно должна быть одна большая, грязная улица и на ней нѣчто въ родѣ гостиннаго двора, и почетные купцы, о которыхъ Тургеневъ сказалъ, что они „трутся обыкновенно около своихъ лавокъ и притворяются будто торгуютъ“, — въ этакомъ-то городкѣ, какихъ мы съ вами видали много, а проѣзжали, не выдавъ, еще болѣе, произошла та трогательная драма, которая насъ такъ поразила. Мы забыли сказать, что это городокъ приволжскій, опоясанный, какъ лентой, этой торговой, широкой рѣкой. Въ это благополучное мѣсто присылается изъ Москвы молодой человекъ въ приказчики ко вдовцу-дядѣ, торгующему хлѣбомъ (Дикой). Вдовца видѣли мы на сценѣ постоянно пьянымъ, и потому ничего не говоримъ о немъ. Жить въ этомъ городѣ такъ пріятно, что одинъ молодой супругъ (Кабановъ), силою материнской власти, обвинянный съ неизвѣстною ему, но прекрасною дѣвушкою, надрывается отъ тоски и норовитъ, какъ бы найти случай уѣхать въ Москву, гдѣ есть и заведенія, и органы, и трактиры, съ утра до вечера набитые молодыми туго завитыми и сильно напомаженными купеческими головами — тамъ и для молодого купца обѣтованный край. Жена Кабанова — главное дѣйствующее лицо драмы — молодая женщина, взятая изъ бѣднаго семейства и подведенная подъ материнское начало семейной жизни и всѣ ея послѣдствія — какъ-то: отсутствіе собственной воли, отсутствіе собственнаго уголка, собственной копейки, право имѣть собственный умъ и собственное чувство — эта молодая женщина въ полгода пріобрѣтаетъ грустную склонность измѣрять, глубока ли Волга. Таковы удовольствія въ хлѣбородномъ губернскомъ городкѣ N. Естественное послѣдствіе, естественное до осязаемости по ходу пьесы — то, что молодая женщина, долго таившая въ себѣ божественную искру, попираемую и ногами строгой свекрови, и суровыми обычаями городскими, и непривѣтливость мѣщанокъ, утоляющихъ незримую жажду жизни весьма практически — что она не выдерживаетъ и чувствуетъ

потребность любить. Чудный рассказъ ея о томъ, что грезилось и видѣлось ей, воспитанной старинными сказками и религіозными легендами странницъ, когда сердце ея требовало новой жизни, сначала до конца половъ истинной русской поэзіи. Она влюбляется въ молодого человѣка, присланнаго изъ Москвы (племянника Дикого). Нѣтъ ничего мудренаго, что и молодой человѣкъ чувствуетъ то же въ отношеніи къ ней. Когда они стали въ такое положеніе, божественная искра, которая живетъ въ душѣ каждаго, въ комъ есть силы и жажда лучшаго, эта искра, какъ молнія, вдругъ освѣтила всю настоящую и ожидающую молодыхъ людей жизнь въ хлѣбородномъ, строго-нравственномъ городкѣ N. Этотъ трепѣтъ новой жизни, это познаніе красоты, прежде недоступной, вдругъ освѣщаетъ истиннымъ свѣтомъ всю картину, всю жизнь и всю натуру русскаго человѣка, которая не можетъ больше вынести наложенныхъ на нее путъ и разрываетъ ихъ. Куда дѣвались строгіе, старинные совѣты матери? куда пропала богобоязненность городка, которую никто не смѣетъ обойти? куда исчезла вѣра супружеская?... Все это спрашиваетъ сама у себя молодая женщина, и съ ужасомъ не находитъ отвѣта. Все ей кажется не такъ, какъ должно быть: и замужемъ-то она не такъ, какъ бы слѣдовало, и мать говоритъ по-книжному, сухо, и не понимаетъ живой души; и мужъ-то не можетъ быть поддержкой ей, потому что не понимаетъ ни ея тоски ни ея жажды. Все прахомъ разлетѣлось передъ молодой женщиной, и осталась она одна въ богоспасаемомъ городкѣ, съ своею любовью, съ своимъ сердцемъ, которое требуетъ отвѣта, и которое не научили ничему и лишили всего. И въ это время инстинктъ природы, заглушенный всѣми возможными средствами, вступаетъ въ права свои. Природа такъ хороша на привольномъ волжскомъ берегу, луна такъ мягко свѣтитъ въ оврагѣ, за садомъ; ключъ отъ калитки готовъ у сестры Вари, которая давно знакома съ прелестью ночныхъ свиданій — и вотъ молодая женщина, сама не зная, что съ нею дѣлается, сходитъ въ этотъ оврагъ на свиданіе, и на берегу Волги, въ жаркихъ и запрещенныхъ ноцѣлуяхъ молодого человѣка ищетъ отвѣта на вопросы, которыхъ не могли ей разрѣшить ни старуха-свекровь, ни чинный хлѣбородный городокъ, ни мужъ, ни древнія писанія на стѣнахъ византійскаго зданія. За увлеченіемъ начинается раскаяніе. Силой вѣковой встаютъ передъ молодой женщиной и угрызенія совѣсти, и обманутый мужъ, и страхъ свекрови, и стыдъ передъ городкомъ, и древнія писанія въ старинныхъ книгахъ... Не устояла бѣдная женщина, да и гдѣ ей найти опору? Созналась въ винѣ передъ мужемъ и Богомъ, покаялась. Но сердцу отъ этого не легче, и когда молодого человѣка услали въ далекую Сибирь по дѣламъ — невыносимымъ показался ей городокъ, и она бросилась въ Волгу. Вотъ неудачно рассказанный нами скелетъ превосходной драмы. Нѣтъ поученія въ немъ, не доказывается истинъ новыхъ; но въ немъ все ново. Нова смѣлость постановки окружающихъ лицъ; нова обрисовка городка; нова драма, вышедшая изъ крѣпко поставленныхъ главныхъ основъ жизни. Въ этой страсти, въ этой

драмѣ, разыгравшейся въ душѣ молодой, неопытной и слѣпо вѣрившей преданіямъ женщины — вся красота, вся правда. На самой безплодной, казалось бы, для поэзіи почвѣ выросла самая прекрасная сторона души человѣческой; мизернѣйшій изъ мизерныхъ городковъ русскихъ, въ которомъ мы съ вами не искали ничего, кромѣ плохихъ баранокъ и загнанныхъ почтовыхъ лошадей, нашли мы городокъ полнымъ жизни и страсти; на сухой почвѣ старинныхъ преданій, изъѣденныхъ формалистикой, мы нашли полные жизни побѣги и чувства и страсти.

Дудышкинъ.

Художественный колоритъ „Грозы“.

Авторъ преимущественно посвятилъ свой талантъ драматическому роду поэзіи. Онъ особенно замѣчателенъ такъ называемыми типическими лицами. Изучивъ бытъ русскаго купеческаго сословія, онъ постоянно выводитъ изъ него на сцену характеры, разнообразя свои сочиненія богатствомъ красокъ жизни и самыми вѣрными чертами домашняго быта.

Въ новой своей драмѣ онъ расширилъ сферу для дѣятельности таланта своего. Не семья одна съ обычными видоизмѣненіями лицъ и характеровъ ихъ составляетъ предметъ изученія поэта: ему захотѣлось воспользоваться, въ нѣкоторомъ отношеніи, общественною жизнью маленькаго русскаго городка, прекраснымъ его мѣстоположеніемъ на берегу Волги, особенностями полусельскихъ и полугородскихъ обычаевъ нашихъ, столкновеніями еще замѣтно господствующаго невѣжества и уже, хотя случайно, проглядывающей образованности. На такомъ основаніи, которое, во-первыхъ, крѣпко, потому что авторъ всегда описываетъ только то, что онъ дѣйствительно изучилъ, а во-вторыхъ, которое богато просторомъ, раздвинувшись на всю пестроту мѣстной жизни, — на такомъ основаніи Островскій постановилъ пяти-актную драму. Главный интересъ сосредоточенъ на существѣ, по характеру, по воображенію и по сердцу самомъ поэтическомъ. Богатая купчиха, вдова, женщина грубая и самовластная, тяготѣетъ надъ своимъ семействомъ, какъ нестерпимое ярмо. Подъ деспотическою властью свекрови изнываетъ, ни откуда не видя ни утѣшенія ни защиты, молодая женщина, которой мужъ, въ безвыходномъ своемъ загонѣ и ничтожествѣ, только и услаждается, исподтишка предаваясь пьянству, а сестра его, лукавая со всѣми, никого не любитъ и всѣхъ обманываетъ. Надъ жертвою несчастнаго брака воображеніе автора умѣло совокупить черты привлекательныя и трогательныя, изъ которыхъ въ сущности своей ни одна не отходитъ отъ русскаго типа молоденькой несчастливцы въ ея убійственномъ положеніи. Въ домашнемъ быту она дѣтски покорна безжалостной свекрови своей, хотя и чувствуетъ всю несправедливость грубаго ея съ нею обхожденія. Въ мужѣ своемъ она не смѣетъ презирать даже пороковъ его, покоряясь судьбѣ своей, какъ назначеніе свыше. Сестру его она и не подозреваетъ ни въ какомъ дурномъ умыслѣ, чувствуя, что и надъ нею лежитъ тяжесть ихъ общей притѣснительницы.

Но въ тѣ мгновенія, когда мысль ея возвращается къ жизни прошлой, къ невиннымъ забавамъ ея дѣтства, къ тому счастью, которыми ее окружала мать, и ко всѣмъ предметамъ, занимавшимъ ее до замужества, эта самая женщина представляется въ другомъ образѣ, оживленная, полная прелести ощущеній чистыхъ, не фантастическихъ, но послѣдовательно сопровождающихъ простую, мирную жизнь счастливой дѣвушки въ благочестивомъ и безбѣдномъ домѣ добрыхъ родителей, сохранившихъ прародительскіе нравы. Обо всемъ этомъ она рассказываетъ такъ: „Встану я, бывало, рано; коли лѣтомъ, такъ схожу на ключикъ, умоюсь, принесу съ собою водицы, и всѣ, всѣ цвѣты въ домѣ полью. У меня цвѣтовъ было много, много. Потомъ пойдемъ съ маменькой въ церковь, всѣ, и странницы — у насъ полонъ домъ былъ странницъ да богомолковъ. А придемъ изъ церкви, сядемъ за какую-нибудь работу, больше по бархату золотомъ; а странницы стануть рассказывать, гдѣ они были, что видѣли; житія разныя, либо стихи поютъ. Такъ до обѣда время и пройдетъ. Тутъ старухи уснуть лягутъ, а я по саду гуляю. Потомъ къ вечернѣ, а вечеромъ опять рассказы да пѣніе. Таково хорошо было!“

Подъ вліяніемъ столь прекрасныхъ впечатлѣній, душа, въ сферѣ самой простой жизни, незамѣтно становится открытою поэтическимъ, высшимъ внушеніемъ, и даже безсознательно чувствуетъ потребность въ сліяніи съ другою душой, родственной съ нею по ощущеніямъ и желаніямъ. На этомъ законѣ естественной симпатіи одинаково мыслящихъ и одинаково чувствующихъ существъ основная завязка драмы, оканчивающейся самовольною смертію жертвы роковой любви. Въ драматической ея исторіи все идетъ постепенно и понятно. Въ изложеніи переходовъ ея сердца отъ одного чувства къ другому ничего нѣтъ ни ошибочно придуманнаго ни черезъ мѣру усиленнаго. Вы съ истиннымъ участіемъ входите въ положеніе ея; чувствуете, что въ ея отношеніяхъ къ мужу и прочимъ лицамъ семейства ничего нѣтъ неправильнаго, ничего вызывающаго укоризну. Наконецъ, самое заблужденіе ея, въ которомъ она дошла до возмутительнаго проступка, такъ связано съ неотвратимыми обстоятельствами ея семейнаго положенія, что оно вызываетъ одно невольное сожалѣніе — и тутъ-то выказывается полный успѣхъ драматическаго дарованія автора.

Прочія типическія лица сочиненія въ полномъ свѣтѣ представляютъ общественную жизнь городка, въ которомъ совершается драма. У сочинителя столько въ запасѣ характеровъ, ихъ странностей и поучительныхъ для наблюдателя чертъ, что сцены постоянно интересны и любопытны; драматическое движеніе нигдѣ не ослабѣваетъ, а между тѣмъ общественныя отношенія и естественный ходъ жизни никакимъ искусственнымъ усиленіемъ не нарушены и не ослаблены. Самый языкъ дѣйствующихъ лицъ нигдѣ не вызываетъ сомнѣнія насчетъ вѣрности своей и не подлежитъ никакому спору относительно оборотовъ рѣчи и выбора выраженій.

Шлетневъ.

Стихи русской жизни, нарисованныя въ „Грозѣ“.

Въ „Грозѣ“ съ изумительной силой художественности нарисовалъ поэтъ три стихи русской жизни: жестокіе нравы самодурнаго быта Дикихъ и Кабановыхъ, веселье молодой жизни, близкой къ природѣ, и возникающее и гибнущее въ роковой дѣйствительности личное начало, готовое быть въ мирѣ съ окружающимъ, признавъ и принявъ его правдивыя стороны, но не признаваемое имъ и отталкиваемое, ибо въ этомъ окружающемъ правда и ложь, добро и зло неразрывно перепутались.

— Жестокіе нравы, сударь, въ нашемъ городѣ, жестокіе! (говорить Кулигинъ Борису про изображенный въ драмѣ купеческій міръ)... у кого деньги, сударь, тотъ старается бѣднаго закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денегъ наживать... А между собой-то, сударь, какъ живутъ! Торговлю другъ у друга подрываютъ, и ни столько изъ корысти, сколько изъ зависти. Враждуютъ другъ на друга; залучаютъ въ свои хоромы пьяныхъ приказныхъ... а тѣ имъ, за малую благостыню, на гербовыхъ листахъ злостныя кляузы строчать на ближнихъ...

Живутъ всѣ замкнувшись, взаперти.

Вы думаете, они дѣло дѣлаютъ, либо Богу молятся. Нѣтъ, сударь! И не отъ воровъ они запираются, а чтобы люди не видали, какъ они своихъ домашнихъ ѣдятъ поѣдомъ да семью тиранятъ. И что слезъ льется за этими запорами, невидимыхъ и неслышимыхъ!... И что, сударь, за этими замками разврату темнаго да пьянства... Семья, говорить, дѣло тайное, секретное! Знаемъ мы эти секреты-то! Отъ этихъ секретовъ-то, сударь, ему только одному весело, а остальные — волкомъ воютъ. Да и что за секретъ? Кто его не знаетъ! Ограбить сиротъ, родственниковъ, племянниковъ, заколотить домашнихъ такъ, чтобы ни о чемъ, что онъ тамъ творить, пикнуть не смѣли. Вотъ и весь секретъ.

Дикости нравовъ совершенно соотвѣтствуетъ дикость невѣжества этого міра.

Ну, какъ же ты не разбойникъ! (кричитъ Дикой на Кулигина, предлагающаго устроить громоотводъ). Гроза-то намъ въ наказаніе посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, обороняться. Что ты, татаринъ, что ли?

— Савель Проксѣвичъ, ваше степенство (возражаетъ Кулигинъ), Державинъ сказалъ:

„Я тѣломъ въ прахъ истлѣваю,
Умомъ громамъ повелѣваю“.

— А за эти вотъ слова тебя къ городничему отправить, такъ онъ тебѣ задастъ! (продолжаетъ свое Дикой).

Страница Оеклуша просвѣщаетъ невѣжественныхъ обывателей Калинова пріобрѣтенными ею въ путешествіяхъ свѣдѣніями о томъ, что есть такія страны, гдѣ и царей-то нѣтъ православныхъ, а султаны земель правятъ: „салтанъ Махнуть турецкій да салтанъ Махнуть персидскій“.

— И не могутъ они ни одного дѣла разсудить праведно, такой ужъ имъ иредѣль положенъ... И всѣ судьи у нихъ, въ ихнихъ странахъ, тоже все неправедные; такъ имъ... и въ просьбахъ пишутъ: „суди меня судья неправедный!“—А то есть еще земля, гдѣ всѣ люди съ песьими головами.

Въ IV актѣ драмы укрываются обыватели отъ дождя подѣ старинными расписанными сводами, изъ любопытства начинаютъ разсматривать геенну огненную, изображеніе битвы... Но то, что когда-то было знакомо народу, теперь забыто, — случайно уцѣлѣвшее въ памяти слово Литва вызываетъ лишь дикое представленіе о томъ, что эта Литва, „она на насъ съ неба упала“; а про геенну огненную любопытный созерцатель находитъ только замѣтить, что „довольно затруднительно это понимать“ — что такое тутъ „нарисовано было“; да еще занимаетъ его вопросъ— „ѣдутъ“ ли въ геенну промежду всякаго званія и чину людей и арапы? (да и арапы-то, вѣроятно, бѣлые).

Дикой и Кабаниха — представители въ драмѣ дикихъ нравовъ, безпощадно суроваго отношенія къ жизни и людямъ. Но между ними есть существенная разница: Дикой — самодуръ, Кабаниха гнететъ и ломитъ жизнь во имя не своего произвола, а принциповъ, законовъ.

Савель Прокофѣичъ Дикой — самодуръ въ самомъ полномъ смыслѣ слова. Что взбрѣдетъ въ его ограниченную голову, то онъ и дѣлаетъ, и праву его никто, по его мнѣнію, не смѣетъ и не долженъ препятствовать.

— Разъ тебѣ сказалъ, два тебѣ сказалъ: „не смѣй мнѣ навстрѣчу попадаться!“ (кричитъ онъ на племянника Бориса) тебѣ все нейдется! Мало тебѣ мѣста-то? Куда ни поди, тутъ ты и есть! Тѣфу ты, проклятый!

Дикой жаденъ до денегъ — и нѣтъ для него ничего хуже, какъ отдавать деньги; онъ никому изъ служащихъ у него не назначаетъ поэтому жалованья. „Нешто ты мою душу можешь знать? (говоритъ онъ). А можетъ, я приду въ такое расположеніе, что тебѣ пять тысячъ дамъ“. Само собою разумѣется, что онъ „во всю свою жизнь ни разу въ такое-то расположеніе не приходилъ“, какъ говоритъ Кудряшъ.—Когда нужно расплачиваться, онъ нарочно старается разсердить себя, чтобы накричать на челоуѣка, просящаго денегъ.

— Другъ ты мнѣ (объясняетъ свой нравъ онъ самъ), и я тебѣ долженъ отдать, а приди ты у меня просить—обругаю. Я отдать—отдамъ, а обругаю. Потому только заикнись мнѣ о деньгахъ, у меня всю внутреннюю разжигать станеть.

Онъ „воинъ“, по опредѣленію Кабанихи, и у него, по его собственнымъ словамъ, въ домѣ постоянно „война идетъ“. — Эгоизмъ Дикого совершенно беззащитивый и совершенно наивный, а потому и высказывается вполне откровенно. Онъ долженъ (по нелѣпому завѣщанію бабки Бориса) отдать племяннику и племянницѣ хранящееся у него наслѣдство лишь подѣ тѣмъ условіемъ, если они окажутся къ нему почтительны. Онъ пользуется подобнымъ обстоятельствомъ,

заставляет Бориса служить себя даромъ, ломается надъ нимъ, и начинаетъ простодушно поговаривать: „У меня свои дѣти, за что я чужимъ деньги отдамъ? Черезъ это я своихъ обидѣть долженъ!“ — Кулигинъ рассказываетъ, какъ однажды мужики пошли на него жаловаться городничему, что ни одного изъ нихъ путемъ не разочтеть.

Городничій и сталъ ему говорить: „Послушай, говорить, Савель Прокофьичъ, рассчитывай ты мужиковъ хорошенько! Каждый день ко мнѣ съ жалобой ходятъ“.

А онъ

потрепалъ городничаго по плечу и говоритъ: „Стоить ли, ваще высокоблагородіе, намъ съ вами объ такихъ пустякахъ разговаривать! Много у меня въ годъ-то народу пребываетъ; вы то поймите; не доплату я имъ по какой-нибудь копейкѣ на челобѣка, а у меня изъ этого тысячи составляются, такъ оно мнѣ и хорошо!“

Всякаго Дикой обругаетъ, ни передъ кѣмъ не остановится, — передъ однимъ человѣкомъ только онъ пасуетъ — это Кабаниха; она одна только можетъ его „разговорить“ по его выраженію. Онъ и на нее иной разъ пытается прикрикнуть: „Ну, такъ что жь, что я воинъ! Ну, что жь изъ этого?“ Но она умѣетъ его осадить. Когда онъ, по самодурному либерализму обругалъ странницу Оеклушу, Кабаниха спокойно и сурово говоритъ ему: „Ну, ты не очень горло-то распускай! Ты найди подешевле меня! А я тебѣ дорога!“ И Дикой сдерживается: „Постой, кума, постой! не сердись!“ просить онъ. — Кабаниха — представительница жизненныхъ принциповъ, крѣпка опорой на законъ, потому Савель Прокофьичъ и смиряется передъ ней; безудержный самодуръ, онъ, однако, вообще боится нравственнаго закона: очень интересенъ въ этомъ смыслѣ его рассказъ Кабанихѣ, какъ, говѣя о Великомъ посту, изругалъ онъ мужика, пришедшаго за деньгами, „такъ изругалъ, что лучше требовать нельзя“, и какъ потомъ у этого мужика прощенья просилъ:

— Истинно тебѣ говорю (повѣствуетъ Савель Прокофьичъ), мужику въ ноги кланялся. Вотъ до чего меня сердце доводитъ; тутъ на дворѣ въ грязи ему и кланялся; при всѣхъ ему кланялся.

Само собою разумѣется, что уваженіе Дикого къ закону чисто внѣшнее: онъ поклоняется мужику передъ исповѣдью, а потомъ мужику же будетъ плохо.

Кабаниха (въ противоположность Дикому) — человѣкъ твердыхъ принциповъ, но принциповъ ужасныхъ, беспощадныхъ и безчеловѣчныхъ.

— Ханжа, сударь! (говоритъ о ней Кулигинъ Борису Григорьичу). Нищихъ одѣляетъ, а домашнихъ заѣла совѣмъ.

А заѣла она домашнихъ и довела до гибели, потому что особенно и дико понимаетъ два нравственныхъ закона — о почитаніи ро-

дителей и о повиновеніи жены мужу. — Дѣти, по мысли Кабанихи, должны совершенно слѣпо, не разсуждая, исполнять родительскую волю, не имѣя собственной воли. Жена должна рабски, униженно подчиняться мужу и бояться его. Эти законы Кабаниха не сама облекла въ такую суровую, грубую форму, — она (по смыслу драмы) наслѣдовала ихъ въ такомъ ихъ видѣ отъ старины. Она съ печалью думаетъ о новомъ времени, въ которое (боится она) рушатся прежніе порядки, и утѣшаетъ себя только тѣмъ, что ужъ не увидитъ подобнаго развращенія нравовъ, не доживетъ до него:

— Молодость-то что значить! Смѣшно смотрѣть-то даже на нихъ. Кабы не свои, посмѣялась бы досыта. Ничего-то не знаютъ, никакого порядка. Проститься-то путемъ не умѣютъ. Хорошо еще, у кого въ домѣ старшіе есть, ими домъ-то и держится, пока живы. А вѣдь тоже, глухие, на свою волю хотятъ; а выйдутъ на волю-то, такъ и путаются на покоръ да смѣхъ добрымъ людямъ. Конечно, кто и пожалѣетъ, а больше все смѣются. Да не смѣяться-то нельзя; гостей позовутъ, посадить не умѣютъ, а еще, гляди, позабудутъ кого изъ родныхъ. Смѣхъ да и только! Такъ-то вотъ старина-то и выводится. Въ другой домъ и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, такъ плюнешь да вонъ скорѣе. Чтбъ будетъ, какъ старики перемрутъ, какъ будетъ свѣтъ стоять, ужъ и не знаю. Ну, да ужъ хоть то хорошо, что не увижу ничего.

Кабаниха страшна не столько своими убѣжденіями, сколько своею твердостью въ нихъ; она безпощадна въ карѣ за нарушеніе закона; для нея — пусть міръ погибнетъ, но да восторжествуетъ принципъ (fiat justitia — pereat mundus). Какъ ржа желѣзо, точитъ она своего слабовольнаго сына за то, что онъ мало ее уважаетъ, что онъ жену любитъ больше, чѣмъ мать, что онъ будто бы хочетъ жить своею волей. — „Хоть бы то-то вспомнили, сколько матери болѣзней отъ дѣтей переносятъ“, говоритъ она сыну.

— Если родительница, что когда и обидное, по вашей гордости, скажетъ, такъ, я думаю, можно бы перенести! А, какъ ты думаешь?

КАБАНОВЪ. Да когда я же, маменька, не переносилъ отъ васъ?

КАБАНОВА. Мать стара, глупа; ну, а вы молодые люди, умные, не должны съ насъ, дураковъ, и взыскивать.

КАБАНОВЪ (*вздыхая*). Ахъ, ты, Господи! Да смѣемъ ли мы, маменька, подумать!

КАБАНОВА. Вѣдь отъ любви родители и строги-то къ вамъ бываютъ, отъ любви васъ и бранять-то, все думаютъ добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдутъ дѣтки-то по людямъ славить, что мать — ворчунья, что мать проходу не даетъ, со свѣту сживаетъ. А сохрани Господи, какимъ-нибудь словомъ снохѣ не угодить, ну и пошелъ разговоръ, что свекровь заѣла совѣмъ.

КАБАНОВЪ. Нешто, маменька, кто говоритъ про васъ?

КАБАНОВА. Не слыхала, мой другъ, не слыхала, лгать не хочу. Ужъ кабы я слыхала, я бы съ тобой, мой милый, тогда не такъ заговорила...

КАБАНОВА. Знаю я, знаю, что вамъ не понутру мои слова, да что жъ дѣлать-то, я вамъ не чужая, у меня объ васъ сердце болитъ. Я давно вижу, что вамъ воли хочется. Ну, что жъ, дождетесь, поживете и на волѣ, когда меня не будетъ. Вотъ ужъ тогда дѣлайте что хотите, не будетъ надъ вами старшихъ. А можетъ, и меня вспомните.

КАБАНОВЪ. Да мы объ васъ, маменька, денно и ночью Бога молимъ, чтобы вамъ, маменька, Богъ далъ здоровья и всякаго благополучія и въ дѣлахъ успѣху.

КАБАНОВА. Ну, полно, перестань, пожалуйста. Можетъ-быть, ты и любилъ мать, пока былъ холостой. До меня ли тебѣ: у тебя жена молодая.

Особенно тяжело достается жизнь Катеринѣ: попробуетъ она сказать слово за мужа: „Тихонъ тебя любить, матушка“, — Кабаниха рѣзко и ядовито останавливаетъ ее:

— Ты бѣ, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашиваютъ. Не заступайся, матушка, не обижу, небось! Вѣдь онъ мнѣ тоже сынъ; ты этого не забывай!

Скажетъ она, что любить мужа, — свекровь выразить сомнѣніе въ этомъ, а также мысль, что надо, коли „въ законѣ живете, не любить, а бояться мужа. Бросится она, прощаясь, на шею Тихону, — ее остановятъ съ негодующей насмѣшкой и скажутъ, что она не любовница, чтобы на шею вѣшаться, а жена, и должна мужу кланяться въ ноги. Увѣзжающему сыну Кабаниха велитъ надавать женѣ оскорбительныхъ наказовъ: чтобы не грубила свекрови и почитала ее какъ родную мать, чтобы въ окна глаза не пялила, чтобы на молодыхъ парней не заглядывалась. Противъ послѣднихъ приказаній возмущается самъ Тихонъ... но Кабаниха тверда въ своемъ словѣ:

— Ломаться-то нечего (говоритъ она). Долженъ исполнять, что мать говорить. (Съ улыбкой.) Оно все лучше, какъ приказано-то.

Катерину упрекаютъ, что она во время проводовъ не выла на крыльцѣ часа полтора. На слова ея: „не къ чему! да и не умѣю“. Кабаниха замѣчаетъ:

— Хитрость-то не великая. Кабы любила, такъ бы выучилась. Коли морядкомъ не умѣешь, хоть бы примѣръ-то этотъ сдѣлала; все-таки пристойнѣе; а то, видно, на словахъ-то только...

Но во всей силѣ беспощадная суровость Кабанихи проявляется тогда, когда Катерина созналась въ своемъ проступкѣ.

— Что, сынокъ! (говоритъ старуха въ злобномъ торжествѣ). Куда воля-то вѣдетъ! Говорила я, такъ ты слушать не хотѣлъ. Вотъ и дождался!

Катерина невыразимо мучится; Кабанову жаль ея, онъ ей страдаетъ; а мать злобно учитъ его, что жалѣть нечего, что „ее надо живую въ землю закопать, чтобы она казнилась!“ — Кулигинъ уговариваетъ Тихона простить жену, не помнить зла и на Борисъ: „врагамъ-то прощать надо, сударь“. — „Поди-ка поговори съ маменькой (отзѣчаетъ Кабановъ), что она тебѣ на это скажетъ“. Кабаниха отмѣнила, въ ревности къ своимъ законамъ, законы евангельской любви и милосердія. Когда Катерина ушла изъ дому, и Тихонъ боится — не убила ли она, Кабаниха иронически замѣчаетъ: „А ты ужъ испугался, расплакался! Есть о чемъ“. Она не пускаетъ сына бѣжать на помощь бросившейся въ воду женщинѣ; а когда оцъ рвется —

) грозить проклясть его. — „Полно! объ ней и плакать-то грѣхъ!“ говоритъ она, грозно и безсердечно, рыдающему надъ трупомъ Катерины Тихону. — Такою отталкивающею суровостью вѣтъ отъ мрачнаго образа Кабанихи, что зрители драмы чувствуютъ къ ней невольное негодованіе.

Справедливость требуетъ сказать, что есть одна и свѣтлая черта въ характерѣ старухи Кабановой, — это любовь къ дочери. — „Я со двора пойду!“ заявляетъ Варвара.

— А мнѣ что! (ласково отвѣчаетъ суровая мать). Поди! Гуляй, пока твоя пора придетъ. Еще насидишься!

Если Дикой, Кабаниха могутъ быть названы самодурами въ томъ смслѣ, то и *Тихонъ Кабановъ* можетъ быть, по справедливости, названъ личностью забитой и приниженной.

Онъ не имѣетъ собственной воли и собственной мысли. „Да какъ же я могу, маменька, васъ послушаться!“ „Да я, маменька, и не хочу своей волей жить!“ только такого рода рѣчи и слышитъ отъ него мать. Она, конечно, одобряетъ его за это; но, какъ обыкновенно бываетъ съ подобнаго рода людьми, она сама же его и не уважаетъ. Она называетъ его дуракомъ; она презрительно говоритъ ему.

— Что ты спротои-то привидываешься! Что ты юни-то распустилъ? Ну, какой ты мужъ? Посмотри ты на себя!

И сестра Варвара его не уважаетъ. Тихонъ человекъ добрый и въ сущности не дурной; онъ любитъ по-своему жену, онъ вѣритъ ей; онъ вовсе не хочетъ, чтобы жена его боялась. Но въ душѣ его нѣтъ настолько любви, чтобы защитить бѣдную женщину отъ оскорбленій, и онъ самъ наноситъ ей оскорбленія по приказанію матери. Собственная воля и возможность загулять на свободѣ, безъ присмотра, для него дороже всего. Онъ упрекаетъ жену за то, что мать точила его попреками; онъ откровенно говоритъ Катеринѣ, что радъ вырваться изъ дому, что онъ съ маменькой его „заѣздили“. Онъ самъ, глупо и слѣпо, губитъ и жену, и себя, и возможность своего счастья. Катерина, боясь своихъ порывовъ, проситъ его взять ее съ собою; онъ отказывается. — „Да неужели же ты разлюбилъ меня?“ спрашиваетъ бѣдная женщина.

— Да не разлюбилъ (отвѣчаетъ онъ); а съ такою-то неволи отъ какой хочешь красавицы-жены убѣжишь! Ты подумай то: какой ни на есть, а я, все-таки, мужчина; всю жизнь вотъ такъ жить, какъ ты видишь, такъ убѣжишь и отъ жены. Да какъ знаю я теперича, что недѣли двѣ никакой грозы надо мной не будетъ кандаловъ этихъ на ногахъ нѣтъ, такъ до жены ли мнѣ?

— Какъ же мнѣ любить-то тебя, когда ты такія слова говоришь? (скорбно восклицаетъ Катерина).

У Тихона есть сердце: когда Катерина при свекрови начинаетъ каяться, рассказываетъ свой проступокъ, — онъ пытается остановить ее, чтобы скрыть дѣло отъ беспощадной матери. Онъ сострадаетъ

потомъ мученьямъ жены... Но онъ все-таки дѣлаетъ то, что приказываетъ мать: онъ бьетъ Катерину по ея повелѣнію. Не имѣя собственной мысли, онъ, напиваясь съ горя, настраиваетъ себя нарочно на враждебныя чувства, согласно съ воззрѣніями матери. Человѣкъ совѣсти и чувства побѣждаетъ въ немъ слѣпопокорнаго сына лишь тогда, когда Катерина покончила съ собою. „Маменька, вы ее погубили! вы, вы, вы“... Но этотъ протестъ — уже поздній протестъ и ненужный; да едва ли онъ и прочный. Можетъ-быть, Кабаниха и права, говоря съ увѣренностью въ отвѣтъ ему: „Ну, я съ тобой дома поговорю!“

Такова одна стихія жизни, изображенная въ „Грозѣ“, — стихія самодурнаго гнета сильныхъ надъ слабыми, унижительнаго и позорнаго приниженія слабыхъ.

Другая стихія — болѣе отрадная, даже привлекательная, — это веселье, радостный праздникъ молодой жизни. Представителями этого начала въ драмѣ являются Варвара и Кудряшъ. Удивительно сильное, поэтическое, неотразимое впечатлѣніе производитъ на зрителя сцена третьяго акта „Грозы“, — чудная сцена свиданія въ оврагѣ на Волгѣ.

Кудряшъ человѣкъ бойкій, ловкій, умный. Онъ сдержанъ, и съ нѣкоторой пренебрежительной удалю относится къ нѣжнымъ проявленіемъ чувства: Кулигинъ указываетъ ему на красоту волжской природы: „Видъ необыкновенный! Красота! Душа радуется“. „Ништъ“, съ полунапускнымъ, полуйскреннимъ равнодушіемъ отвѣчаетъ Кудряшъ. — „Ты что жъ такъ долго! Ждать васъ еще! Знаешь, что не люблю!“ такими словами встрѣчаетъ онъ на свиданіи Варвару. Но въ душѣ его есть чувство, и чувство сильное; заподозривъ Бориса въ ухищреніи за Варварой, онъ говоритъ съ порывомъ негодованія:

— Чужихъ не трогай! У насъ такъ не водится, а то парни ноги переломають. Я за свою... да я и не знаю, что сдѣлаю! Горло перерву!

Сильна въ душѣ Кудряша и совѣсть: узнавъ, что Борисъ полюбилъ замужнюю, онъ говоритъ, побуждаемый чувствомъ чловѣколюбія и жалости:

— Эхъ... бросить надоть!... вѣдь, это, значить, вы ее совѣмъ губить хотите, Борисъ Григорьевичъ... вѣдь здѣсь какой народъ, сами знаете. Съдѣять, въ гробъ вколотять.

Варвара похожа на Кудряша: такая же бойкая, смѣлая, веселая. Душа у нея добрая и простая. Она понимаетъ, что Катеринѣ тяжело въ ихъ семьѣ, она сочувствуетъ невѣсткѣ, понимаетъ, что та не можетъ любить Тихона. Она заступается за Катерину и всячески выгораживаетъ ее изъ бѣды. Но, живая и смѣлая, она не можетъ подняться на ту нравственную высоту, на которой стоитъ Катерина. Устраивая для послѣдней свиданіе съ Борисомъ, она и не подозрѣвала, какія душевныя муки готовить бѣдной женщинѣ. По ея понятію, жизнь такъ проста. „По-моему (говорить она), дѣлай что хочешь,

только бы шито да крыто было“. Безъ обмана нельзя, учить она Катерину:

— Ты вспомни, гдѣ ты живешь! У насъ вѣдь весь домъ на томъ держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало.

Она примирилась съ ложью, и не можетъ понять, что не всѣ могутъ примириться.

И вотъ, среди этихъ разнородныхъ стихій народной дѣйствительности появляется энергическая, благородная личность молодой женщины, Катерина. Она не можетъ подчиниться самодурному гнету и принизиться; она не можетъ пойти и на сдѣлки съ совѣстью, вступить на дорогу лжи. И она гибнетъ.

Поэтический образъ Катерины — несомнѣнно одинъ изъ важнѣйшихъ образовъ не только творчества Островскаго, но и всей русской литературы.

Личность даровитая, впечатлительная и сильная духомъ, Катерина выросла подъ вліяніями важнѣйшихъ явленій русской жизни и подъ впечатлѣніями широкой и могучей волжской природы. — Рѣзвый ребенокъ, любимое дитя въ родной семьѣ, она жила дома „ни объ чемъ не тужила, точно птичка на волѣ“; мать въ ней „души не чаяла“. Весело было на сердцѣ у живой и чуткой дѣвочки. Вставши рано утромъ, умывшись на ключикѣ и поливши свои любимые цвѣты, отправлялась Катерина съ матерью въ церковь. Домъ ихъ былъ старинный, благочестивый домъ; онъ всегда былъ полонъ странницъ да богомолокъ; эти странницы повѣствовали, когда домашніе сидѣли за работой (а работали больше золотомъ по бархату), повѣствовали, — гдѣ онѣ были, въ какихъ святыхъ мѣстахъ, рассказывали житія святыхъ, пѣли духовные стихи. Потомъ всѣмъ домою шли къ вечернѣ; потомъ Катерина гуляла по саду, „а вечеромъ опять рассказы да пѣніе“. — Катерина любила молиться, молилась съ любовью и вдохновеніемъ; въ храмѣ она чувствовала себя какъ въ раю, — не помнила времени, никого не видала, мечтались ей ангелы, слѣдила она своей фантазіей за ихъ полетомъ и пѣніемъ въ столбѣ свѣта, идущаго внизъ храма изъ оконъ купола. Божій міръ, утро въ саду, восходъ солнца вызывали въ душѣ ея религіозное умиленіе, слезы восторга, чистую безпредметную молитву. И снились ей чудные и чистые сны: храмы золотые, деревья и горы, какими она видѣла ихъ на иконахъ; слышалось ей райское пѣніе, и летала во снѣ по воздуху, легкая и просвѣтленная.

Религіозныя впечатлѣнія возвышенно настроили душу молодой дѣвушки, и остались въ ней на всю жизнь. Выйдя замужъ, Катерина такъ же восторженно любитъ церковь и молитву.

— Ахѣ, Кудряшъ, какъ она молится, кабы ты посмотрѣлъ! (говорить Борисъ Григорьевичъ). Какая у ней на лицѣ улыбка ангельская, а отъ лица-то какъ будто свѣтится

Сохранилась на всю жизнь въ душѣ Катерины и свѣтлая, парящая къ небу мечтательность:

отчего люди не летаютъ такъ, какъ птицы! (говорить она своей золовкѣ Варварѣ). Знаешь, мнѣ иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горѣ, такъ тебя и тинетъ летѣть. Вотъ такъ бы разбѣжалась, подняла руки и полетѣла. Попробовать нешто теперь? (Хочетъ бѣжать.)

Душа Катерины пылкая и энергичная.

— Такая ужъ я зародилась горячая! (говорить молодая женщина). Я еще лѣтъ шести была, не больше, такъ что сдѣлала. Обидѣли меня, чѣмъ-то дома, а дѣло было къ вечеру, ужъ темно, я выбѣжала на Волгу, сѣла въ лодку да и отпихнула ее отъ берега. На другое утро ужъ нашли версть за десять!

Сила духа, не покоряющееся гнету благородное упорство не покидаютъ Катерину до смерти; насиліе встрѣчаетъ съ ея стороны горячій, огненный протестъ; Катерину нельзя принизить, сдѣлать безотвѣтной и безмолвной. Когда Варвара удивляется, что она какая-то мудрѣная — не хочетъ жить и поступать такъ, чтобы все было шито да крыто, Катерина говоритъ ей:

— Не хочу я такъ. Да и что хорошаго! Ужъ я лучше буду терпѣть, пока терпится.

— А не стерпится, что жъ ты сдѣлаешь? (спрашиваетъ Варвара.)

— Что я сдѣлаю?

— Да, что сдѣлаешь?

— Что мнѣ только захочется, то и сдѣлаю.

— Сдѣлай попробуй, такъ тебя здѣсь заѣдятъ.

— А что мнѣ. Я уйду, да и была такова.

— Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.

— Эхъ, Варя, не знаешь ты моего характера! Конечно, не дай Богъ этому случиться! А ужъ коли очень мнѣ здѣсь опостылетъ, такъ не удержатъ меня никакою силой. Въ окно выброшусь, въ Волгу кинусь. Не хочу здѣсь жить, такъ не стану, хоть ты меня рѣжь!

Идеализмъ религіозныхъ вѣрованій и чистой возвышенной мечтательности высоко поднялъ душу Катерины надъ пошлостію и порокомъ жизни; для нея невозможны сдѣлать съ совѣстью; серьезно, съ благоговѣйнымъ уваженіемъ смотритъ Катерина на то, что признаетъ нравственнымъ закономъ. Она вышла замужъ еще почти ребенкомъ, не понимая, можетъ-быть, значенія брака, не зная человѣка, который сталъ ея мужемъ. (Здѣсь, замѣтимъ мимоходомъ, представляется намъ въ драмѣ нѣкоторая неясность: почему родные, такъ, повидимому, любившіе Катерину, выдали ее въ семью Кабановыхъ? почему такъ послѣдніи выдать ее замужъ? Или Катерина рано осталась сиротою? Можетъ-быть, на это послѣднее предположеніе намекаетъ то обстоятельство, что въ тяжелыя минуты жизни она не ищетъ отрады и помощи въ своей прежней семьѣ. Поэтъ, къ сожалѣнію, оставилъ все это въ драмѣ неяснымъ.) Въ мужъ Катерина не нашла, конечно (мы знаемъ, что за человѣкъ Кабановъ), не нашла любящаго сердца, которое бы отвѣтило ея душевнымъ требованіямъ, которому она

могла бы отдать свое сердце. А между тѣмъ юность дѣлала дѣло: Катеринѣ хотѣлось любви, счастья, — и она полюбила чужого человека. Она испугалась этого чувства.

— Охъ, дѣвушка (говорить она Варварѣ), что-то со мной недоброе дѣлается, чудо какое-то. Никогда со мной этого не было. Что-то во мнѣ такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю или... ужъ и не знаю... быть грѣху какому-нибудь! Такой на меня страхъ, такой-то на меня страхъ! Точно я стою надъ пропастью, и меня кто-то туда тянетъ, а удержаться мнѣ не за что. Ночью, Варя, не спится мнѣ, все мерещится шопотъ какой-то: кто-то такъ ласково говорить со мной, точно голубить меня, точно голубь воркуетъ. Ужъ не снятся мнѣ Варя, какъ прежде, райскія деревья да горы; а точно меня кто-то обнимаетъ такъ горячо-горячо, и ведетъ меня куда-то, и я иду за нимъ, иду... Сдѣлается мнѣ такъ душно, такъ душно дома, что бѣжала бы. И такая мысль придетъ на меня, что кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волгѣ, на лодкѣ, съ пѣснями, либо на тройкѣ на хорошей, обнявшись...

Признать свою любовь правдой Катерина не можетъ, потому что она хочетъ быть вѣрной, и дѣйствительно вѣрна нравственнымъ законамъ окружающаго ее быта. Чувство свое она считаетъ и называетъ грѣхомъ:

— Вѣдь это нехорошо (говорить она), вѣдь это страшный грѣхъ, Варенька, что я другого люблю!

Катерина хочетъ быть не только въ мирѣ со свекровью, она хочетъ любить Кабаниху дочерней любовью:

— Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, — говоритъ она искренно и правдиво.

И такъ же искренно и правдиво хочетъ она жить съ мужемъ въ любви и совѣтѣ, быть ему вѣрной женою. Она въ немъ ищетъ опоры противъ своего чувства къ Борису Григорьевичу.

— Тиша, не уѣзжай! (проситъ бѣдная женщина, уже сознавшая возникающую въ сердцѣ незаконную любовь). Ради Бога, не уѣзжай! Голубчикъ, прошу тебя!

А когда Тихонъ говоритъ ей, что нельзя не вѣхать, коли маменька посылаетъ, она проситъ:

— Ну, бери меня съ собой, бери!... Тиша, голубчикъ, кабы ты остался либо взялъ меня съ собой, какъ бы я тебя любила, какъ бы я тебя голубила, моего милаго!

Она высказываетъ ему свои опасенія, что безъ него — „быть бѣдѣ, быть бѣдѣ!“ Она, наконецъ, проситъ его взять съ нея „какую-нибудь клятву страшную...“ И на его глупыя отиѣкиванія отъ всѣхъ ея просьбъ, отъ всѣхъ попытокъ спасти себя и его, отвѣчаетъ изъ души вырвавшимся крикомъ тоски:

— Успокой ты мою душу, сдѣлай такую милость для меня!

Потомъ, когда Тихонъ не внялъ ея мольбамъ и уфхаль, она все еще не теряетъ надежды остаться вѣрной закону. Она жалѣеть о томъ, что у нея дѣтей нѣтъ, — они бы спасли ее:

— Эко горе! Дѣтокъ-то у меня нѣтъ; все бы я сидѣла съ ними да забавляла ихъ. Люблю очень съ дѣтьми разговаривать, — ангелы, вѣдь, это.

И вотъ, оставленная на произволъ судьбы, безъ поддержки и сочувствія, Катерина, наталкиваемая на грѣхъ единственнымъ хоть сколько-нибудь ее жалѣющимъ, если не любящимъ человѣкомъ, Варварой, предается своему чувству къ Борису, — предается всей душою, искренно и горячо. „Мнѣ хоть умереть — да увидать его! восклицаетъ она, и назначаетъ Борису свиданіе; а на свиданіи говоритъ ему, кидаясь на шею:

— Твоя теперъ воля надо мной, развѣ ты не видишь!

Но сближеніе съ любимымъ человѣкомъ приноситъ ей не счастье, а горе и муки. И не утишить ей этихъ мукъ никакими оправданіями, никакими соображеніями въ родѣ того, что

— Въ неволѣ-то кому весело! Мало ли что въ голову придетъ.. Долго ли въ бѣду попасть!... А горька неволя, охъ, какъ горька!

Въ самую минуту свиданія она мучится тяжелою внутреннею борьбою:

— Зачѣмъ ты пришелъ? Зачѣмъ ты пришелъ, погубитель мой? (говорить она Борису). Вѣдь я замужемъ, вѣдь мнѣ съ мужемъ жить до гробовой доски... пойми ты меня, врагъ ты мой: вѣдь до гробовой доски!

Счастливая взаимностью, она желаетъ въ то же время смерти. Говоря Борису: „коли я для тебя грѣха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?“ она, однако, болѣзненно, мучительно желаетъ этого суда, какъ своего спасенія:

говорятъ, даже легче бываетъ (разсуждаетъ Катерина), когда за какой-нибудь грѣхъ здѣсь, на землѣ, натерпишься.

Муки бѣдной женщины происходятъ, во-1-хъ, оттого, что она грѣхомъ считаетъ самое свое чувство: „ты меня загубилъ... загубилъ, загубилъ“, говоритъ она Борису; во-2-хъ, оттого, что правдивая натура ея не выносить лжи и обмана.

— Обманывать-то я не умѣю; скрыть-то ничего не могу. —

искренно и просто заявляетъ она Варварѣ; и дѣйствительно, когда возвращается Тихонъ, она становится сама не своя:

Дрожить вся, точно ее лихорадка бьетъ; блѣдная... мечется по дому, точно чего ищеть... На мужа не смѣетъ глазъ поднять.

Варвара боится, что она бросится мужу въ ноги и все откроетъ. Такъ и случается. Въ угрожающихъ словахъ сумасшедшей барыни,

въ раскатахъ грома, въ картинѣ геенны огненной Катерина слышитъ упреки совѣсти, грозящей наказаніемъ въ загробномъ мірѣ за радости земного счастья. И она бросается къ мужу и, при свекрови, при народѣ, все открываетъ ему.

Это вторичная, уже безсознательная, попытка Катерины примириться съ окружающимъ ее міромъ... Если бы этотъ міръ великодушно простилъ ее и принялъ, она бы всей душой привязалась къ мужу и энергіей воли подавила свои личные порывы.

Но еще не совсѣмъ изнемогъ духъ бѣдной женщины: она еще хочетъ видѣть Бориса, она еще на него возлагаетъ нѣкоторыя надежды:

— Возьми меня съ собой отсюда!

просить она его, какъ прежде просила мужа. И какъ прежде мужъ, такъ теперь Борисъ, тоже приниженный и безвольный человѣкъ (хоть и въ болѣе образованныхъ и мягкихъ формахъ), отказываетъ ей:

— Нельзя мнѣ, Катя; не по своей я волю вѣду; дядя посылаетъ, ужь и лошади готовы... и т. д.

Это — послѣдняя капля, переполняющая чашу: для Катерины больше нѣтъ въ жизни никакой опоры — и не нужно ей больше жизни.

Въ краткомъ сердцѣ ея не возникаетъ злого чувства противъ человѣка, невольно обманувшаго ея надежды. „Повзжай съ Богомъ; не тужи обо мнѣ“, просить она Бориса. И съ этой минуты всѣ мысли ея сосредоточиваются на смерти и на могилѣ. Все земное от нея отстранилось, — и къ ней вернулась ея прежняя, чистая мечтательность съ возвышеннымъ религіознымъ оттѣнкомъ. Она не можетъ итти въ домъ, вернуться къ жизни: ей все тамъ противно.

„Умереть бы теперь! (мечтаетъ она)... Все равно, что смерть придетъ, что сама... а жить нельзя!... Грѣхъ! Молиться не будутъ? Кто любить, тотъ будетъ молиться...“

„Въ могилѣ лучше... подъ деревцомъ могилушка... какъ хорошо! Солнышко ее грѣетъ, дождичкомъ ее мочить... весной на ней травка вырастетъ, мягкая такая... птицы прилетятъ на дерево, будутъ пѣть, дѣтей выведутъ; цвѣточки расцвѣтутъ: желтенькіе, красненькіе, голубенькіе... всякіе... всякіе... Такъ тихо, такъ хорошо!... А объ жизни и думать не хочется. Опять жить? Нѣтъ, нѣтъ, не надо... нехорошо!“

И она уходитъ изъ жизни, — уходитъ спокойно, навѣки, въ глубокой омутъ Волги.

Незеленовъ.

„Гроза“, какъ показатель направленія художественнаго творчества Островскаго.

Прежде всего позволяю себѣ сдѣлать два замѣчанія, говорящія въ пользу таланта Островскаго и достоинства его сочиненій. Упадокъ драматической поэзіи въ современной эпохѣ не подлежитъ сомнѣнію.

Это фактъ, знакомый каждому, кто занимается литературой. Ни въ Германіи ни во Франціи давно уже не является такихъ пьесъ, которыя могли бы по праву стоять въ ряду истинно изящныхъ произведеній. Гетнеръ въ сочиненіи своемъ: „Das moderne Drama (1852),“ справедливо сѣтуетъ на внутреннюю скудость драмъ, написанныхъ поэтами такъ называемой школы „юная Германія“. Онъ не отрицаетъ таланта въ ихъ авторахъ, но признаетъ, что произведенія ихъ далеко уступаютъ образцамъ Шиллера и Гёте; какъ послѣдніе поэты стоятъ на высотѣ художественнаго творчества, такъ послѣдователи ихъ заняли уровень посредственности. Этого уровня не подняла и драма Фрейтага: „Валентина“, хотя дарованіе Фрейтага выходитъ изъ среды обыкновенныхъ. То же неутѣшительное явленіе замѣчается и во французскихъ драмахъ. Послѣ В. Гюго, А. Дюма, Скриба и нѣкоторыхъ другихъ наступило затѣшье или фабрикуются мелодрамы. Но и Скрибъ въ отношеніи къ Мольеру, и Гюго съ А. Дюма, въ отношеніи къ Корнелю и Расину,—то же, что „юная Германія“ въ отношеніи къ Шиллеру и Гёте: въ комедіяхъ нѣтъ силы мольеровскаго комизма, въ трагедіяхъ нѣтъ силы трагизма, которая прославила Расина и Корнеля, хотя и вращалась въ кругу ложноклассическаго искусства. Новѣйшія попытки французовъ создать нѣчто оригинальное производятъ иногда блестящія пьесы, но блестящія не свѣтомъ истиннаго искусства, а внѣшними эффектами и внѣшнимъ же соприкосновеніемъ съ текущими новостями, съ интересами дня (*nouvelles du jour*). Вездѣ мелодрама, а нигдѣ настоящей драмы.

Вышесказанное не примѣняется къ современной русской комедіи или, точнѣе, къ пьесамъ Островскаго, такъ какъ въ нихъ единственно и нераздѣльно заключается вся наша современная комедія. Положеніе Островскаго — иное. Въ ряду извѣстнѣйшихъ нашихъ комиковъ онъ занялъ также видное мѣсто. Онъ достойно продолжаетъ дѣло Гоголя. Я не сравниваю ихъ талантовъ: я говорю только, что въ талантѣ, сравнительно низшемъ, бываютъ такія стороны, которыя не выказывались въ талантѣ много высшемъ. Такъ, въ пьесахъ Островскаго есть нѣчто свое, особенное, что имѣетъ въсь послѣ „Ревизора“ и „Женитьбы“. А въ произведеніяхъ искусства, равно какъ и во всѣхъ произведеніяхъ духовной дѣятельности человѣка, эта особенность, своеобразность и цѣнится преимущественно. Она свидѣтельствуетъ объ отличительныхъ свойствахъ таланта; ею объясняется сочувствіе къ таланту публики—и образованной, умѣющей сознавать то, что ей нравится, и необразованной, бессознательно воспринимающей эстетическое наслажденіе.

Вторая замѣтка имѣетъ въ виду указать врожденную склонность Островскаго къ драмѣ. Онъ выступилъ въ литературный свѣтъ съ драматической пьесой и до сихъ поръ не измѣнилъ выбранному имъ поэтическому роду. Другіе авторы пробуютъ свои силы въ разныхъ родахъ, какъ бы назло своей природѣ. Тургеневъ, напримѣръ, пытался, кромѣ повѣстей и романовъ, которыми онъ приобрѣлъ себѣ такую громкую

и вполне справедливую известность, писать также драмы; но если и можно признать относительное достоинство и частныя красоты его „Провинціалки“, „Нахлѣбника“, „Завтрака у предводителя“, то нельзя не видѣть, что онъ вошелъ не въ свою колею. Островскій, напротивъ, и не пытался мѣнять драматическую форму на лирику или эпосъ. Одна изъ пьесъ его: „Воспитанница“, могла бы легко дать сюжетъ повѣствователю; однакожь онъ не увлекся этой легкостью. Ясно, что призваніемъ его служить драма. Неизмѣнность направленія нерѣдко, сама собою, независимо отъ другихъ предметовъ, указываетъ на внутреннюю цѣну направленія, и неспособность свободно входить въ разнородныя области знанія или творчества тѣмъ опутительнѣе выказываетъ способность правильно распоряжаться въ той области, къ которой авторъ, такъ сказать, приписанъ отъ рожденія.

Спеціальность Островскаго — поэтическое представленіе купеческаго класса. Перемѣна во взглядѣ на характеръ явленій, которыми обнаруживаются сословныя отличія, производила нѣкоторую перемежную и въ характерѣ представленія, такъ что драмы автора, написанныя въ небольшой періодъ времени, въ теченіе десяти или двѣнадцати лѣтъ, выказали уже нѣсколько направленій.

Первая же комедія, „Свои люди — сочтемся“, принадлежащая къ числу самыхъ блестящихъ литературныхъ дебютовъ, изображаетъ сущность купеческаго класса, насколько она раскрывается въ семействѣ и торговлѣ. Слѣдовательно, это комедія правовъ известнаго сословія въ известную эпоху, комедія общественная, образцы которой даны у насъ Фонвизинимъ, Капнистомъ, Грибоѣдовымъ, Гоголемъ. Островскій тѣсно примыкаетъ къ школѣ послѣдняго; его комедія указываетъ темныя стороны купеческаго быта: въ семействѣ — самоуправная власть отца, отъ которой страдаютъ жена, дѣти и прислуга, и которая не знаетъ другихъ основаній, кромѣ личнаго произвола; въ торговлѣ — неправильное веденіе дѣлъ, поставляющее единственную цѣлью нажитья какъ можно скорѣе. Но развязка имѣетъ замѣчательную особенность: посредствомъ нея комедія переходитъ въ дѣйствительную трагедію, ибо семейный деспотъ и злостный банкротъ пожинаетъ то, что посѣялъ; передъ лицомъ зрителя совершается его наказаніе, а въ перспективѣ готовятся другія наказанія — безчувственной дочери отъ ея будущихъ дѣтей, и плуту Подхалюзину отъ плута — слуги его, Типки.

Какъ бы испугавшись темнаго колорита своей первой пьесы, авторъ отступилъ назадъ, и — подобно Гоголю, нарисовавшему въ 2-мъ томѣ „Мертвыхъ Душъ“ нѣсколько идеальныхъ лицъ, представителей свѣтлой стороны русскаго общества, — рѣшилъ также создать идеалы, которые должны были примирить публику съ тѣмъ сословіемъ, въ жизни котораго такъ много комическаго, и комизмъ такъ часто разрѣшается трагическимъ концомъ. Желанное примиреніе найдено въ коренныхъ, стихійныхъ свойствахъ русскаго человѣка, преимущественно такого, который не подвергся еще дѣйствию цивилизаціи. Пло-

домъ такого воззрѣнія автора были пьесы: „Не въ свои сани не садись“, „Бѣдность не порокъ“, „Не такъ живи, какъ хочется“, имѣвшія большой успѣхъ на сценѣ, какъ по артистической игрѣ актеровъ, такъ и по своимъ несомнѣннымъ достоинствамъ, какъ бы ни судили объ идеѣ, лежащей въ ихъ основаніи. Свѣтлымъ, идеальнымъ личностямъ, въ нихъ противопоставляются такіе русскіе люди, которыхъ добрыя начала, присущія русской природѣ, искажены цивилизаціей. Задача пьесы—дать торжество первымъ лицамъ надъ вторыми, иначе — показать превосходство патриархальнаго быта надъ бытомъ ложной образованности, въ которомъ человѣкъ не замѣнилъ ничѣмъ существеннымъ утраченной имъ первобытной наивности, природной простоты. Превосходство это можетъ выразиться слѣдующимъ образомъ: въ простомъ русскомъ человѣкѣ, сохранившемъ всецѣло свои стихійныя начала, эти начала возобладаютъ нѣкогда надъ внѣшнею грубостью и необразованностью, тогда какъ человѣкъ, поведенный по дорогѣ поверхностной цивилизаціи, невольно подчиняется ей и теряетъ сочувствіе къ своимъ кореннымъ началамъ. Когда критика, недовольная этимъ направлениемъ Островскаго и подозрѣвая его въ славянофильскихъ тенденціяхъ, приняла на себя защиту цивилизаціи, тогда авторъ задумалъ отдать справедливость образованному классу и представленіемъ его хорошихъ сторонъ противопоставить имъ дурныя стороны необразованности. Явились двѣ новыя пьесы: „Въ чужомъ пиру похмелье“ и „Доходное мѣсто“. Въ первой изъ нихъ идеалы изъ быта купческаго и простонароднаго перенесены въ бытъ класса просвѣщеннаго. Правственный героизмъ воплощенъ въ лицѣ учителя и его дочери; наоборотъ, богатый купецъ оказывается самодуромъ, со всѣми дикими выходками человѣка, не озареннаго свѣтомъ знанія. Задача пьесы рельефно выставляется на показъ читателямъ или зрителямъ. Такъ какъ задача, предположенная авторомъ, всегда почти вредитъ художественному исполненію, то комедія „Въ чужомъ пиру похмелье“ вышла въ этомъ отношеніи неудачною.

Въ новой своей пьесѣ „Гроза“ Островскій, по моему мнѣнію, возвратился къ пункту своего начальнаго отправленія. Онъ не покинулъ выбранной имъ спеціальности — поэтическаго представленія купческаго быта въ существеннѣйшихъ его проявленіяхъ; но его не стѣсняла уже болѣе намѣренная постановка вопроса, не обязывало ни желаніе выставить однѣ темныя стороны, при которыхъ, по словамъ Гоголя, остается единственно честнымъ лицомъ пьесы — комическій смѣхъ, ни желаніе отыскивать идеалы тамъ, гдѣ они еще не выработаны историческимъ развитіемъ. Дѣйствительность является именно такою, какова она на самомъ дѣлѣ: въ смѣшеніи правственнаго и умственнаго безобразія съ красотой души и сердца. И въ этой невымышленной дѣйствительности, съ одной стороны—исключительная преданность обычаю, какъ святому, непреложному догмату, обоготвореніе старины, понимаемое не иначе, какъ въ видѣ ненависти ко всему новому, свѣжему, молодому; съ другой—желаніе вырваться изъ

душной атмосферы обычной, обрядовой жизни и заявить законное дѣйствіе жизни, кипящей избыткомъ силъ. Освобожденіе совершается различно, смотря по различію темпераментовъ и понятій: иногда это— грубая разнузданность, рѣзкое самоотрѣшеніе отъ семейныхъ и общественныхъ связей (какъ это и видимъ въ лицѣ Варвары), иногда же прерваніе ровнаго потока существованія съ сожалѣніемъ и раскаяніемъ, съ внутреннею борьбою, стоящею слезъ и крови (что и представляетъ намъ Катерина), иногда же еще заглазная преданность разгулу и пьянству, которыми забитый сынъ (какъ сынъ Кабанихи) отводитъ себѣ душу. Различіемъ освобожденія условливается и различіе исхода драмы: въ однихъ случаяхъ столкновеніе враждебныхъ силъ начинается, продолжается и оканчивается смѣхомъ; въ другихъ оно — постоянная гроза, тайная или явная. Въ пьесѣ Островскаго, носящей имя „Грозы“, дѣйствіе и катастрофа трагическія, хотя многія мѣста и возбуждаютъ смѣхъ. Обрядовая жизнь выведена имъ съ суровыми послѣдствіями; она имѣетъ значеніе какъ бы греческой судьбы, сокрушающей всякую себѣ неподчиненность. Вѣрная хранительница обычаевъ, непрерывно протестующая противъ движенія жизни, Кабаниха, даже надъ трупомъ жены своего сына не выговариваетъ слова примиренія. И между тѣмъ, какъ она неумолимо ломаетъ все, что видитъ наперекоръ ея понятіямъ, Дикой, по своенравію, которое для него служитъ орудіемъ шреступать иногда обычай, хотя въ другихъ онъ этого не допускаетъ, — Дикой заѣдаетъ также жизнь своего племянника (Бориса), отправляя его въ Кяхту, и неугомонную дѣятельность свою истощаетъ въ безпрерывной брани встрѣчному и поперечному. Міръ, изображенный Островскимъ, —тяжелый міръ, и впечатлѣніе, производимое его драмой, совершенно соотвѣтствуетъ характеру того, что въ немъ совершается. Въ этой нравственной тяжести, отъ которой прискорбно уму и чувству, я полагаю яснѣйшее доказательство прѣвосходства пьесы.

Въ заключеніе замѣчу, что драма „Гроза“ принадлежитъ, по своему направленію и по своимъ художественнымъ достоинствамъ, къ той школѣ драматической, которая, по моему понятію, единственно законна въ настоящее время, равно какъ единственно законна и одна только школа повѣствовательная. Я называю эту школу двумя именами: *историческою*, потому что она относится ко всѣмъ явленіямъ такъ же, какъ исторія относится къ явленіямъ прошлой жизни, и *физиологическою*, потому что она изображаетъ отправленія нравственной и духовной жизни, какъ физиологія разсматриваетъ дѣйствія органовъ. Такая школа не влагаетъ въ жизнь того, чего въ ней нѣтъ, не населяетъ ея небывалыми идеалами добра или зла и, конечно, не заглядываетъ въ будущее на томъ основаніи, что поэтъ и пророкъ одно и то же. Дѣло поэзіи — созерцать дѣйствительно существующее, въ этомъ дѣйствительно существующемъ подмѣчать законы явленій, ихъ сущность, ихъ идею и схваченную идею выражать по-своему, конкретно, т.-е. влагая ее въ созданный творческій образъ.

Галаховъ.

Общая картина жизни, нарисованная Островскимъ въ „Грозѣ“.

„Гроза“ представляетъ намъ идиллію „темнаго царства“, которое мало-по-малу освѣщаетъ намъ Островскій своимъ талантомъ. Люди, которыхъ вы здѣсь видите, живутъ въ благословенныхъ мѣстахъ: городъ стоитъ на берегу Волги, весь въ зелени; съ крутыхъ береговъ видны далекія пространства, покрытыя селеньями и нивами; лѣтній благодатный день такъ и манитъ на берегъ, на воздухъ, подъ открытое небо, подъ этотъ вѣтерокъ, освѣжительно вѣющій съ Волги... И жители, точно, гуляютъ иногда по бульвару надъ рѣкой, хоть ужъ и приглядѣлись къ красотамъ волжскихъ видовъ; вечеромъ сидятъ на завалянкахъ у воротъ и занимаются благочестивыми разговорами; но больше проводятъ время у себя дома, занимаются хозяйствомъ, кушаютъ, спятъ,— спать ложатся очень рано, такъ что непривычному человѣку трудно и выдержать такую сонную ночь, какую они задаютъ себѣ. Но что же имъ дѣлать, какъ не спать, когда они сыты? Ихъ жизнь течетъ такъ ровно и мирно, никакіе интересы міра ихъ не тревожатъ, потому что не доходятъ до нихъ; царства могутъ рушиться, новыя страны открываться, лицо земли можетъ измѣняться, какъ ему угодно, міръ можетъ начать новую жизнь на новыхъ началахъ,— обитатели городка Калинова будутъ себѣ существовать по прежнему въ полнѣйшемъ невѣдѣніи объ остальномъ мірѣ. Изрѣдка забѣжитъ къ нимъ неопредѣленный слухъ, что Наполеонъ съ двадцатью языкъ опять подымается или что антихристъ народился; но и это они принимаютъ болѣе какъ курьезную шутку, въ родѣ вѣсти о томъ, что есть страны, гдѣ всѣ люди съ песьими головами: покачаютъ головой, выразятъ удивленіе къ чудесамъ природы, и пойдутъ себѣ закусить... Смолоду еще показываютъ нѣкоторую любознательность, но пищи взять ей неоткуда: свѣдѣнія заходятъ къ нимъ, точно въ древней Руси временъ Даниіла Паломника, только отъ странницъ, да и тѣхъ уже нынче немного настоящихъ-то; приходится довольствоваться такими, которыя „сами, по немощи своей, далеко не ходили, а слышать много слыхали“, какъ Оеклуша въ „Грозѣ“. Отъ нихъ только и узнаютъ жители Калинова о томъ, что на свѣтѣ дѣлается; иначе они думали бы, что весь свѣтъ таковъ же, какъ и ихъ Калиновъ, и что иначе жить, чѣмъ они, совершенно невозможно. Но и свѣдѣнія, сообщаемыя Оеклушами, таковы, что неспособны внушить большого желанія промѣнять свою жизнь на иную. Оеклуша принадлежитъ къ партіи патріотической и въ высшей степени консервативной; ей хорошо среди благочестивыхъ и наивныхъ калиновцевъ: ее и почитаютъ, и угощаютъ, и снабжаютъ всѣмъ нужнымъ; она пресеріозно можетъ увѣрять, что самыя грѣшки ея происходятъ оттого, что она выше прочихъ смертныхъ: „простыхъ людей, говорить, каждаго одинъ врагъ смущаетъ, а къ намъ, страннымъ людямъ, къ кому шесть, а къ кому двѣнадцать приставлено,

вотъ и надо ихъ всѣхъ побороть“. И ей вѣрятъ. Ясно, что простой инстинктъ самосохраненія долженъ заставитьъ ее не сказать хорошаго слова о томъ, что въ другихъ земляхъ дѣлается. И въ самомъ дѣлѣ, прислушайтесь къ разговорамъ купечества, мѣщанства, мелкаго чиновничества въ уѣздной глуши, — сколько удивительныхъ свѣдѣній о невѣрныхъ и поганныхъ царствахъ, сколько разказовъ о тѣхъ временахъ, когда людей жгли и мучили, когда разбойники города грабили, и т. п., — и какъ мало свѣдѣній объ европейской жизни, о лучшемъ устройствѣ быта! Даже въ такъ называемомъ образованномъ обществѣ, въ объевропеевшихся людяхъ, на множество энтузіастовъ, восхищающихся новыми парижскими улицами и мобилемъ, развѣ вы не найдете почти такое же множество солидныхъ цѣнителей, которые запугиваютъ своихъ слушателей тѣмъ, что нигдѣ, кромѣ Австріи, во всей Европѣ порядка нѣтъ и никакой управы найти нельзя!... Все это и ведетъ къ тому, что Оеклуша высказываетъ такъ положительно: „бла-алѣііе, милая, бла-алѣііе, красота дивная! Да что ужъ и говорить, — въ обѣтованной землѣ живете!“ Оно несомнѣнно такъ и выходитъ, какъ сообразить, что въ другихъ-то земляхъ дѣлается. Послушайте-ка Оеклушу:

„Говорять, такія страны есть, милая дѣвушка, гдѣ и царей-то нѣтъ православныхъ, а салтаны землей правятъ. Въ одной землѣ сидитъ на тронѣ салтанъ Махнутъ турецкій, а въ другой — салтанъ Махнутъ персидскій; а судъ творятъ они, милая дѣвушка, надъ всѣми людьми, и что ни судятъ они, все неправильно. И не могутъ они, милая дѣвушка, ни одного дѣла разсудить праведно, — такой ужъ имъ предѣлъ положенъ. У насъ законъ праведный, а у нихъ, милая, неправедный; что по нашему закону такъ выходитъ, а по ихнему все напротивъ. И всѣ судьи у нихъ, въ ихнихъ странахъ, тоже все неправедные; такъ имъ, милая дѣвушка, и въ просьбахъ пишутъ: „суди меня, судья неправедный!“ А то есть еще земля, гдѣ всѣ люди съ песьями головами“.

„За что же такъ съ песьими?“ спрашиваетъ Глаша. — „За невѣрность“, коротко отвѣчаетъ Оеклуша, считая всякія дальнѣйшія объясненія излишними. Но Глаша и тому рада; въ томительномъ однообразіи ея жизни и мысли, ей пріятно услышать сколько-нибудь новое и оригинальное. Въ ея душѣ смутно пробуждается уже мысль, „что вотъ однако же живутъ люди и не такъ, какъ мы; оно, конечно, у насъ лучше, а впрочемъ, кто ихъ знаетъ! Вѣдь и у насъ нехорошо; а про тѣ земли-то мы еще и не знаемъ хорошенько; кое-что только услышишь отъ добрыхъ людей...“ И желаніе знать побольше да поосновательнѣе закрадывается въ душу. Это для насъ ясно изъ словъ Глаши, по уходѣ странницы: „Вотъ еще какія земли есть! Какихъ-то, какихъ-то чудесъ на свѣтѣ нѣтъ! А мы тутъ сидимъ, ничего не знаемъ. Еще хорошо, что добрые люди есть: нѣтъ, нѣтъ, да и услышишь, что на бѣломъ свѣту дѣлается; а то бы такъ дураками и померли“. Какъ видите, неправедность и невѣрность чужихъ земель не возбуждаетъ въ Глашѣ ужаса и негодованія; ее занимаетъ только новое свѣдѣніе, которое представляется ей чѣмъ-то загадочнымъ, — „чудесами“, какъ она выражается. Вы видите, что она не довольствуется объясненіями

Феклуши, которыя возбуждаютъ въ ней только сожалѣніе о своемъ невѣжествѣ. Она, очевидно, на полдорогѣ къ скептицизму. Но гдѣ жъ ей сохранить свое недовѣріе, когда оно безпрестанно подрывается разказами, подобными Феклушинымъ? Какъ ей дойти до правильныхъ понятій, даже просто до разумныхъ вопросовъ, когда ея любознательность заперта въ такомъ кругѣ, который очерченъ около нея въ городѣ Калиновѣ? Да еще мало того, какъ бы она осмѣлилась не вѣрить да допытываться, когда старшіе и лучшіе люди такъ положительно успокоиваются въ убѣжденіи, что принятыя ими понятія и образъ жизни — наилучшіе въ мірѣ, и что все новое происходитъ отъ нечистой силы? Страшна и тяжела для каждаго новичка попытка итти наперекоръ требованіямъ и убѣжденіямъ этой темной массы, ужасной въ своей наивности и искренности. Вѣдь она проклянетъ насъ, будетъ бѣгать, какъ зачумленныхъ, не по злобѣ, не по расчетамъ, а по глубокому убѣжденію въ томъ, что мы сродни антихристу; хорошо еще, если только полоумнымъ сочтеть и будетъ подсмѣиваться... Она ищетъ знанія, любитъ разсуждать, но только въ извѣстныхъ предѣлахъ, предписанныхъ ей основными понятіями, въ которыхъ путается разсудокъ. Вы можете сообщить калиновскимъ жителямъ нѣкоторыя географическія знанія; но не касайтесь того, что земля на трехъ Китахъ стоитъ и что въ Иерусалимѣ есть пупъ земли — этого они вамъ не уступятъ, хотя о пупѣ земли имѣютъ такое же ясное понятіе, какъ о Литвѣ, въ „Грозѣ“. — „Это, братецъ ты мой, что такое?“ спрашиваетъ одинъ мирный гражданинъ у другого, показывая на картину. — А это литовское разореніе, отвѣчаетъ тотъ. — Литва! видишь! Какъ наши съ Литвой бились. — „Что жъ это такое Литва?“ — Такъ она Литва и есть, отвѣчаетъ объясняющій. — „А говорятъ, братецъ ты мой, она на насъ съ неба упала“, продолжаетъ первый; но собесѣднику его мало до того нужды: „Ну, съ неба такъ съ неба“, отвѣчаетъ онъ... Тутъ женщина вмѣшивается въ разговоръ: „Толкуй еще! Всѣ знаютъ, что съ неба; и гдѣ былъ какой бой съ ней, тамъ для памяти курганы насыпаны“. — А что, братецъ ты мой! Вѣдь это такъ точно! — восклицаетъ вопрошатель, вполне удовлетворенный. И послѣ этого спросите его, чтѣ онъ думаетъ о Литвѣ! Подобный исходъ имѣютъ всѣ вопросы, задаваемые здѣсь людямъ естественной любознательностью. И это вовсе не оттого, чтобы люди эти были глупѣе, безтолковѣе многихъ другихъ, которыхъ мы встрѣчаемъ въ академіяхъ и ученыхъ обществахъ. Нѣтъ, все дѣло въ томъ, что они своимъ положеніемъ, своею жизнью подъ гнетомъ произвола, всѣ приучены уже видѣть безотчетность и бессмысленность, и потому находятъ неловкимъ и даже дерзкимъ настойчиво доискиваться разумныхъ основаній въ чемъ бы то ни было. Задать вопросъ, — на это ихъ еще станетъ; но если отвѣтъ будетъ таковъ, что „пушка сама по себѣ, а мортира сама по себѣ“, то они уже не смѣютъ пытаться дальше и смиренно довольствуются даннымъ объясненіемъ. Секретъ подобнаго равнодушія къ логикѣ заключается прежде всего въ отсутствіи всякой логичности въ жизненныхъ отношеніяхъ. Ключъ этой

тайны даетъ намъ, напримѣръ, слѣдующая реплика Дикого, въ „Грозѣ“. Кулигинъ, въ отвѣтъ на его грубости, говоритъ: „За что, сударь Савель Прокофьячъ, честнаго человѣка обижать изволите?“ Дикой отвѣчаетъ вотъ что:

„Отчетъ, что ли, я стану тебѣ давать? Я и поважнѣе тебя никому отчета не даю. Хочу такъ думать о тебѣ, такъ и думаю! Для другихъ ты честный человѣкъ, а я думаю, что ты разбойникъ,—вотъ и все. Хотѣлось тебѣ это слышать отъ меня? Такъ вотъ слушай! Говорю, что разбойникъ, и конецъ! Что жъ ты судиться, что ли, со мной будешь? Такъ ты знай, что ты червякъ. Захочу—помилую, захочу—раздавлю“.

Какое теоретическое разсужденіе можетъ устоять тамъ, гдѣ жизнь основана на такихъ началахъ! Отсутствіе всякаго закона, всякой логики—вотъ законъ и логика этой жизни. Это не анархія, но нѣчто еще гораздо худшее (хотя воображеніе образованнаго европейца и не умѣетъ представить себѣ ничего хуже анархіи). Въ анархіи такъ ужъ и нѣтъ никакого начала: всякъ молодецъ на свой образецъ, никто никому не указъ, всякій на приказаніе другого можетъ отвѣчать, что я, молъ, тебя знать не хочу, и такимъ образомъ всѣ озорничаютъ и ни въ чемъ согласиться не могутъ. Положеніе общества, подверженнаго такой анархіи (если только она возможна), дѣйствительно ужасно. Но вообразите, что это самое анархическое общество раздѣлилось на двѣ части: одна оставила за собою право озорничать и не знать никакого закона, а другая принуждена признавать закономъ всякую претензію первой и безропотно сносить всѣ ея капризы, всѣ безобразія... Не правда ли, что это было бы еще ужаснѣе? Анархія осталась бы та же, потому что въ обществѣ все-таки разумныхъ началъ не было бы, озорничества продолжались бы по прежнему; но половина людей принуждена была бы страдать отъ нихъ и постоянно питать ихъ собою, своимъ смиреніемъ и угодливостью. Ясно, что при такихъ условіяхъ озорничество и беззаконіе приняли бы такіе размѣры, какихъ никогда не могли бы они имѣть при всеобщей анархіи. Въ самомъ дѣлѣ, что ни говорите, а человѣкъ одинъ, предоставленный самому себѣ, немного надурить въ обществѣ и очень скоро почувствуетъ необходимость согласиться и сговориться съ другими въ видахъ общей пользы. Но никогда той необходимости не почувствуетъ человѣкъ, если онъ во множествѣ подобныхъ себѣ находитъ обширное поле для упражненія своихъ капризовъ, и если въ ихъ зависимомъ, униженномъ положеніи видитъ постоянное подкрѣпленіе своего самодурства. Такимъ образомъ, имѣя общимъ съ анархіею отсутствіе всякаго закона и права, обязательнаго для всѣхъ, самодурство въ сущности несравненно ужаснѣе анархіи, потому что даетъ озорничеству больше средствъ и простора и заставляетъ страдать большее число людей,—и опаснѣе ея еще въ томъ отношеніи, что можетъ держаться гораздо дольше. Анархія (повторимъ, если только она возможна вообще) можетъ служить только переходнымъ моментомъ, который самъ себя съ каждымъ шагомъ долженъ образум-

ливать и приводить къ чему-нибудь болѣе здоровому; самодурство, напротивъ, стремится узаконить себя и установить, какъ незыблемую систему. Оттого оно, вмѣстѣ съ такимъ широкимъ понятіемъ о своей собственной свободѣ, старается однакоже принять всѣ возможныя мѣры, чтобы оставить эту свободу навсегда только за собой, чтобы оградить себя отъ всякихъ дерзкихъ попытокъ. Для достиженія этой цѣли оно признаетъ какъ будто нѣкоторыя высшія требованія, и хотя само противъ нихъ тоже проступается, но предъ другими стоитъ за нихъ твердо. Нѣсколько минутъ спустя послѣ реплики, въ которой Дикой такъ рѣшительно отвергалъ, въ пользу собственнаго каприза, всѣ нравственныя и логическія основанія для сужденія о человѣкѣ,—этотъ же самый Дикой напускается на Кулигина, когда тотъ для объясненія грозы выговорилъ слово электричество. „Ну, какъ же ты не разбойникъ,—кричитъ онъ:—гроза-то намъ въ наказаніе посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь пестами да рожнами какими-то, прости Господи, обороняться. Что ты, татаринъ что ли? Татаринъ ты? А, говори: татаринъ?“ И ужъ тутъ Кулигинъ не смѣетъ отвѣтить ему: „хочу такъ думать, и думаю, и никто мнѣ не указъ“. Куда тебѣ,—онъ и объясненій-то своихъ представить не можетъ: принимаютъ съ ругательствами, да и говорить-то не даютъ. Поневоля тутъ резонировать перестанешь, жогда на всякій резонъ кулакъ отвѣчаетъ, и всегда въ концѣ концовъ кулакъ остается правымъ...

Но—чудное дѣло!—въ своемъ непререкаемомъ безотвѣтственномъ темномъ владычествѣ, давая полную свободу своимъ прихотямъ, ставя ни во что всякіе законы и логику, самодуры русской жизни начинаютъ однакоже ощущать какое-то недовольство и страхъ, сами не зная передъ чѣмъ и почему. Все, кажется, по прежнему, все хорошо: Дикой ругаетъ, кого хочетъ; когда ему говорятъ: „какъ это на тебя никто въ цѣломъ домѣ угодить не можетъ!“ — онъ самодовольно отвѣчаетъ: „вотъ поди жь ты!“ Кабанова держитъ по прежнему въ страхѣ своихъ дѣтей, заставляетъ невѣстку соблюдать всѣ эти этикетныя старинныя, ѣстъ ее какъ ржа желѣзо, считаетъ себя вполне непогрѣшимой и ублажается разными Оеклушами. А все какъ-то неспокойно, нехорошо имъ. Помимо ихъ не спросясь ихъ, выросла другая жизнь, съ другими началами, и хоть далеко она, еще не видна хорошенько, но уже даетъ себя предчувствовать и посылаетъ нехорошія видѣнія темному произволу самодуровъ. Они ожесточенно ищутъ своего врага; готовы напустить на самаго невиннаго, на какого-нибудь Кулигина; но нѣтъ ни врага ни виновнаго, котораго могли бы они уничтожить: законъ времени, законъ природы и исторія беретъ свое, и тяжело дышать старые Кабановы, чувствуя, что есть сила выше ихъ, которой они одолѣть не могутъ, къ которой даже и подступить не знаютъ какъ. Они не хотятъ уступать (да никто, покажѣсть, и не требуетъ отъ нихъ уступокъ), но съжимаются, сокращаются; прежде они хотѣли утвердить свою систему

жизни навѣки нерушимую, и теперь тоже стараются проповѣдовать; но уже надежда измѣняется имъ, и они въ сущности хлопочутъ только о томъ, какъ бы на ихъ вѣкъ стало... Кабанова разсуждаетъ о томъ, что „последнія времена приходятъ“, и когда Оеклуша разсказываетъ ей о разныхъ ужасахъ настоящаго времени — о желѣзныхъ дорогахъ и т. п. — она пророчески замѣчаетъ: „и хуже, милая, будетъ“. — Намъ бы только не дожить до этого, — со вздохомъ отвѣчаетъ Оеклуша. — „Можетъ, и доживемъ“, фаталистически говоритъ опять Кабанова, обнаруживая свои сомнѣнія и неувѣренность. А отчего она тревожится? Народъ по желѣзнымъ дорогамъ ѣздить, — да ей-то что отъ этого? А вотъ видите ли: она, „хоть ты ее всю золотомъ осыпь“, не поѣдетъ по дьявольскому изобрѣтенію; а народъ ѣздить, все больше и больше, не обращая вниманія на ея проклятія; развѣ это не грустно, развѣ не служить свидѣтельствомъ ея безсилія? Объ электричествѣ провѣдали люди, — кажется, что тутъ обиднаго для Дикихъ и Кабановыхъ? Но видите ли, Дикой говорить, что „гроза въ наказанье намъ посылается, чтобъ мы чувствовали“, а Кулигинъ не чувствуетъ или чувствуетъ совсѣмъ не то, и толкуетъ объ электричествѣ. Развѣ это не своеволие, не пренебреженіе власти и значеніе Дикого? Не хотятъ вѣрить тому, чему онъ вѣритъ, — значить и ему не вѣрятъ, считаютъ себя умнѣе его; разсудите, къ чему же это поведетъ? Не даромъ Кабанова замѣчаетъ о Кулигинѣ: „вотъ времена-то пришли, какіе учителя проявились! Коли старикъ такъ разсуждаетъ, чего ужъ отъ молодыхъ-то требовать!“ И Кабанова очень серьезно огорчается будущностью старыхъ порядковъ, съ которыми она вѣкъ изжила. Она предвидитъ конецъ ихъ, старается поддержать ихъ значеніе, но уже чувствуетъ, что нѣтъ къ нимъ прежняго почтенія, что ихъ сохраняютъ уже неохотно, только поневолѣ, и что при первой возможности ихъ бросать. Она уже и сама какъ-то потеряла часть своего рыцарскаго жара; уже не съ прежней энергіей заботится она о соблюденіи старыхъ обычаевъ, во многихъ случаяхъ она ужъ махнула рукой, поникла предъ невозможностью остановить потокъ, и только съ отчаяніемъ смотритъ, какъ онъ затопляетъ мало-по-малу пестрые цвѣтники ея прихотливыхъ суевѣрій. Точно послѣдніе язычники передъ силою христіанства, такъ понижаютъ и стѣраются порожденія самодуровъ, застигнутыя ходомъ новой жизни. Даже рѣшимости вступить на прямую открытую борьбу въ нихъ нѣтъ; они только стараются какъ-нибудь обмануть время да разливаются въ безплодныхъ жалобахъ на новое движеніе. Жалобы эти всегда слышались отъ стариковъ, потому что всегда новыя поколѣнія вносили въ жизнь что-нибудь новое, противное прежнимъ порядкамъ; но теперь жалобы самодуровъ принимаютъ какой-то особенно мрачный, похоронный тонъ. Кабанова только тѣмъ и утѣшается, что еще какъ-нибудь, съ ея помощью, пролѣпятъ старые порядки до ея смерти; а тамъ пусть будетъ, что угодно, — она ужъ не увидитъ. Провожая сына въ дорогу, она замѣчаетъ, что все дѣлается не такъ, какъ

нужно по ея: сынъ ей и въ ноги не кланяется, — надо этого именно потребовать отъ него, а самъ не догадался; и женѣ своей онъ не „приказываетъ“, какъ жить безъ него, да и не умѣетъ приказать, и при прощаньи не требуетъ отъ нея земного поклона; и невѣстка, проводивши мужа, не воеетъ и не лежитъ на крыльцѣ, чтобы показать свою любовь. По возможности, Кабанова старается водворить порядокъ, но уже чувствуетъ, что невозможно вести дѣло совершенно по старинѣ; на примѣръ, относительно вытѣя на крыльцѣ она уже только замѣчаетъ невѣсткѣ въ видѣ совѣта, но не рѣшается настоятельно требовать... Зато проводы сына внушаютъ ей такіа грустныя размышленія:

„Молодость-то что значить! Смѣшно смотрѣть-то даже на нихъ! Кабы не свои, насмѣялась бы досыта. Ничего-то не знаютъ, никакого порядка. Проститься-то путемъ не умѣютъ. *Хорошо еще, у кого въ домѣ старшіе есть,*—ими домъ-то и держится, пока живы. *А вѣдь тоже, глупые, на свою волю хотятъ;* а выйдутъ на волю-то, такъ и путаются на позоръ, на смѣхъ добрымъ людямъ. Конечно, кто и пожалѣетъ, а больше все смѣются. Да не смѣяться-то нельзя; гостей позовутъ—посадить не умѣютъ, да еще, гляди, позабудутъ кого изъ родныхъ. Смѣхъ да и только! *Такъ-то вотъ старина-то и выводится.* Въ другой домъ и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, такъ плюнешь, да вонъ скорѣе. *Что будетъ, какъ старики-то перемрутъ, какъ будетъ сътъ стоять, ужъ я и не знаю. Ну, да ужъ хоть то хорошо, что не увижу ничего.*

Пока старики перемрутъ, до тѣхъ поръ молодые успѣютъ состарѣться,—на этотъ счетъ старуха могла бы и не беспокоиться. Но ей, видите ли, важно не то собственно, чтобы всегда было кому смотрѣть за порядкомъ и научать неопытныхъ; ей нужно, чтобы всегда нерушимо сохранялись именно тѣ порядки, остались неприкосновенными именно тѣ понятія, которыя она признаетъ хорошими. Въ узости и грубости своего эгоизма она не можетъ возвыситься даже до того, чтобы помириться на торжествѣ принципа, хотя бы и съ пожертвованіемъ существующихъ формъ; да и нельзя отъ нея ожидать этого, такъ какъ у нея собственно нѣтъ никакого принципа, нѣтъ никакого общаго убѣжденія, которое бы управляло ея жизнью. Она въ этомъ случаѣ гораздо ниже того сорта людей, которыхъ принято называть просвѣщенными консерваторами. Тѣ расширили нѣсколько свой эгоизмъ, сливши съ нимъ требованіе порядка общаго, такъ что для сохраненія порядка они способны даже жертвовать нѣкоторыми личными вкусами и выгодами. На мѣстѣ Кабановой они бы, на примѣръ, не стали предъявлять уродливыхъ и унижительныхъ требованій земныхъ поклоновъ и оскорбительныхъ „наказовъ“ отъ мужа женѣ, а заботились бы только о сохраненіи общей идеи, — что жена должна бояться своего мужа и покорствоваться свекрови. Невѣстка не испытывала бы такихъ тяжелыхъ сценъ, хотя и была бы точно такъ же въ полной зависимости отъ старухи. И результатъ былъ бы тотъ, что какъ бы ни плохо было молодой женщинѣ, но терпѣніе ея продолжалось бы несравненно дольше, будучи испытываемо медленнымъ

и ровнымъ гнетомъ, нежели когда оно раздражалось рѣзкими и жестокими выходками. Отсюда ясно разумѣтся, что для самой Кабановой и для той старины, которую она защищаетъ, гораздо выгоднѣе было бы отказаться отъ нѣкоторыхъ пустыхъ формъ и сдѣлать частныя уступки, чтобы удержать сущность дѣла. Но порода Кабановыхъ не понимаетъ этого, они не дошли даже до того, чтобы представлять или защищать какой-нибудь принципъ внѣ себя, — они сами принципъ, и потому все, касающееся ихъ, они признаютъ абсолютно важнымъ. Имъ нужно не только чтобы ихъ уважали, но чтобы уваженіе это выражалось именно въ извѣстныхъ формахъ: вотъ еще на какой степени стоятъ они! Оттого, разумѣтся, внѣшній видъ всего, на что простирается ихъ вліяніе, болѣе сохраняетъ въ себѣ старины и кажется болѣе неподвижнымъ, чѣмъ тамъ, гдѣ люди, отказавшись отъ самодурства, стараются уже только о сохраненіи сущности своихъ интересовъ и значенія; но въ самомъ-то дѣлѣ внутреннее значеніе самодуровъ гораздо ближе къ своему концу, нежели вліяніе людей, умѣющихъ поддерживать себя и свой принципъ внѣшними уступками. Оттого-то такъ и печальна Кабанова, оттого-то такъ и бѣшенъ Дикой: они до послѣдняго момента не хотѣли укоротить своихъ широкихъ замашекъ, и теперь находятся въ положеніи богатаго купца накануне банкротства. Все у него по прежнему: и праздникъ онъ задаетъ сегодня, и миллионный оборотъ порѣшилъ поутру, и кредитъ еще не подорванъ; но уже ходятъ какіе-то темныя слухи, что у него нѣтъ наличнаго капитала, что его аферы не надежны, и завтра нѣсколько кредиторовъ намѣчены предъявить свои требованія; денегъ нѣтъ, отсрочки не будетъ, и все зданіе шарлатанскаго призрака богатства будетъ завтра опрокинуто. Дѣло плохо... разумѣтся въ подобныхъ случаяхъ, купецъ устремляетъ всю свою заботу на то, чтобы надуть своихъ кредиторовъ и заставить ихъ вѣрить въ его богатство: такъ точно Кабановы и Дикіе хлопчутъ теперь о томъ, чтобы только продолжилась вѣра въ ихъ силу. Поправить свои дѣла они ужъ и не рассчитываютъ; но они знаютъ, что ихъ своеволие еще будетъ имѣть довольно простора до тѣхъ поръ, пока всѣ будутъ робѣть передъ ними; и вотъ почему они такъ упорны, такъ высокомерны, такъ грозны даже въ послѣднія минуты, которыхъ уже немного осталось имъ, какъ они сами чувствуютъ. Чѣмъ менѣе чувствуютъ они дѣйствительной силы, тѣмъ сильнѣе поражаетъ ихъ вліяніе свободнаго, здраваго смысла, доказывающее имъ, что они лишены всякой разумной опоры, тѣмъ наглѣе и безумнѣе отрицаютъ они всякія требованія разума, ставя себя и свой произволь на ихъ мѣсто. Наивность, съ которою Дикой говоритъ Кулигину: „хочу считать тебя мошенникомъ, такъ и считаю; и дѣла мнѣ нѣтъ до того, что ты честный человекъ, и отчета никому не даю, почему такъ думаю“, — эта наивность не могла бы высказаться во всей своей самодурной нелѣпости, если бы Кулигинъ не вызвалъ ея скромнымъ запросомъ: „да за что же вы обижаете чест-

наго человѣка?...“ Дикой хочетъ, видите, съ перваго же раза обрвать всякую попытку требовать отъ него отчета, хочетъ показать, что онъ выше не только отчетности, но и обыкновенной логики человѣческой. Ему кажется, что если онъ признаетъ надъ собою законы здраваго мысла, общаго всѣмъ людямъ, то его важность сильно пострадаетъ отъ этого. И вѣдь въ большей части случаевъ такъ дѣйствительно и выходитъ, — потому что его претензіи бывають противны здравому смыслу. Отсюда и развивается въ немъ вѣчное недовольство и раздражительность. Онъ самъ объясняетъ свое положеніе, когда говоритъ о томъ, какъ ему тяжело деньги выдавать. „Что ты мнѣ прикажешь дѣлать, когда у меня сердце такое! Вѣдь ужъ знаю, что надо отдать, а все добромъ не могу. Другъ ты мнѣ, и я тебѣ долженъ отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдамъ, отдамъ, а обругаю. Потому только заикнись мнѣ о деньгахъ, у меня всю нутреную разжигать станеть; всю нутреную разжигаетъ, да и только... Ну, и въ тѣ поры ни за что обругаю человѣка“. Отдача денегъ, какъ фактъ матеріальный и наглядный, даже въ сознаниі самого Дикого пробуждаетъ нѣкоторое размышленіе: онъ сознаетъ, какъ онъ нелѣпъ, и сваливаетъ вину на то, что „сердце у него такое!“ Въ другихъ случаяхъ онъ даже и не сознаетъ хорошенько своей нелѣпости; но, по сущности своего характера, непремѣнно долженъ при всякомъ торжествѣ здраваго смысла чувствовать такое же раздраженіе, какъ и тогда, когда приходитъ необходимость выдавать деньги. Ему тяжело расплачиваться вотъ почему: по естественному эгоизму онъ желаетъ, чтобы ему было хорошо; все окружающее его убѣждаетъ, что это хорошее достается деньгами; отсюда прямая привязанность къ деньгамъ. Но тутъ его развитіе останавливается, эгоизмъ его остается въ предѣлахъ отдѣльной личности и знать не хочетъ ея отношеній къ обществу, къ своимъ ближнимъ. Ему надо побольше денегъ, — это онъ знаетъ, и потому желалъ бы ихъ получать, а не отдавать. Когда же, по естественному ходу дѣлъ, доходитъ до отдачи, то онъ сердится и ругается: онъ принимаетъ это какъ несчастіе, наказаніе, въ родѣ пожара, наводненія, штрафа, а не какъ должную, законную расплату за то, что для него дѣлають другіе. Такъ и во всемъ: по желанію себѣ добра, онъ хочетъ простора, независимости; но знать не хочетъ закона, опредѣляющаго пріобрѣтеніе и пользованіе всякими правами въ обществѣ. Онъ только хочетъ больше, какъ можно больше, правъ для себя; когда же нужно признать ихъ и за другими, онъ считаетъ это посягательствомъ на его личное достоинство и сердится и старается всячески оттянуть дѣло и воспрепятствовать ему. Даже когда онъ и знаетъ, что уже непремѣнно надо уступить, и уступить потомъ, а все-таки прежде постарается напакостить. „Я отдамъ, — отдамъ, а обругаю!“ И надо полагать, что чѣмъ значительнѣе выдача денегъ и чѣмъ настоятельнѣе необходимость ея, тѣмъ сильнѣе ругается Дикой.. Изъ этого слѣдуетъ, что, во-первыхъ, ругательство и все бѣшенство его хотя и непріятны, но не особенно страшны, и кто, убоявшись ихъ, отсту-

пился бы отъ денегъ и подумалъ, что ихъ ужъ и получить нельзя, тотъ поступилъ бы очень глупо; во-вторыхъ, что напрасно было бы надѣяться на исправленіе Дикого посредствомъ какихъ-нибудь вразумленій: привычка дурить ужъ въ немъ такъ сильна, что онъ подчиняется ей даже вопреки голосу собственнаго здраваго смысла. Ясно, что его никакія разумныя убѣжденія не останавливаютъ до тѣхъ поръ, пока съ ними не соединяется осязательная для него внѣшняя сила: Кулигина онъ ругаетъ, не внимая никакимъ резонамъ; а когда его самого однажды на перевозѣ, на Волгѣ, гусарь обругалъ, такъ онъ съ гусаромъ не посмѣлъ связаться, а опять-таки выместилъ свою обиду дома: двѣ недѣли послѣ этого всѣ прятались отъ него по чердакамъ да по чуланамъ...

Всѣ подобныя отношенія даютъ вамъ чувствовать, что положеніе Дикихъ, Кабановыхъ и всѣхъ подобныхъ ему самодуровъ далеко уже не такъ спокойно и твердо, какъ было нѣкогда, въ блаженные времена патриархальныхъ нравовъ. Тогда, если вѣрить сказаніямъ старыхъ людей, Дикой могъ держаться въ своей высокомерной прихотливости, не силою, а всеобщимъ согласіемъ. Онъ дурилъ, не думая встрѣтить противодѣйствія, и не встрѣчалъ его: все окружающее было проникнуто одной мыслью, однимъ желаньемъ — угодить ему; никто не представлялъ другой цѣли своего существованія, кромѣ исполненія его прихотей. Чѣмъ больше сумасбродствовалъ какой-нибудь дармождъ, чѣмъ наглѣе попиралъ онъ права человѣчества, тѣмъ довольнѣе были тѣ, которые своимъ трудомъ кормили его и которыхъ онъ дѣлалъ жертвами своихъ фантазій. Благоговѣйные рассказы старыхъ лакеевъ о томъ, какъ ихъ вельможные бары травили мелкихъ помѣщиковъ, надругались надъ чужими женами и невинными дѣвушками, сѣкли на конюшнѣ присланныхъ къ нимъ чиновниковъ и т. п., рассказы военныхъ историковъ о величіи какого-нибудь Неполеона, безстрашно жертвовавшего сотнями тысячъ людей для забавы своего генія, воспоминанія галантныхъ стариковъ о какомъ-нибудь Донъ-Жуанѣ ихъ времени, который „никому спуску не давалъ“ и умѣлъ опозорить всякую дѣвушку и перессорить всякое семейство, — всѣ подобныя рассказы доказываютъ, что еще и не очень далеко отъ насъ это патриархальное время. Но, къ великому огорченію самодуровъ-дармождовъ, — оно быстро отъ насъ удаляется, и теперь положеніе Дикихъ и Кабановыхъ далеко не такъ приятно: они должны заботиться о томъ, чтобы укрѣпить и оградить себя, потому что отсюда возникаютъ требованія, враждебныя ихъ произволу и грозящія имъ борьбою съ пробуждающимся здравымъ смысломъ огромнаго большинства человѣчества. Отсюда возникаетъ постоянная подозрительность, щепетильность и придирчивость самодуровъ: сознавая внутренне, что ихъ не за что уважать, но не признаваясь въ этомъ даже самимъ себѣ, они обнаруживаютъ недостатокъ увѣренности въ себѣ мелочностью своихъ требованій и постоянными, кстати и некстати, напоминаніями и внушеніями о томъ, что ихъ должно уважать. Эта черта чрезвычайно выразительно проявляется въ „Грозѣ“, въ сценѣ Кабановой

съ дѣтьми, когда она въ отвѣтъ на покорное замѣчаніе сына: „могу ли я маменька, васъ послушаться“, возражаетъ: „не очень-то нынче старшихъ-то уважають!“ — и затѣмъ начинаетъ пилить сына и невѣстку, такъ что душу вытягиваетъ у посторонняго зрителя.

КАБАНОВЪ. Я, кажется, маменька, изъ вашей воли ни на шагъ.

КАБАНОВА. Повѣрила бы я тебѣ, мой другъ, кабы своими глазами не видала да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтеніе родителямъ отъ дѣтей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болѣзней отъ дѣтей переносятъ.

КАБАНОВЪ. Я, маменька...

КАБАНОВА. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажетъ, такъ, я думаю, можно бы перенести! А,—какъ ты думаешь?

КАБАНОВЪ. Да когда же я, маменька, не переносилъ отъ васъ?

КАБАНОВА. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны съ насъ, дураковъ, и взыскивать.

КАБАНОВЪ (вздыхая, — въ сторону). Ахъ ты Господи! (матери) Да смѣемъ ли мы, маменька, подумать!

КАБАНОВА. Вѣдь отъ любви родители и строги-то къ вамъ бываютъ, отъ любви васъ и бранятъ-то, все думаютъ добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдутъ дѣтки-то по людямъ славить, что мать ворчунья, что мать проходу не даетъ, со свѣту сживаетъ... А сохрани Господи, какимъ-нибудь словомъ снохѣ не угодить, — ну, и пошелъ разговоръ, что свекровь заѣла совсѣмъ.

КАБАНОВЪ. Нешто, маменька, кто говорить про васъ?

КАБАНОВА. *Не слыхала, мой другъ, не слыхала, мать не точу. Ужъ кабы я слыхала, я бы съ тобой, мой милый, тогда не такъ заговорила.*

И послѣ этого сознанія старуха все-таки продолжаетъ на цѣлыхъ двухъ страницахъ пилить сына. Она не имѣетъ на это никакихъ резоновъ, но у ней сердце неспокойно; сердце у нея вѣщунъ, оно даетъ ей чувствовать, что что-то неладно, что внутренняя, живая связь между нею и младшими членами семьи давно рушилась, и теперь они только механически связаны съ нею и рады были бы всякому случаю развязаться.

Добролюбовъ.

Владыки и рабы въ „Грозѣ“.

Міръ поэзіи Островскаго одна изъ самыхъ рѣзкихъ особенностей русской жизни. Этотъ міръ давно названъ „темнымъ царствомъ“, и не найти на землѣ ничего похожаго на это царство. Непреодолимая стѣна предрасудковъ, суевѣрія, дикихъ инстинктовъ окружаетъ его, и ни одному лучу свѣта, ни одной благородной мысли не пробиться за эту стѣну. Волны жизни катятся мимо нея. Людскія страданія и радости, побѣды и паденія, борьба истины и заблужденій проходятъ, не возбуждая ни мысли ни сочувствія у жителей этого царства. Обычныя движенія человѣческаго сердца невѣдомы имъ. Подавить личность и превратить человѣка въ безотвѣтную жертву самодурства они зовутъ любовью; слѣпое подчиненіе вѣковому невѣжеству называютъ мудростью; вѣчный трепетъ слабыхъ и дикую разнуздан-

ность сильныхъ признають идеальнымъ порядкомъ въ мірѣ. И пусть въ чьей-нибудь головѣ промелькнетъ самостоятельная мысль, въ чьемъ-нибудь сердцѣ родится искренное чувство, страшною грозой ополчится все „темное царство“ и не найдетъ достаточно проклятій и мукъ, чтобы покарать зародышъ сознательной жизни. Густыя тучи умственного мрака висятъ надъ людьми, и горе тому, кто захочетъ разорвать ихъ покровъ и вздохнуть голубымъ небомъ. Да, нигдѣ въ цивилизованномъ мірѣ нѣтъ еще такого края, такихъ людей. Нигдѣ съ такимъ ожесточеніемъ не гонятъ все, чѣмъ красна человѣческая жизнь; нигдѣ такъ беззавѣтно не поносятъ и не скверняютъ божественныхъ силъ человѣческаго духа.

Этотъ край, этихъ людей поэтъ избралъ предметомъ своего творчества. Съ самоотверженіемъ патріота рассказалъ онъ намъ ихъ исторію, раскрылъ предъ нами тайны тюрьмы, гдѣ вѣками томятся наши сограждане, и блѣскомъ своего генія освѣтилъ на общій позоръ ихъ язвы.

„Гроза“ самая мрачная книга этой исторіи. Нигдѣ еще въ такой наготѣ не нарисованы владыки и рабы темнаго царства, нигдѣ съ такимъ трагизмомъ не рассказано торжество сильныхъ и гибель ихъ жертвъ.

Передъ нами всѣ элементы этого удивительнаго міра. Дикой и Кабанова—столпы, на которыхъ держится „темное царство“; они хранители его традицій, они его цари. Они оба неограниченные повелители своего царства. Но власть Дикого характеризуется болѣе всего полнѣйшей разнузданностью, ничѣмъ и никѣмъ не сдерживаемыхъ инстинктовъ деспота; власть Кабанихи — утонченной жестокостью, истинно-артистическимъ талантомъ палача по каплѣ выматывать жизнь изъ своей жертвы. Дикой жестокъ въ силу своего темперамента; дикость — его инстинктъ, его натура. Кабаниха мучитъ людей соп амоге. Атмосфера стонów и пытки для нея истинное наслажденіе, и она съ постоянствомъ и любовью художника вѣчно воспроизводитъ эту атмосферу съ самыми тонкими деталями. Дикой — непосредственный продуктъ „темнаго царства“; Кабаниха — послѣднее слово его культуры. Ихъ нравственная жизнь исчерпывается сознаниемъ неограниченной власти надъ окружающимъ міромъ. Это сознание вѣчно преслѣдуетъ и, какъ будто, мучитъ ихъ, пока не отыщеть жертвы. Это своего рода ненасытный инстинктъ хищнаго звѣря, и чѣмъ больше этотъ звѣрь истребляетъ пищи, тѣмъ сильнѣй развивается его аппетитъ. Имъ овладѣваетъ настоящая манія все попираť ногами, терзать безъ конца все безотвѣтное и слабое. Апогей этого безумія — желаніе римскаго деспота видѣть родъ человѣческой съ одной головой, чтобы сразу уничтожить его. Въ „Грозѣ“ это нравственное искаженіе слышится въ крикѣ Дикого, что всѣ ему должны покоряться; оно поражаетъ насъ ужасомъ въ угрозѣ Кабанихи проклясть сына, если онъ побѣжитъ спасать жену.

Остальные герои „Грозы“ — подданные этихъ двухъ владыкъ. Одни изъ нихъ прекрасно чувствуютъ себя въ этомъ мірѣ рабства и

безличія. Они даже составляют его идейную силу. Такова странница Оеклуша. Это одно изъ самыхъ характерныхъ лицъ нашей пьесы. Безъ Оеклуши мы знали бы лишь небольшую долю всего, чѣмъ живутъ наши герои. На Оеклушѣ въ сущности зиждется идеальный строй „темнаго царства“. Она источникъ знанія и опора нравственнаго міросозерцанія нашихъ героевъ. Ея разсказовъ одинаково заслушиваются Кабаниха и Глаша.

Для Катерины бесѣды и стихи странницъ одно изъ розовыхъ воспоминаній дорогаго прошлаго. Вслушайтесь въ бесѣду Кабанихи съ Оеклушей. Какое глубокое значеніе въ жалобахъ странницы на суету людскую, на то, что не всѣ живутъ „прохладно и благочинно“. Въ этихъ словахъ весь своеобразный консерватизмъ „темнаго царства“, поддерживающій самые дикіе предрасудки. Разсказъ странницы о нѣкоемъ „черномъ“, сѣющемъ плевелы, не менѣе характеренъ для „бла-алѣйна“ купеческой жизни. Страхъ — преобладающій элементъ во взаимныхъ отношеніяхъ нашихъ героевъ — и религіозное чувство одушевляется страхомъ предъ кознями злого духа и небесной карой, вѣчно грозящей людямъ за грѣхи. Оеклуша, слѣдовательно, не принимая никакого участія въ интригѣ пьесы, является въ высшей степени важнымъ лицомъ для уясненія нравственнаго содержанія „темнаго царства“.

Другія дѣйствующія лица находятся далеко не въ такомъ завидномъ положеніи, какъ страдница. На нихъ практически осуществляются идеи, которыми проникнута сама проповѣдница и ея духовныя дѣти. Тихонъ, Борисъ, Катерина служатъ пищей для самодурскихъ инстинктовъ, царствующихъ въ этомъ мірѣ.

Самой жалкой жертвой изъ этихъ трехъ несчастныхъ является, несомнѣнно, Катерина. Судьба этой женщины и среда, ее погубившая, вызвали у одного изъ даровитѣйшихъ нашихъ критиковъ взглядъ, гораздо болѣе искренній, чѣмъ справедливый. Всѣмъ извѣстенъ эпитетъ, данный Катеринѣ Добролюбовымъ: „лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“. Критикъ считаетъ жену Тихона „рѣшительнымъ, цѣльнымъ русскимъ характеромъ“, въ ея существованіи видитъ „новое движеніе народной жизни“. Катерина, по мнѣнію Добролюбова, „исполнена вѣры въ новые идеалы“. „Въ лицѣ ея совершается рѣшительный разрывъ съ старыми, нелѣпыми и насильственными отношеніями жизни“. Критикъ особенно восхищенъ тѣмъ, что весь этотъ протестъ „инстинктивенъ“, истекаетъ не изъ разсудка, не изъ увлеченія идеей, а изъ „натуры“. Критикъ упоминаетъ о какихъ-то „великихъ ораторахъ“, измѣнявшихъ идеѣ, насмѣхается надъ „азартомъ въ пользу идеи“, который по мнѣнію Добролюбова, „гораздо ниже и слабѣе того простого, инстинктивнаго, неотразимаго влеченія, которое управляетъ поступками личностей въ родѣ Катерины, даже и не думающихъ ни о какихъ высокихъ идеяхъ“. При всемъ уваженіи къ таланту критика нельзя не признать, что насмѣшка его надъ „азартомъ въ пользу идеи“ звучитъ довольно странно въ устахъ человѣка, нападающаго

на царство, сильное одними инстинктами, „темное“ именно благодаря отсутствию идейной жизни, а защиту „инстинктивныхъ влеченій“ и движеніе логической дѣятельности ума мы рѣшительно отказываемся понять. Инстинктъ никогда не былъ и не будетъ орудіемъ культуры. Идеи и „азартъ“ въ пользу ихъ единственные двигатели по пути прогресса. Одно лишь солнце просвѣщенія можетъ разогнать тучи „темнаго царства“, и живуче только то, что входитъ въ сознание людей, что становится ихъ вѣрой, убѣжденіемъ. И только съ этимъ оружіемъ можно протестовать и бороться противъ Дикихъ и Кабанихъ. А съ инстинктомъ лишь можно „бѣжать отъ губителей и обидчиковъ“. Это, по замѣчанію самого же критика, и дѣлаетъ Катерина, „боащаяся за каждую мысль свою“. Мы этимъ вовсе не хотимъ винить Катерину въ томъ, что она утопилась, а не вступила въ борьбу съ врагами. Она и не могла этого сдѣлать, именно потому, что у нея не было „азарта въ пользу идеи“, а самое обыкновенное чувство любви къ молодому человѣку, болѣе интересному, чѣмъ ея мужъ. Мы знаемъ, напр. изъ Шекспира, что и чувство любви вызываетъ женщинъ на героическіе подвиги, но вѣдь какихъ женщинъ! Не тѣхъ, въ чьихъ жилахъ течетъ кровь прародителей „темнаго царства“, не тѣхъ, которыя заслушиваются странницъ и грезятъ картинами, навѣянными болтовней этихъ просвѣтительницъ подневольнаго міра, не тѣхъ, которыя приходятъ въ смертный трепетъ при возгласахъ полоумной старухи, — короче, не тѣхъ, у кого нѣтъ „логическихъ идей ума“, а одна лишь горячая кровь. Катерина со своей прелестью дѣвической мечтательности рассказываетъ Варварѣ о своей ранней молодости; но вѣдь это вовсе не дѣлаетъ ея „лучомъ“ въ „темномъ царствѣ“, все равно какъ ея разговоръ съ Варварой о томъ, что она убѣжитъ когда не захочетъ жить въ домѣ Кабановыхъ, нисколько не говоритъ объ „истинной силѣ характера, на которую во всякомъ случаѣ можно положиться“. Всякому извѣстно, что отчаяніе самый несомнѣнный признакъ безхарактерности, а Катерина именно подъ влияніемъ этого чувства собирается броситься въ Волгу или убѣжать. Добролюбовъ по этому поводу восклицаетъ: „Вотъ высота, до которой доходитъ наша народная жизнь“!... Ничего не было бы жалче нашего народа, еслибы онъ не ушелъ дальше „инстинкта“ Катерины и ея способности утопиться. Такой народъ былъ бы мертвымъ капиталомъ на поприщѣ культуры, гдѣ требуются не бѣгство и не самоубійство, а борьба, не инстинктъ, который слѣпъ и можетъ привести куда угодно: все зависитъ отъ темперамента и условій, а то безкорыстное увлеченіе идеей, которое только, по словамъ Канта, и доказываетъ возможность прогресса человѣческаго рода¹⁾. Катерина, по замѣчанію самого Добролюбова, не думаетъ о сопротивленіи, потому что не имѣетъ достаточно основаній для этого. Вотъ это совершенно вѣрно и вполне убѣдительно въ томъ отношеніи, что Катерина никакимъ „лучомъ“

¹⁾ „Streit der Facultäten“ Leipzig, 1888, X.

свѣта въ темномъ царствѣ“ не могла быть. Она просто одна изъ безчисленныхъ жертвъ этого царства. Она не только не противорѣчить его основамъ, но доказываетъ ихъ силу, и не одной смертью своей, а именно своимъ характеромъ, „инстинктивностью своей натуры“, „не имѣющей достаточно оснований для сопротивленія“, „боязнь за каждую свою мысль“. Катерина въ полномъ смыслѣ продуктъ „темнаго царства“, даже болѣе, чѣмъ Варвара. Для этой не имѣютъ значенія пророчества сумасшедшей барыни, она совершенно не понимаетъ галлюцинацій, навѣянныхъ стихами Страницъ. Варвара скорѣе „лучъ“, такъ какъ она выше предрасудковъ и многихъ суевѣрій окружающихъ ее людей, между тѣмъ какъ Катерина, при всей своей страсти, не рѣшилась бы сама видѣться съ Борисомъ. Мы, конечно, признаемъ всю симпатичность мечтательной и страстной женщины, но отказываемся совершенно признать какое-нибудь вліяніе этого характера въ дѣлѣ просвѣщенія „темнаго царства“.

Ивановъ.

Драматическій элементъ въ личности Екатерины.

Восьмого сентября¹⁾ на сценѣ Малаго театра состоялось восемьдесятъ первое представленіе драмы Островскаго „Гроза“. На долю этой пьесы выпала наиболѣе счастливая популярность: именно она, не въ примѣръ другимъ произведеніямъ знаменитаго драматурга, довольно часто идетъ на московской сценѣ, и она же чаще всего подвергалась обсужденію въ литературѣ. У читателей и у зрителей особенно много разнообразныхъ представленій и воспоминаній связано съ однимъ изъ лучшихъ созданій творческаго таланта Островскаго, — съ Катериной. Публика, которой такъ рѣдко удается видѣть на сценѣ Малаго театра пьесы Островскаго, всегда удѣляетъ самое пристальное вниманіе спектаклямъ талантливѣйшаго московскаго драматурга, такъ несправедливо забытаго нашей классической сценой. Представленіе „Грозы“ должно было возбудить на этотъ разъ еще другой интересъ. Пьеса въ главнѣйшихъ роляхъ была обставлена новыми молодыми исполнителями. Эти исполнители, и особенно исполнительницы, не въ первый разъ появлялись предъ публикой въ „Грозѣ“; въ такомъ же составѣ „Гроза“ шла еще весною, въ минувшемъ сезонѣ. Тѣмъ интереснѣе было оцѣнить уже не свѣжіе результаты новыхъ толкованій популярнѣйшихъ на московской сценѣ ролей.

На первомъ планѣ среди этихъ ролей стоитъ, конечно, роль Екатерины. Катерина — героиня въ высшей степени своеобразная. У Островскаго она встрѣчается единственный разъ и во всѣхъ произведеніяхъ, имѣющихъ дѣло съ коренной русской жизнью, больше этотъ образъ не повторяется. Независимо отъ драматическаго положенія Екатерины, она представляетъ большой психологическій интересъ.

¹⁾ Статья напечатана въ 1892 г.

Она, выросшая во тьмѣ, должна хранить въ себѣ какіе то ей самой непонятные порывы, что-то романтическое, совершенно чуждое общему складу окружающей жизни. Она рвется изъ дѣйствительности куда-то въ даль, прекрасную, неотразимо влекущую, но неразгаданную ни для нея ни для тѣхъ, кто видитъ эти стремленія. Ей тѣсно и душно. Ей хотѣлось бы полетѣть — куда и зачѣмъ, — у нея нѣтъ отвѣта. Въ средѣ, гдѣ она выросла, единственный источникъ удовлетворенія духовныхъ стремленій и порывовъ — религія, и она будетъ самымъ жизненнымъ нервомъ въ нравственномъ мірѣ Катерины. Она религіозна по инстинкту, потому что одно видимое и матеріальное не удовлетворяетъ ея природы. Религіозность — обильнѣйшій источникъ радости и причина глубочайшихъ огорченій Катерины. Радости были, когда совѣсть была чиста и спокойна — въ годы яснаго, беззаботнаго дѣтства. Огорченія пришли вмѣстѣ съ рабствомъ, вмѣстѣ съ невольной измѣной тому, что Катерина привыкла считать правдой и добродѣтелью.

Авторъ какъ нельзя яснѣе отмѣтилъ эту господствующую ноту въ душѣ Катерины. Въ первой же сценѣ онъ заставилъ ее рассказать о дѣтствѣ и первыхъ годахъ молодости. Все счастье этихъ лѣтъ наполнено религіозными грезами, видѣніями, молитвами, слезами. Высшимъ наслажденіемъ Катерины была молитва, — молитва совершенно безкорыстная, безотчетная, молитва безъ словъ. „И объ чемъ я молилась тогда“, рассказываетъ Катерина, „чего просила — не знаю; ничего мнѣ не надобно, всего у меня было довольно“...

Драматическіе моменты въ теченіе всей жизни Катерины будутъ создаваться религіознымъ чувствомъ, теперь только не чувствомъ счастья, а смертельнаго ужаса, трепета предъ гнѣвомъ небесъ. Катерина полюбила человѣка ей посторонняго, — и въ этомъ прежде всего грѣхъ предъ Богомъ; любовь именно, какъ грѣховное дѣло, страшитъ Катерину, а не какъ вѣчно, совершенно необычное, недопустимое въ семьѣ, въ которой она живетъ. Да она и неособенно и боится этой семьи: она несравненно смѣлѣе, чѣмъ ея мужъ, ведетъ себя съ Кабанихой, а въ случаѣ крайности она можетъ и убѣжать. Варвара лучше всѣхъ понимаетъ ее и вѣритъ, что съ нея все можетъ стать. Отчасти это сознаетъ даже Кабаниха. Она только мимоходомъ и при случаѣ „ѣсть“ невѣстку, между тѣмъ какъ надъ сыномъ она изощряется ежеминутно. Кабаниху сдерживаетъ будто невольная боязнь чего-то ей неизвѣстнаго, „чуднаго“, но органически сильнаго, личнаго, — совершенно отсутствуетъ у безотвѣтнаго Тихона и вообще у всѣхъ жертвъ самодурной старухи.

Это личное все ярче и ярче разгорается въ душѣ Катерины. Настоящая гроза начинаетъ терзать ея сердце, гроза — скрытая, тайная, гроза, о которой поэтъ сказалъ:

Нѣтъ чувства мучительнѣй тайной грозы. Катерина долго одна выносить муки преступнаго увлеченія. Варвара неожиданно вызываетъ у нея сознаніе, но эта откровенность — результатъ порыва, это —

невольный крикъ наболѣвшаго чувства. Вопль вырвется — и Катерина еще глубже уйдетъ въ себя, еще мучительнѣе почувствуетъ свой грѣхъ, еще напряженнѣе сбѣлается каждая минута ея существованія, еще нервнѣе будетъ звучать ея голосъ и по временамъ будетъ охватывать безотчетный неотвязный ужасъ. Авторъ въ высшей степени удачно связалъ эти настроенія съ грозой, съ появленіями сумасшедшей старухи. Въ эти минуты душевная гроза Катерины отвѣчаетъ страшными взрывами на внѣшніе факты. Промежутки между этими взрывами — затишье, но только извнѣ: внутри агонія совершается непрерывно, пока, наконецъ, не переходитъ въ настоящій предсмертный бредъ и обрывается катастрофой.

Всю драму Катерины можно сравнить съ душнымъ томительнымъ лѣтнимъ днемъ, который оканчивается бурей. Разница только въ томъ, что послѣ бури въ природѣ настаетъ прохлада и сіяетъ ясное небо, — для Катерины же нѣтъ покоя и просвѣта. Даже ночью ей нѣтъ отдыха: ее и во снѣ „врагъ смущаетъ“. И она всѣми силами таитъ эти муки, хочетъ терпѣть во что бы то ни стало, но она сама знаетъ, что терпѣніе можетъ оборваться, и тогда окончательный и самый страшный взрывъ на жизнь и смерть. И Катеринѣ не совладать съ собой. Она это знаетъ, и совершенно напрасно хочетъ связать себя клятвой. Ея неуходившееся сердце, какъ выражается Варвара, — порветъ всѣ путы, преступитъ всѣ запреты противъ ея воли и разсудка. Она побѣдитъ даже на время ея религіозное чувство.

Изъ всего этого ясно, какимъ путемъ должно совершиться воплощеніе Катерины на сценѣ. Это одна изъ самыхъ трудныхъ ролей, какія вообще есть въ драматическомъ репертуарѣ, — и трудна эта роль прежде всего по отсутствію внѣшнихъ проявленій драмы. Катерина невыносимо страдаетъ, но и по характеру и по внѣшнимъ условіямъ эти страданія — ея тайна, она боится выдать ихъ. „Отъ тебя слова не добьешься“, говоритъ ей мужъ. Еще меньше, конечно, Катерина говоритъ съ свекровью. Только Варвара умѣетъ вызвать ее на откровенность, — и то совершенно случайно — Катерина за минуту и не подозрѣваетъ, что ея тайна будетъ открыта. Вотъ эту-то жизнь въ самой себѣ, эти жгучія муки — невысказанныя, непонятныя, не облегченныя ни слезами ни признаніями — должна раскрыть артистка. И какъ? Менѣе всего при помощи какихъ бы то ни было внѣшнихъ эффектовъ, хитрой драматической игры. Нѣтъ, зритель долженъ почувствовать всю глубину и оригинальную силу Катерины безъ словъ и жестовъ, какъ чувствуетъ ее Кабаниха, хотя, навѣрное Катерина извнѣ ведетъ себя съ свекровью совершенно спокойно и покорно. Какъ этого можетъ достигнуть артистка? Здѣсь тайна не искусства, а всей натуры, врожденной драматической силы артистки. И эта сила разъ она присутствуетъ на сценѣ, немедленно, точно электрическій токъ, сообщается зрительной залѣ, — и зрители, не отрывая глаза, будутъ слѣдить за каждымъ взглядомъ, за мимолетнымъ подавленнымъ вздохомъ, за судорожнымъ, на половину прерваннымъ

жестомъ исполнительницы. Мельчайшія частности не ускользнуть отъ нашего вниманія: цѣльный, точно изваянный образъ будетъ влечь насъ сконцентрированной мощною силою. Только такая сила и можетъ создать правдивый истинно-драматическій образъ Катерины. Если же эту своеобразную глубокую личность разбить на множество отдѣльныхъ сценическихъ явленій, такъ сказать разжидить ее обычными приѣмами драматической техники, отъ дѣйствительной роли Катерины не останется и слѣда: предъ нами будетъ просто шаблонная героиня одной изъ сотни современныхъ драмъ.

Изъ журнала „Артистъ“ на 1892 г. № 73.

Смѣлость плана, драматическое движеніе и законченность характеровъ въ „Грозѣ“.

Не опасаясь обвиненія въ преувеличеніи, могу сказать по совѣсти, что подобнаго произведенія, какъ драмы, въ нашей литературѣ не было. Она безспорно занимаетъ и, вѣроятно, долго будетъ занимать первое мѣсто по высокимъ классическимъ красотамъ. Съ какой бы стороны она ни была взята, — со стороны ли плана созданія, или драматическаго движенія, или, наконецъ, характеровъ, всюду запечатлѣна она силою творчества, тонкостью наблюдательности и изяществомъ отдѣлки.

Прежде всего она поражаетъ смѣlostью созданія плана: увлеченіе нервной страстной женщины и борьба съ долгомъ, паденіе, раскаяніе и тяжкое искупленіе вины, — все это исполнено живѣйшаго драматическаго интереса и ведено съ необычайнымъ искусствомъ и знаніемъ сердца. Рядомъ съ этимъ, авторъ создалъ другое типическое лицо, дѣвушку, падающую сознательно и безъ борьбы, на которую тупая строгость быта, среди котораго она родилась и выросла, подѣйствовали, какъ и ожидать слѣдуетъ, превратно, т.-е. повели ее веселымъ путемъ порока, съ единственнымъ, извлеченнымъ изъ даннаго воспитанія правиломъ: лишь бы все было шито да крыто. Мастерское сопоставленіе этихъ двухъ главныхъ лицъ въ драмѣ, развитіе ихъ натуръ, законченность характеровъ, — одни давали бы произведенію Островскаго первое мѣсто въ драматической литературѣ.

Но сила таланта повела автора дальше. Въ той же драматической драмѣ улеглась широкая картина національнаго быта и нравовъ, съ безпримѣрною художественною полнотою и вѣрностью. Всякое лицо въ драмѣ есть типическій характеръ, выхваченный прямо изъ среды народной жизни, облитый яркимъ колоритомъ поэзіи и художественной отдѣлки, начиная съ богатой вдовы Кабановой, въ которой воплощенъ слѣпой, завѣщанный преданіями деспотизмъ, уродливое пониманіе долга и отсутствіе всякой человѣчности, — до ханжи Оеклуши. Авторъ далъ цѣлый, разнообразный міръ живыхъ, существующихъ на каждомъ шагу личностей.

Языкъ дѣйствующихъ лицъ какъ въ этой драмѣ, такъ и во всѣхъ произведеніяхъ Островскаго, давно всѣми оцѣненъ по достоинству, какъ языкъ художественно-вѣрный, взятый изъ дѣйствительности какъ и самыя лица, имъ говоряція.

Гончаровъ.

Содержаніе комедіи: „Бѣдность не порокъ“, бичуемое ею зло, художественное и общественное ея значеніе.

Критикъ нашей рѣдко достается удовольствіе говорить о литературныхъ явленіяхъ, далеко выходящихъ изъ ряда обыкновенныхъ. Поэтому читатель, конечно, пойметъ то удовольствіе, съ какимъ мы приступаемъ къ разбору новой комедіи А. Н. Островскаго, вносящаго каждымъ произведеніемъ своимъ цѣнный и долговѣчный вкладъ въ сокровищницу русской литературы. По поводу новой комедіи даровитаго автора намъ очень хотѣлось бы поговорить о его прежнихъ комедіяхъ и вообще о всей литературной дѣятельности его, еще не обсужденной и не взвѣшенной нашей критикой съ достаточной полнотой; но, имѣя въ виду еще воротиться къ этому предмету, со временемъ, и не желая говорить о немъ лишь мимоходомъ, ограничимся въ настоящемъ случаѣ лишь тѣмъ, что ближайшимъ образомъ относится къ его послѣдней комедіи. Содержаніе пьесы „Бѣдность не порокъ“ взято изъ того быта, въ изображеніи котораго Островскій дѣйствительно великій мастеръ, но которымъ иные критики напрасно хотѣли бы ограничить всю его литературную дѣятельность. Мы видѣли въ его пьесахъ не одно живое и типическое лицо изъ другихъ слоевъ общества; никто также не скажетъ, чтобы „Бѣдная невѣста“, взятая вся не изъ купеческаго быта, не была произведеніемъ истинно замѣчательнымъ; но понятно, почему Островскій такъ любитъ обращаться за матеріаломъ для своихъ комедій къ быту купеческому. Мы видимъ эти двѣ главныя причины. Первая заключается въ направленіи автора, въ задачахъ, имъ на себя возлагаемыхъ; вторая въ оригинальной, ему только одному свойственной, манерѣ драматической.

Островскій — нашъ народный писатель. Это значитъ, между прочимъ, что главная задача его литературной дѣятельности состоитъ въ изображеніи такихъ явленій и такихъ типовъ, которыхъ происхожденіе вытекаетъ изъ коренныхъ и самостоятельныхъ свойствъ русской природы. Поэтому, изображаетъ ли онъ вамъ русскаго чело-вѣка, дошедшаго до безстыдства въ своей испорченности, каковъ, напр., Подхалюзинъ въ комедіи „Свои люди — сочтемся“, или выводитъ вамъ привлекательныя въ своей безыскусственности и нравственной чистотѣ лица, вы видите ясно, что всѣ эти лица русскія, и что ни такихъ личностей ни такихъ событій въ другой землѣ не встрѣтишь. Купеческое сословіе наше, издавна составляя чрезвычайно обширный и сильно дѣятельный классъ общества, находится по самому роду своихъ занятій въ безпрестанныхъ и самыхъ близкихъ столкно-

веняхъ со всѣми прочими слоями общественными; въ немъ, кромѣ того, по различію состоянія и по различію главнѣйшихъ и обычныхъ сношеній, встрѣчаются всѣ формы жизни и обычаевъ, выработавшихся въ нашемъ отечествѣ. Между торгующимъ крестьяниномъ, мало чѣмъ отличающимся отъ крестьянина-земледѣльца, и столичнымъ купцомъ, ведущимъ свой домъ на иностранную ногу и мало чѣмъ отличающимся отъ иностраннаго негодяя, встрѣтимъ еще цѣлую лѣстницу переходныхъ типовъ. И древняя доблесть русская, переживающая цѣлые вѣка, несокрушимая никакими чуждыми вліяніями и въ торжественныя минуты являющаяся на свѣтъ, чтобы тихо и безъ шума исполнить свое святое дѣло, и легкость, фанфаронство, — почти французскія, и крѣпкая привязанность къ старымъ, исконнымъ обычаямъ до малѣйшей ихъ подробности, и полное увлеченіе европейскимъ комфортомъ жизни, — все встрѣчается въ нашемъ купеческомъ сословіи. Понятно, что при такомъ разнообразіи, въ немъ преимущественно какъ бы откладываются и выявляются наружу всѣ коренныя народныя черты, подверженныя ли вліяніямъ разносторонней цивилизаціи или сохранившіяся въ своей нетронутой простотѣ. Вторая причина, почему Островскій любитъ особенно обращаться за матеріалами для своей комедіи къ купеческому быту, заключается, какъ мы сказали выше, въ особенной манерѣ и языкѣ этого писателя. Съ тѣхъ поръ, какъ появилась его первая комедія, создалось и новое требованіе для нашихъ драматическихъ писателей. Никогда и никѣмъ еще яркость языка, оригинальный колоритъ рѣчи каждаго лица, не были доведены до такой степени. Характеры лицъ въ этой и послѣдующихъ комедіяхъ Островскаго выражались и запечатлѣвались въ читателѣ не одною уже вѣрностью себѣ въ дѣйствіяхъ и мнѣніяхъ, но и самымъ складомъ языка, искусно почерпнутымъ изъ богатаго всѣми формами языка народнаго, и вѣрно приспособленнаго каждому лицу по его внутреннимъ свойствамъ и общественному положенію. Сколько мы понимаемъ, такая именно вѣрность и мѣткость языка есть исключительное достояніе комедіи Островскаго, и ни въ комъ изъ русскихъ и тѣмъ менѣе иностранныхъ писателей не встрѣчается. Не пускаясь теперь въ разсужденія о томъ, какую именно эстетическую цѣнность имѣетъ такая яркость языка въ комедіяхъ, мы попросимъ только каждаго изъ читателей припомнить о томъ особомъ и живомъ наслажденіи, какое доставляла ему эта характерная черта комедій Островскаго, и онъ, конечно, убѣдится, что она составляетъ одно изъ существенныхъ достоинствъ драматическихъ произведеній. По причинамъ, изложеннымъ выше, языкъ нашего купеческаго сословія представляетъ все богатство и разнообразіе нашего народнаго языка, обильнаго эпическими оборотами, множествомъ поговорокъ и негнбнувшихъ реченій, приспособленныхъ ко всевозможнымъ житейскимъ положеніямъ, и ту, отчасти, комическую вольность, съ какою народъ нашъ укладываетъ въ рѣчь слова и выраженія, взятая изъ отвлеченной сферы понятій или чуждыхъ языковъ и не совсѣмъ еще приспособленныя имъ къ употребленію. Всѣ,

конечно, знают, какъ искусно пользуется Островскій указанными свойствами языка нашего купеческаго сословія, для нѣкотораго смягченія и разнообразія драматическихъ впечатлѣній, такъ часто встрѣчаемыхъ въ его комедіяхъ. Для этой особенной манеры автора управлять душою читателя, купеческій бытъ представляетъ, хотя, конечно, не единственный, но весьма богатый матеріалъ. Сказаннымъ до сихъ поръ мы не думаемъ открыть читателямъ что-либо новое для нихъ объ особенностяхъ и направленіи таланта Островскаго; но все-таки считаемъ эти объясненія необходимыми по причинѣ странныхъ отношеній нашей критики къ этому писателю. Напишетъ ли Островскій комедію изъ купеческаго быта, съ тѣмъ особенно яркимъ и мѣткимъ языкомъ, который поражаетъ рѣшительно всякаго, критика наша коварно спрашиваетъ: нуженъ ли такой языкъ для долговѣчнаго существованія въ литературѣ и на сценѣ драматическихъ сочиненій? Возьметъ ли Островскій другой бытъ для своей комедіи, уже по самому характеру своему не допускающій особенной яркости и типичности языка, критика тотчасъ же начинаетъ сожалѣть объ этомъ недостаткѣ и указываетъ въ примѣръ автору его, другія пьесы, какъ будто забывая, что оригинальныя и особыя достоинства какого-либо рода сочиненій писателя не уменьшаютъ нисколько цѣны другихъ существенныхъ его достоинствъ, раздѣляемыхъ имъ отчасти съ другими писателями. Но пора обратиться отъ этихъ общихъ соображеній къ настоящему предмету нашей статьи и ввести читателя въ кругъ впечатлѣній, выносимыхъ изъ новой комедіи А. Н. Островскаго — „Бѣдность не порокъ“. Дѣйствіе въ уѣздномъ городѣ во время святокъ. Авторъ переноситъ насъ въ скромную комнату приказчика Мити, живущаго у богатаго купца Гордѣя Карпыча Торцова. Безъ всякихъ особыхъ сценическихъ уловокъ, благодаря простотѣ изображаемой жизни, авторъ успѣваетъ познакомить насъ на этой маленькой аренѣ почти со всѣми лицами, участвующими въ комедіи, обозначить болѣе или менѣе каждое изъ нихъ, дать вамъ замѣтить относительное положеніе ихъ другъ къ другу, догадаться объ участіи, которое суждено принять каждому изъ нихъ въ дальнѣйшемъ теченіи комедіи, наконецъ, завязать всю комедію. Расскажемъ поподробнѣе, какъ все это имъ сдѣлано. Мы уже обозначили мѣсто дѣйствія, перечислимъ теперь и лица, по мѣрѣ ихъ появленія. При открытіи занавѣса на сценѣ два лица: приказчикъ Митя и мальчикъ Егорушка, дальній родственникъ Торцова, обыкновенно употребляемый въ нашихъ купеческихъ домахъ для разныхъ порученій и домашнихъ услугъ. Егорушка читаетъ сказку о Бовѣ королевичѣ. Митя дома, потому что и не къ кому ему отправиться провести время весело, да и нѣтъ, кажется, особой охоты. Въ головѣ у него двѣ безотвязныя мысли: одна — одиночество и беззащитность его положенія, другая — дерзкая и безнадежная любовь къ хозяйской дочери — Любовь Гордѣевнѣ. И та и другая весьма удобно выражаются въ нѣсколько пѣсенномъ складѣ его одинокихъ думъ, и этотъ складъ сохраняется отчасти за Митей во все продолженіе комедіи. Но воротилась съ катанья

хозяйка съ дочерью и первая заходитъ по дорогѣ къ Митѣ въ комнату. Происшедшій затѣмъ разговоръ тотчасъ же познакомитъ читателя съ характеромъ дома Торцовыхъ, съ относительнымъ положеніемъ въ немъ трехъ дѣйствующихъ лицъ, и, наконецъ, съ той язвой, которая, вошедъ въ домъ Торцовыхъ, смутила его обычный порядокъ...

„Вслѣдъ за уходомъ Пелагеи Егоровны, являются къ Митѣ: Яша Гуслинъ, племянникъ Торцова; тихій и скромный, хотя не безъ твердости малый, — одно изъ тѣхъ лицъ, которыя не любятъ болтать пустяковъ, ни выставляться очень рѣзко на видъ, но которыхъ всѣ любятъ и которымъ какъ-то охотнѣе открываются въ горести. Одно изъ отличительныхъ качествъ такихъ характеровъ въ среднемъ купеческомъ быту, это ихъ склонность къ музыкѣ и пѣнію. И это обстоятельство дѣлаетъ ихъ всегда въ небольшихъ пріятельскихъ собраніяхъ такими лицами, которыя сглаживаютъ и умѣряютъ разныя выходки другихъ позадорнѣе, сосредоточивая главный интересъ компаніи на пѣніи. Митя жалуется Гуслину на свое горькое положеніе и, наконецъ, открывается ему въ своей дерзкой любви къ хозяйской дочери. Яша, конечно, не обнадеживаетъ его въ счастливой развязкѣ этого дѣла, но уже однимъ своимъ участіемъ нѣсколько облегчаетъ положеніе Мити. Между тѣмъ является еще гость — Разлюляевъ сынъ богатаго торговца, но одѣвающійся еще совершенно по-русски, онъ даже съ гармоніей. Тотъ, очевидно, гуляетъ и потому, что праздники, и потому, что такого характера. Трое составляютъ они довольно полный хоръ, и потому естественно тотчасъ же принимаются за русскую пѣсню. Но только что распѣлись было они, входитъ въ комнату самъ хозяинъ, и, какъ уже читатель, конечно, догадается изъ извѣстнаго ему о Торцовѣ, строго запрещаетъ въ своемъ домѣ такое безобразіе. „Что распѣлись! Горланять точно мужичье!“ говоритъ онъ. (Митѣ.) И ты туда жъ! кажется не въ такомъ домѣ живешь, не у мужиковъ; что за полпивная! Чтобы у меня этого не было впередъ“. Вслѣдъ затѣмъ онъ уже кстатіи распекаетъ Митю и за стихотворенія Кольцова, найденныя у него на столѣ, и за изорванный сюртукъ, несмотря на возраженія этого послѣдняго, что у него старуха мать, которой онъ долженъ удѣлять значительную часть своего небольшого жалованья. „Ужъ коли не умѣешь надъ собою приличія наблюдать, такъ и сиди въ своей конурѣ; коли голъ кругомъ, такъ нечего о себѣ мечтать! Стихи писать, образованіе себя хотеть, а самъ какъ фабричный ходитъ! Развѣ въ этомъ образованіе-то состоитъ, что дурацкія пѣсни пѣть“. Митя остается, разумѣется, очень грустный послѣ этого разговора; но сцена вновь оживляется. Входятъ, подъ предводительствомъ молодой вдовы Анны Ивановны, хозяйская дочь и двѣ подруги ея — Маша и Лиза. Пользуясь отсутствіемъ Гордѣя Карпыча и сномъ матери, онѣ, соскучившись наверху, зашли на минуту поболтать въ приказчиной комнатѣ. Весь послѣдующій разговоръ чрезвычайно оживленъ и полонъ мѣткого знанія изображае-

мага авторомъ быта, но, къ сожалѣнію, нужно бы было переписать всю сцену для убѣжденія въ этомъ читателя. Поэтому мы упомянемъ лишь о томъ, что собственно составляетъ главную интригу комедіи. Яша Гуслинъ, находящійся съ Анной Ивановной на самой дружеской ногѣ, тотчасъ же сообщаетъ ей о любви Мити къ хозяйской дочери. Анна Ивановна немедленно принимается за устройство этого дѣла. Изъ нѣкоторыхъ намековъ она убѣждается во взаимности ихъ, и чтобы вызвать скорѣе и безъ проволочекъ объясненіе между ними, когда всѣ уходятъ, запираетъ шутя Любовь Гордѣвну наединѣ съ Митей. Первая, конечно, считаетъ долгомъ нѣсколько жеманиться, Митя, разумѣется, робѣетъ, однако рѣшается прочесть своей возлюбленной стихи, нарочно для нея имъ написанные. Стихи отъ любимаго чело-вѣка и не въ такомъ быту производятъ сильное впечатлѣніе, а простую дѣвушку они, разумѣется, приводятъ въ восхищеніе. Все еще полускрывая однако свою радость, Любовь Гордѣвна рѣшается сама написать отвѣтъ Митѣ, но запрещаетъ читать его до своего ухода. Въ дверяхъ она сталкивается съ дядей Любимомъ Карпычемъ Торцовымъ, промотавшимся и спившимся купцомъ, и теперь уже значительно хмельнымъ. Но здѣсь мы остановимся въ изложеніи содержанія, и просимъ у читателя позволенія сказать отъ себя нѣсколько словъ объ этомъ широко схваченномъ типѣ. Кто истинно любитъ и знаетъ Россію, кто гордится всѣми дорогими свойствами своего народа, и сердечно соболѣзнуетъ о неизбѣжныхъ во всякомъ общественномъ организмѣ болѣзняхъ, кто, однимъ словомъ, живетъ съ своимъ народомъ одною жизнью, а не уединяется въ какой нибудь узкій нравственный кодексъ, откуда все ему представляется лишь съ своей внѣшней, подчасъ грязненькой стороны, для того художественно изображенное лицо Любима Торцова есть и источникъ многихъ эстетическихъ наслажденій и предметъ нравственнаго сочувствія. Передъ вами чело-вѣкъ, богато одаренный и умомъ и сердцемъ, съ не совсѣмъ обыкновенными потребностями широты и полноты жизни; не худо направленный съ молодости, увлеченный многочисленными примѣрами на торную уже дорогу разгула, онъ не умѣетъ, какъ какой нибудь Африканъ Савичъ, мѣшать вмѣстѣ два дѣла: т.-е. предаваться разгульной жизни по временамъ, а въ остальное время собирать по крохамъ и выжимать изъ другихъ разомъ промотанные деньги, и потому, отдавшись разгулу всей душой, не замедляетъ перейти изъ типа гуляки купца въ типъ *метеора* (по мѣткому народному названію), т.-е. чело-вѣка, не имѣющаго пристанища и перелетающаго изъ одного увеселительнаго заведенія въ другое. Среди пьяной и безпутной жизни, среди хлама дурныхъ привычекъ, среди постоянно трагическаго тона, котораго онъ насмотрѣлся въ трагедіяхъ, и которымъ потомъ тѣшили богатыхъ купцовъ, — въ этомъ чело-вѣкѣ сохранилось еще много дорогихъ чело-вѣческихъ свойствъ, которыя не допустили его до преступленій, и по временамъ, въ торжественныхъ случаяхъ, вспыхиваютъ съ такою свѣжестью и яркостью, что способны дать урокъ

иному, весь вѣкъ безукоризненному человѣку. Не радуется ли сердце за русскую природу? Не говоримъ о высокой художественной отдѣлкѣ этого типа. Она, безъ сомнѣнія, будетъ оцѣнена всѣми критиками. Оригинальной фигуры Любима Торцова съ его особеннымъ языкомъ, съ трагическими выходками, не забудетъ никто, читавшій комедію, и тѣмъ болѣе видѣвшій ее на московской сценѣ. Но не можемъ не обратить вниманія на важное, по нашему мнѣнію, общественное значеніе этого типа. Хоть и съ горестью, но должно признаться, что такія личности, какъ Любимъ Торцовъ, на рѣдкость въ нашемъ отечествѣ. Вино ли наше очень забористо, и не позволяетъ безнаказанно злоупотреблять его, какъ иностранныя вина и пива, или очень размашиста русская натура, и не можетъ приучиться къ умѣренному и своевременному пьянству, какимъ, напр., тѣшитъ себя каждое послѣ обѣда Англія; только каждому изъ насъ вѣрно не однажды въ жизни случалось встрѣчаться съ людьми, подобными Любиму, въ разныхъ степеняхъ общественнаго положенія, на различной степени паденія и съ различными оттѣнками характеровъ. Этому, такъ распространенному типу, комедія показываетъ яркими чертами счастливый исходъ, и хотя для падшихъ уже не послужитъ къ исправленію, но установить во всѣхъ прочихъ живой образъ лучшаго изъ подобныхъ со всѣми его темными сторонами и съ ободряющимъ указаніемъ тѣхъ нравственныхъ началъ, которыя никогда не оставляютъ совершенно человѣка ни на какой ступени паденія. Но воротимся къ содержанію комедіи. Уходя отъ Мити, Любовь Гордѣевна, какъ мы сказали, встрѣтилась съ дядей, уже значительно выпившимъ. Выкинувъ передъ племянницей одну изъ тѣхъ штукъ, какія привыкъ дѣлать, шатаясь безъ пріюта по Москвѣ и увеселяя богатыхъ купцовъ, Любимъ обращается къ Митѣ съ просьбою принять и отогрѣть его, и жалуется на брата, который выгналъ его изъ дому въ такое холодное время. Разговоръ, разумѣется, заходитъ на главную вину всѣхъ бѣдствій Любима, и онъ рассказываетъ Митѣ своимъ полускоморошнымъ тономъ исторію своего паденія...“

„Скоро Любимъ засыпаетъ, и Митя, оставшись одинъ, развертываетъ отвѣтъ Любовь Гордѣевны, который заключается въ слѣдующихъ короткихъ словахъ: *„И я тебя люблю. Любовь Торцова.* Второе дѣйствіе происходитъ въ тотъ же вечеръ, наверху, въ хозяйскихъ комнатахъ. Не забудемъ, что на дворѣ святки, и потому будутъ гости. Пока на сценѣ темно. Анна Ивановна, принявшая уже сильное участіе въ любящихся, отправляется за Митей, чтобы доставить ему на свободѣ свиданіе съ Любовью Гордѣевной. Объясненіе между ними, начавшееся шуткой со стороны Любовью Гордѣевны и кончившееся обнаруженіемъ всей силы ея любви къ Митѣ, полнонѣжности и драматизма.

Мало по малу сцена освѣщается и оживляется. Входитъ сама хозяйка съ двумя сверсницами и молодежь. Такъ какъ представителя новѣйшей моды, т.-е. хозяина, нѣтъ дома, то вечеръ, естественно, принимаетъ характеръ старинныхъ русскихъ святочныхъ вечеровъ.

„Я, матушка, люблю по старому, по старому...“ говорит Пелагея Егоровна, „да, по нашему, по русскому. Вотъ мужъ у меня не любить, что дѣлать, характеромъ такой вышла. А я люблю, я веселая... да... чтобъ поподчивать, да чтобъ мнѣ пѣсни пѣли... да, въ родню свою: у насъ весь родъ веселый... пѣсельники“. И дѣйствительно, все идетъ по старому. Вотъ раздается хоромъ русская пѣсня, къ которой невольно пристаётъ все общество, даже и двѣ барышни, подруги Любовь Гордѣвны, отчасти уже зараженные манерностью. Вотъ являются ряженые, разумѣется свои, домашніе, а потому и за просто. Извѣстные медвѣдь въ вывороченномъ тулупѣ съ жожакомъ, мастеромъ на пѣсни и прибаутки, неизбѣжная коза и мальчикъ съ патокѣй. Кое-кто позадориле не вытерпѣлъ уже и пустился въ плясъ. А между тѣмъ широкая русская пѣсня все льется и льется, вливая отраду и успокоеніе въ душу. Старая русская жизнь съ своими родными увеселеніями начинаетъ воскресать передъ вами и напоминать вамъ пѣлую вереницу другихъ, взлелѣявшихъ ваше дѣтство игръ и забавъ. Вдругъ раздается стукъ въ двери. Пріѣхалъ самъ хозяинъ. Всѣ въ тревогѣ. „Это что за сволочь!... Вонъ!“ Таковъ первый привѣтъ хозяина. Онъ не одинъ, съ нимъ Африканъ Саввичъ, тотъ самый московскій фабрикантъ, который, по словамъ Пелагеи Егоровны, пьетъ съ англичаномъ на фабрикѣ и сбилъ съ пути Гордѣя Карпыча. Хозяинъ встревоженъ. Онъ все боится, чтобы Африканъ Савичъ не счелъ его за человѣка, не знающаго приличій, и не подумалъ о немъ съ дурной стороны. Но Африканъ Саввичъ ловче его, онъ не допускаетъ его выгнать собранныхъ для пѣсенъ дѣвушекъ, даже попросилъ ихъ повеличать себя и, разумѣется, наградилъ по обычаю. Послѣ нѣсколькихъ любезностей Любовь Гордѣвнѣ, онъ проситъ, наконецъ, хозяина сказать о цѣли своего пріѣзда. Гордѣй Карпычъ объявляетъ, что помолвилъ дочь за Африкана Саввича. Никто не ожидалъ этого. Мать, женщина добрая, но слабая, совершенно теряется отъ этой неожиданности, чувствуя всю нескладность такого брака. Еще болѣе поражена Любовь Гордѣвна, послѣ недавнихъ горячихъ объясненій, послѣ неостывшихъ еще ласкъ Мити. „Тятенька! говоритъ она, я изъ твоей воли не выйду. Пожалѣй ты меня бѣдную, не губи мою молодость“. И потомъ, на твердо выраженную волю отца, продолжаетъ: „Я приказу твоего не смѣю послушаться. Тятенька! (кланяется въ ноги). Не захоти ты моего несчастья на всю мою жизнь!.. Передумай, тятенька!.. Что хочешь меня заставь, только не принуждай ты меня противъ сердца замужъ итти за немилаго!..“ *Гордѣй Карпычъ*. Я своего слова назадъ не беру (встаетъ). *Любовь Гордѣвна*. Твоя воля, батюшка! (кланяется и отходитъ къ матери)“. Коршуновъ считаетъ дѣло конченнымъ, и проситъ дѣвушекъ спѣть свадебную пѣсню. Дѣвушки запѣваютъ:

Поблекнуть всѣ пѣтки во саду и т. д.

Этого ужъ не въ силахъ перенести Любовь Гордѣвна. Пока все неожиданное дѣло, такъ поразившее ее, оставалось для нея еще какъ бы

въ отвлеченномъ видѣ, она смогла пересилить себя. Но когда раздались звуки обрядной пѣсни, такъ знакомой ей и такъ живо представившей ей дѣйствительность совершившагося, она въ какомъ-то отчаяннѣй восклицаетъ: „не ту, не ту, спойте другую“. Хоръ запѣваетъ новую:

Ты родимая моя матушка!
Въ день денна моя печальница,
Въ ночь ночная богомольница,
Вѣковая моя сухотница!
Пригляди ты очи ясныя,
На свою на дочку гляючи,
На свою на дочь любимую,
Во послѣдній разъ, въ останешнѣй!

„Въ останешнѣй!“ повторяетъ Любовь Гордѣевна. Занавѣсъ опускается. Въ третьемъ дѣйствіи мы въ комнатѣ хозяйки. Въ сосѣдней комнатѣ обѣдъ. Нянька смотритъ въ дверь и причитаетъ по своей витомицѣ, выходящей за немилаго. Но вотъ обѣдъ кончился, входитъ хозяйка усталая, и, попросивъ Анну Ивановну распорядиться хозяйствомъ, остается одна. Въ дверяхъ показывается Митя встревоженный. Видя разрушенными всѣ свои надежды, онъ рѣшился покинуть домъ Гордѣя Карпыча, и пришелъ проститься съ Пелагеей Егоровной, отъ которой почти одной видѣлъ постоянную ласку. Сначала онъ хотѣлъ умолчать объ истинной причинѣ своего отъѣзда, но потомъ не вытерпѣлъ и открылъ все хозяйкѣ. Та и не прочь бы отъ такого жениха, да не ея воля въ домѣ, и ей остается только горевать вмѣстѣ съ Митей о случившемся несчастіи. Пришла проститься съ Митей и Любовь Гордѣевна. Горько и тяжело ей, но когда Митя, въ припадкѣ отчаянія и молодецкой удали, проситъ позволенія увести Любу въ ту же ночь и обвѣнчаться съ согласія матери, она твердо и рѣшительно отказывается отъ побѣга. „За что жъ ты меня обманывала? Надо мной издѣвалась?“ говоритъ обиженный Митя. *Любовь Гордѣевна.* „Полно ты, Митя. Что мнѣ тебя обманывать? Зачѣмъ? Я тебя любила, такъ сама же тебѣ сказала. А теперь изъ воли родительской мнѣ выходить не должно. На то есть воля батюшкина, чтобъ я шла замужъ. Должна я ему покориться, такая наша доля дѣвичья. Такъ знать тому и быть должно, такъ ужъ оно заведено изстари. Не хочу я супротивъ отца идти, чтобъ про меня люди не говорили, да въ примѣръ не ставили. Хоть я, можетъ быть, сердце свое надорвала черезъ это, да по крайности я знаю, что я по закону живу, никто мнѣ въ глаза насмѣяться не смѣетъ. Прощай! (цѣлуются)“. Едва оканчивается эта тяжелая сцена, является Коршуновъ, повсюду отыскивающей свою красавицу невѣсту. Увидавъ слезы на глазахъ Любови Гордѣевны, онъ смутно догадывается, что это слезы по комъ-нибудь милѣе его. И онъ начинаетъ прельщать Любовь Гордѣевну исчисленіемъ неудобствъ имѣть молодого мужа и рисуетъ ей картину неизмѣнной любви старика. Вся эта сцена, и въ особенности отвѣтъ Коршунова на вопросъ Любовь

Гордѣвны — любила ли его первая жена? ведены авторомъ съ отличнымъ искусствомъ и исполнены живого драматизма. Но вотъ и самъ Гордѣй Карпычъ, уже значительно подгулявшій. Онъ радъ, что успѣлъ показать себя предъ зятюшкой богато устроеннымъ пиромъ, и уже начинаетъ рассказывать ему свои виды въ будущемъ и о томъ, какъ онъ „будетъ всякую моду подражать“. Неожиданное событіе смущаетъ весь порядокъ пира. Любимъ Торцовъ успѣлъ, наконецъ, исполнить свою штуку, задуманную еще въ 1-мъ дѣйствіи, въ комнатѣ Мити. Напившись для храбрости, онъ ворвался въ парадныя комнаты, распугалъ гостей и, наконецъ, является на сцену. Рѣзкимъ тономъ, съ трагическими выходками и прибаутками нападаетъ онъ на Коршунова, спойвшаго и ограбившаго его въ прежнее время. Коршуновъ сначала отшучивается, но потомъ, когда дѣло доходитъ до прямыхъ обвиненій его въ подлости, смерти прежней жены и проч., выходитъ изъ себя и съ гнѣвомъ уходитъ. „Такъ этакой-то у тебя порядокъ въ домѣ! „говоритъ онъ, принужденно хохоча, Гордѣю Карпычу. Этакія ты моды завелъ, у тебя пьяные гостей обижаютъ! Хе, хе, хе. Я, говоритъ, въ Мѣску поѣду, меня здѣсь не понимаютъ. Въ Москвѣ-то ужъ такіе дураки повывелись, тамъ смѣются надъ ними. Зятюшко, зятюшко! Хе, хе, хе! Любезный тестюшко! Нѣтъ, шалишь, я даромъ себя обидѣть не позволю. Нѣтъ, ты теперь приди-ко ко мнѣ, да поклоняйся, чтобъ я дочь-то твою взялъ. *Гордѣй Карпычъ.* Я къ тебѣ пойду кланяться? *Коршуновъ.* Пойдешь, я тебя знаю. Тебѣ нужно свадьбу сдѣлать, хоть въ петлю лѣзть, да только-бъ весь городъ удивить, а жениховъ-то нѣтъ. Вотъ несчастье-то твое. Хе, хе, хе... *Гордѣй Карпычъ.* Опосля этого, когда ты такія слова говоришь, я самъ тебя знать не хочу! Я отродясь никому не кланялся. Я, коли на то пошло, за кого вздумается, за того и отдамъ. Съ деньгами, что я за ней дамъ, всякій человѣкъ будетъ“... Въ это время входитъ на шумъ Митя. „Вотъ за Митьку отдамъ!“ продолжаетъ Гордѣй Карпычъ. Всѣ удивлены. Гордѣй Карпычъ сказалъ это сгоряча и потому что не было никого другого подъ руками. Но это рѣшеніе какъ нельзя болѣе согласно съ общимъ желаніемъ. „Я, тятенька, вашей волѣ не перечила, говоритъ Любовь Гордѣвна. Коли хотите вы моего счастья — отдайте меня за Митю“. Сама слабая Пелагея Егоровна, наконецъ, вступается за дочь и упрекаетъ мужа, что „дочь ему словно на мытарство досталась“. Гордѣй Карпычъ все еще колеблется. Но сильное слово Любима рѣшаетъ дѣло. „Человѣкъ ты или звѣрь? говоритъ онъ брату. Пожалѣй ты и Любима Торцова! (становится на колѣни). Братъ, отдай Любушку за Митю — онъ мнѣ уголь дастъ. Назаябься ужъ я, наголодался. Лѣта мои прошли, тяжело ужъ мнѣ поясничать на морозѣ-то изъ-за куска хлѣба; хоть подъ старость-то да честно пожить. Вѣдь я народъ обманывалъ: просилъ милостыню, а самъ пропивалъ. Мнѣ работишку дадутъ; у меня будетъ свой горшокъ щей. Тогда-то я Бога возблагодарю. Братъ! и моя слеза до неба дойдетъ! Что онъ бѣденъ-то! — Эхъ, кабы я бѣденъ былъ, я бы человѣкъ былъ. „Бѣдность не порокъ“.

Гордый Карпыч тронуть искренно. Все прошлое представляется ему какимъ-то сномъ, или, какъ онъ выражается, „гнилой фантазіей“. На радостяхъ онъ разрѣшаетъ даже и Гуслину жениться на Аннѣ Ивановнѣ. — Звонко, дружно и на этотъ разъ радостно раздаются опять свадебная пѣснь и заключается комедія.

Разсказавъ съ достаточною подробностью содержаніе новой комедіи А. Н. Островскаго, перейдемъ къ ея критической оцѣнкѣ. Но для этого прежде всего намъ нужно войти хорошенько въ идею автора. Избравъ пока, по причинамъ изложеннымъ выше, содержаніемъ для своихъ комедій преимущественно купеческій бытъ, сквозь который постоянно проглядываютъ для него и особенно интересуютъ его коренныя черты истинно русскаго быта, А. Н. Островскій, какъ писатель народный и общественный, долженъ былъ обратить свое вниманіе на существенно важныя черты этого быта. Такъ въ своей первой комедіи онъ рѣзко и беспощадно выставляетъ на видъ общественное зло, проистекающее отъ исключительной страсти къ приобрѣтенію, ради которой можно забыть все священное, и которая весьма удобно можетъ развиваться въ человѣкѣ, всю жизнь свою посвятившемъ денежнымъ спекуляціямъ и неохраямомъ ничѣмъ отъ заразительныхъ, окружающихъ его примѣровъ нетруднаго обогащенія и обезпеченія себя отъ случайностей торговли. Но тамъ онъ былъ чистымъ сатирикомъ. Ничто противоположное не было выставлено имъ на ряду съ показаннымъ зломъ. Въ настоящей комедіи видно, что его поразило другое зло, нерѣдко встрѣчаемое въ томъ же быту. Это фальшивая цивилизація, подражаніе внѣшнимъ формамъ и привычкамъ образованнаго класса, въ свою очередь, заимствованнымъ, разорившее и погубившее уже не мало людей. Зло это, къ сожалѣнію, распространяется все болѣе и болѣе, и требуетъ сильнаго противоположенія. Происходитъ оно, преимущественно, отъ свойственной болѣе или менѣе всѣмъ людямъ склонности казаться выше своего состоянія и общественнаго положенія и производить хоть чѣмъ-нибудь впечатлѣніе на себѣ подобныхъ; распространяется отъ заподозрѣнной довѣренности въ правотѣ и достоинствѣ старыхъ обычаевъ, это заманчиваго лоску и блеску жизни и привычекъ образованнаго класса, и отъ многихъ другихъ причинъ, которыхъ перечислять всѣхъ здѣсь нѣтъ необходимости. Изображеніе такого рода зла въ купеческомъ быту составляетъ предметъ новой комедіи Островскаго. Но въ ней онъ является уже не однимъ сатирикомъ. Въ противоположной сторонѣ видится ему въ томъ же быту — благодушная, простая, крѣпко связанная съ родными преданіями и обычаями жизнь, и все сочувствіе его, при столкновеніи такихъ двухъ враждебныхъ началъ, естественно, склоняется на сторону послѣдняго. Поэтому вся задача новой комедіи состоитъ въ сопоставленіи этихъ двухъ началъ и въ торжествѣ одного изъ нихъ. Но избравъ для разрѣшенія своей задачи драматическую форму, авторъ тѣмъ самымъ принялъ на себя обязанность удовлетворить всѣмъ требованіямъ этой формы, т. е. прежде всего произвести впечатлѣніе на читателя или зрителя драматическою

коллизією и движеніємъ, и этимъ путемъ напечатлѣть въ немъ основную идею комедіи. Въ этомъ отношеніи мы не можемъ остаться совершенно довольными новою пьесою Островскаго. Не то, чтобы въ комедіи „Бѣдность не порокъ“ не было совсѣмъ драматическаго движенія, мѣстами оно даже очень сильно; но оно не развивается въ пьесѣ послѣдовательно и непрерывно, и вы часто заняты въ ней простыми картинами той или другой стороны быта, которыя, конечно, также объясняютъ вамъ идею автора, но уже посредствомъ другого, не совсѣмъ драматическаго приема. Чтобы болѣе пояснить нашу мысль, обратимся за примѣромъ къ самой комедіи. Интрига, посредствомъ которой сталкиваются въ пьесѣ два противоположныя начала, есть любовь Мити и хозяйской дочери. Узнавши объ этой любви изъ перваго акта и уже познакомившись отчасти съ основною мыслью комедіи, мы имѣемъ полное право ожидать дальнѣйшаго развитія ея посредствомъ главной интриги. Такъ дѣйствительно и происходитъ въ концѣ второго и во всемъ третьемъ актѣ, но въ началѣ второго авторъ прибѣгаетъ къ другому способу: въ довольно длинной картинѣ онъ возсоздаетъ передъ нами образчикъ старой святочной русской жизни, и, возбуждая къ ней наше сочувствіе, вдругъ выдвигаетъ въ комическомъ свѣтѣ противоположный элементъ въ лицѣ Гордѣя Карпыча и Африкана Саввича. Эффектъ, если хотите, ловкій и служить хорошо главной мысли комедіи, но интересъ возникшей уже интриги задерживается, и нѣсколько охлаживается этимъ простымъ сопоставленіемъ двухъ враждебныхъ началъ. На сценѣ даже жаль бы было не видѣть прекрасной, хотя и нѣсколько длинной, картины святочного вечера и характеристическихъ разговоровъ разныхъ дѣйствующихъ на немъ лицъ; но въ чтеніи такія вводныя картины положительно вредятъ силѣ и непрерывности драматическаго впечатлѣнія. Мы сказали выше, что главная задача комедіи „Бѣдность не порокъ“ состоитъ въ столкновеніи двухъ враждебныхъ началъ. Интрига же комедіи, въ томъ смыслѣ, какъ обыкновенно понимается это слово, не слита органически съ идеею пьесы, и является ей какъ бы нѣсколько посторонней. Собственно говоря, любовь Мити и Любовь Гордѣевны принадлежитъ къ тому же плану задачи, на которомъ выставлена русская пѣсня, простота и веселость старыхъ обычаевъ, нѣкоторыя утѣшительныя типы и т. д., и которому противоположнымъ планомъ служить Гордѣй Карпычъ съ своимъ искусителемъ Африканомъ Саввичемъ. Отъ этой не крѣпкой связи между основною мыслию и интригою, введенною въ пьесу, происходитъ то, что полное развитіе этой послѣдней становится не нужнымъ въ концѣ пьесы, и она разрѣшается почти случайнымъ образомъ, что составляетъ, безъ сомнѣнія, важный недостатокъ новой комедіи. Такъ какъ вопросъ зашелъ уже о недостаткахъ, то выскажемъ всѣ ихъ разомъ. Отъ нѣкоторой поспѣшности въ работѣ, замѣтной и въ общемъ планѣ, вышло, что языкъ автора, вообще конечно прекрасный, мѣстами не такъ сдѣланъ и не достигъ той окончательной мѣткости, по которой въ начавшемся разговорѣ фраза одного лица какъ бы подсказываетъ другую

отвѣтную. Наконецъ, нельзя не попрекнуть автора за лицо Гордѣя Карпыча, на которомъ, по настоящему, должна бы держаться вся пьеса, но который представляетъ довольно безцвѣтный образъ, и, хотя служить усердно основной мысли пьесы, но не представляетъ тѣхъ оригинальныхъ и типическихъ чертъ, по которымъ созданныя разъ лица никогда не забываются даже и помимо содержанія пьесы. Вообще мы думаемъ, что полная отдѣлка лица Гордѣя Карпыча повела бы автора къ нѣкоторымъ измѣненіямъ во всемъ планѣ пьесы, и тогда для достиженія своихъ художественныхъ цѣлей, онъ, можетъ быть, не имѣлъ бы надобности прибѣгать къ приемамъ не совсѣмъ драматическимъ, или по крайней мѣрѣ, употребилъ бы ихъ умѣреннѣе. Главное художественное достоинство новой пьесы Островскаго состоитъ, по нашему мнѣнію, въ обиліи типовъ, которые онъ успѣлъ вызвать изъ купечскаго быта, и которыми прекрасно обставилъ свѣтлую сторону своей комедіи. Начиная съ незабываемаго типа Любима Торцова, предъ нами проходитъ цѣлый рядъ лицъ, совершенно вѣрныхъ дѣйствительности. Дивисься, какъ въ столь, повидимому, исчерпанномъ имъ быту, онъ умѣетъ находить все новыя и новыя лица. Пѣвецъ Гуслинъ, разбитой малой Разлюляевъ, веселая и бойкая вдовушка Анна Ивановна, двѣ жеманныя дѣвушки, все это люди, съ которыми вы не разъ сходились въ дѣйствительности, и между тѣмъ это совсѣмъ не тѣ люди, съ которыми вы познакомились въ прежнихъ комедіяхъ того же автора. Все это, конечно, типы, замѣшанные въ главную интригу лишь мимоходомъ, и не успѣвшіе раскрыть вполнѣ своихъ характеровъ, но въ общихъ картинахъ они удивительно рисуютъ всѣ подробности быта. Другое существенное достоинство комедіи состоитъ въ ея двоякомъ общественномъ значеніи: первое основано на самой идеѣ комедіи, второе на вырванномъ изъ дѣйствительности и возведенномъ въ художественную форму лицѣ Любима Торцова. Одно созданіе такого типа могло бы заставить забыть всѣ, даже большіе недостатки комедіи. Упомянувъ о нѣкоторыхъ истинно драматическихъ сценахъ, какова, на примѣръ, въ началѣ второго дѣйствія сцена объясненія Мити съ Любовью Гордѣвной, потомъ Любовь Гордѣвны съ отцомъ, Африкана Саввича съ невестой, прощаніе Мити съ Пелагеей Егоровной и Любовь Гордѣвной, наконецъ, о сценѣ заключительной, мы, кажется, скажемъ все, что думаемъ о новой пьесѣ Островскаго, возбуждившей наше полное сочувствіе. Объ обычныхъ достоинствахъ всѣхъ его произведеній, встрѣчаемыхъ и въ этой комедіи, мы не считаемъ нужнымъ распространяться. Пожелаемъ же на прощаніи новой встрѣчи съ его произведеніемъ, пусть и не слишкомъ скорой, но, если можно, еще болѣе радостной.

Эдельсонъ.

Анализъ комедіи „Вѣдность не порокъ“.

Что касается главнаго дѣйствующаго лица этой комедіи, Гордея Карповича Торцова, то Добролюбовъ, конечно, имѣлъ несомнѣнное право сказать, что это „уже самодуръ въ полномъ смыслѣ“. Онъ и крутъ, и гордъ, и разсудка не имѣеть, по отзыву жены его Пелагеи Егоровны. Цѣлый домъ дрожить передъ нимъ. Особенно грозенъ онъ сдѣлался съ тѣхъ поръ, какъ подружился съ Африканомъ Саввичемъ Коршуновымъ и сталъ „перенимать новую моду“. Она, эта „новая мода“, слышна и въ томъ, что сулитъ онъ дочери, выдавая ее за этого ненавистнаго ей вдовца: „Ты, дура, сама не понимаешь своего счастья. Въ Москвѣ будешь по-барски жить, въ каретахъ будешь ѣздить. Одно дѣло: ты будешь жить въ виду, а не въ такой глуши; а другое дѣло — я такъ тебѣ приказываю“. Желая показать себя передъ будущимъ зятемъ, Гордей Карпычъ ему говоритъ: „въ другомъ мѣстѣ за столомъ-то прислуживаетъ молодецъ въ поддевкѣ, либо дѣвка, а у меня фицыантъ въ нитяныхъ перчаткахъ. Этотъ фицыантъ, онъ ученый, — изъ Москвы, онъ всѣ порядки знаетъ: гдѣ кому сѣсть, что дѣлать. А у другихъ что! соберутся въ одну комнату, усядутся въ кружокъ, пѣсни запоютъ мужицкія. Оно, конечно, и весело, да я считаю такъ, что это низко, никакого тону нѣтъ“. Жена его, какъ извѣстно, другого мнѣнія. „Люблю по-старому, — говоритъ она, — да по-нашему, по-русскому. Вотъ мужъ у меня не любить, что дѣлать, характеромъ такой вышелъ. А я люблю, я веселая... да чтобъ попотчевать, да чтобъ мнѣ пѣсни пѣли... да, въ родню свою: у насъ весь родъ веселый... пѣсельники“... „Теперь все ему наше русское не мило“, жалуется она Митѣ на мужа еще въ самомъ началѣ комедіи: „ладить одно: хочу по-нынѣшнему... Надѣнь, говоритъ, чепчикъ... Модное-то ваше да нынѣшнее, говорю я ему, каждый день мѣняется, а русской-то нашъ обычай испоконъ вѣка живетъ“. По претензіямъ на образованіе Гордей Карпычъ напоминаетъ Липочку Большову. Про нее, право, можно было бы сказать, что Добролюбовъ говоритъ про Гордея Карпыча: „умѣеть извлечь изъ претензій на образованность только увеличеніе требованій и правъ своихъ, но никакъ не расширеніе своихъ собственныхъ обязанностей“. Въ этомъ отношеніи Торцовъ отчасти напоминаетъ нашихъ баръ XVIII в., которые, нарядившись во французскій кафтанъ, сочли себя имѣющими тѣмъ болѣе права выжимать сокъ изъ „подлага“ народа.

Обращаясь къ тѣмъ, кому приходится терпѣть отъ самодурства Гордея Карпыча, Добролюбовъ, справедливо, конечно, замѣтилъ: „и вѣдь если бы еще, въ самомъ дѣлѣ, сила неодолимая, натура высшаго разряда тяготѣла надъ этими несчастными! А то вовсе нѣтъ!.. Гордей Карпычъ не только крайне ограниченъ въ своихъ понятіяхъ, но еще трусливъ и слабодушенъ. Это опять-таки неотъемлемое, не-

избѣжное свойство самодурства. Самодуръ дурить, ломается, артачится, пока не встрѣчаетъ себѣ противодѣйствія, или пока противодѣйствіе робко и нерѣшительно; но у него нѣтъ такой точки опоры, которая могла бы поддержать его въ серьезной и рѣшительной борьбѣ. Если вы хотите служить и вести дѣло честно, не бойтесь вступить въ серьезный и рѣшительный споръ съ самодурами, рѣшитесь заранѣе, что вы на полусловъ не остановитесь и пойдете до конца, хотя бы отъ этого угрожала вамъ дѣйствительная опасность потерять мѣсто или лишиться какихъ-либо милостей“. Все это прекрасно сказано и этимъ только указывается вообще на возможность не поддаваться средѣ. Но вѣдь и Митя не желалъ бы поддаться. Правда Митѣ приходится только задаромъ хвалиться: „Посажу ее въ саночки-самокаточки да и былъ таковъ. Не видать ее тогда старому, какъ ушей своихъ, а моей головѣ за одно ужъ погигать!...“ Но если его слова не переходятъ въ дѣло, то это едва ли объясняется смиреніемъ, т.-е. уступчивою искательностью ради своихъ выгодъ. Вспомнимъ коротенькій, но содержательный разговоръ его съ Гордеемъ Карпычемъ. „Ты бы вотъ сертучишко новенькій сшилъ, — говоритъ ему Торцовъ. — Вѣдь, къ намъ наверхъ ходишь, гости бываютъ... Срамъ! Куда деньги-то дѣваешь? — „Маменькѣ посылаю, потому что она въ старости, ей негдѣ взять“. — „Матери посылаешь! Ты себя-то образилъ бы прежде; матери-то не Богъ знаетъ, что нужно, не въ роскоши воспитана; чай сама хлѣвы затворяла“. — „Ужъ пуцай же лучше я буду терпѣть, да маменька, по крайности, ни въ чемъ не нуждается“. — Вотъ почему Митя только говоритъ: „Эхъ, дайте душѣ просторъ — разгуляться хочетъ! По крайности, коли придется и въ отвѣтъ итти, такъ ужъ то буду знать, что потѣшился“. Не одна своя голова у него на плечахъ, и вотъ онъ призадумывается надъ тѣмъ, въ чемъ заключается его собственное счастье. Но вѣдь это же и счастье другого существа, Любви Гордеевны? Да, но онъ знаетъ ее: и счастье ей будетъ въ несчастье, если онъ увезетъ ее противъ отцовской воли. Она, въ самомъ дѣлѣ, сдается передъ самоуправствомъ, хотя, кто знаетъ, вся ли высказывается она на словахъ, не гнѣзятся ли въ ея душѣ и затаенная мысль все о той же Митиной матери? И ждала бы отъ нея, пожалуй, судя по своему Митѣ, всего добраго, да не бросить же Митѣ свою старушку, а чѣмъ-то имъ будетъ жить втроемъ? Старушка уже дряхла, какъ-то Митя себѣ отыщетъ новое мѣсто при возможной стачкѣ съ купцами, а Люба-то вѣдь ничему не обучена; въ этомъ, разумѣется, она безгласная жертва, самодурства, и мысль о трудѣ, вѣроятно, не приходила ей въ голову. Какъ бы то ни было, не мало разныхъ побужденій должно шевелиться у нея въ душѣ, не мало разныхъ мыслей проходить чрезъ ея голову. Ап. Григорьевъ, умѣя глубоко заглядывать въ разнородный составъ человѣческой души, имѣлъ право сказать: „Любовь Гордеевна — одинъ изъ прелестнѣйшихъ, хотя и слегка очерченныхъ женскихъ образовъ Островскаго, — не забытая личность, возбуждаю-

щая только сожалѣніе, а высокая личность, привлекающая все наше сочувствіе, какъ не забытыя личности „ни Марья Андреевна въ „Бѣдной невѣстѣ“, ни Пушкинская Татьяна, ни Лиза (въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ — „ваша Лиза“, какъ выразился Григорьевъ, придавъ своей критикѣ форму письма къ Тургеневу). Быть, составлявшій фонъ широкой картины, взятъ — на всякіе глаза, кромѣ глазъ теоріи — не сатирически, а поэтически, съ любовію, съ симпатіею очевидными, скажу больше — съ религиознымъ культомъ существеннаго народнаго“. Да, быть тутъ взятъ точно такъ же, какъ Пушкинымъ, какъ Тургеневымъ. Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, чтобы все въ этомъ быту представлялось поэту разумнымъ. Пушкинъ былъ, конечно, далеко отъ того, чтобы проповѣдовать русскимъ дѣвушкамъ тихое пристанище въ монастырскихъ стѣнахъ. Такъ и Островскій вовсе не рекомендуетъ прелестей брака со старымъ вдовцомъ, а только не караетъ своей Любви Гордеевны за то, что она не бѣжитъ съ Митей, а въ грустномъ раздумьи не знаетъ, что ей дѣлать? Какъ хорошъ, какъ многосодержателенъ ея короткій разговоръ съ Коршуновымъ.

„— Вотъ что скажу вамъ, драгоценная моя барышня: молодые-то загуливать любятъ, веселости, да развлеченія, да дебоши разные, а жена-то сиди дома, жди его до полуночи. А пріѣдетъ-то пьяненькій, заламается, заважничаетъ. А старикъ-то все подлѣ жены такъ и будетъ сидѣть; умирать будетъ — прочь не отойдетъ.

„— А васъ-то жена-покойница любила?

„— А вамъ, сударыня, на что это?

„— Такъ, хотѣлось знать.

„— Знать хотѣлось?... Нѣтъ, не любила, да и я не любилъ ее. Она и не стоила того, чтобы ее любить-то. Я ее взялъ бѣдную, нищую, за красоту только одну; все семейство призрѣлъ; спасъ отца изъ ямы; она у меня въ золотѣ ходила!

„— Любви золотомъ не купишь.

„— Люби не люби, да почаще взглядывай! Имъ, вишь, деньги нужны были, нечѣмъ было жить. Я давалъ, не отказывая, а мнѣ вотъ нужно, чтобы меня любили. Что жъ я воленъ этого требовать, или нѣтъ? Я вѣдь за то деньги платилъ. На меня грѣхъ пожаловаться: кого я полюблю, тому хорошо жить на свѣтѣ, а ужъ кого не полюблю, такъ не пеняй“.

Отъ грозящей бѣдняжкѣ Любви Гордеевнѣ золотой клѣтки спасаетъ ее близкій ей человѣкъ, но такой, на котораго ни она ни Митя ужъ, конечно, не рассчитывали. У Мити, какъ у сказочнаго Иванушки, душа широкая. Мало у него за душой, а нѣтъ, нѣтъ да и дастъ гривенничикъ Любиму Карпычу Торцову, родному брату своего хозяина, который его и не хочетъ знать за пропащую его жизнь. Любимъ Карпычъ, не имѣющій даже и своего угла, скажетъ Митѣ: „я ночевать къ тебѣ приду“, и въ самомъ дѣлѣ прідетъ и ночуетъ. И вдругъ, безъ малѣйшаго расчета съ Митиной стороны,

пригодился ему Любимъ Торцовъ, какъ Иванушкѣ пригодилась ка-кая-то птица, которой птенчиковъ онъ пригрѣлъ.

А вѣдь безпутный человекъ Любимъ Карпычъ. Да, но онъ самъ больше всѣхъ и чувствуетъ свое безпутство, и вотъ этимъ-то въ са-момъ корнѣ и отличается онъ отъ Африкана Саввича, который когда-то точно такъ же гулялъ, но котораго вывезло то, что онъ и надуть умѣлъ и на надувательствѣ соорудилъ себѣ спасительную при-стань, чтобы затѣмъ къ ней пристать и зажить уже степенно, но широко, зажить въ роскоши на томъ берегу, на который ему удалось таки выплыть.

„Остался я послѣ отца, видишь ты, малъ-малъ-малехонекъ, съ коломенскую версту, лѣтъ двадцати несмышленочекъ“, самъ на свой счетъ прохаживался Любимъ Карпычъ, исповѣдуясь Митѣ. „Въ го-ловѣ-то, какъ въ пустомъ чердакѣ, вѣтеръ такъ и ходитъ. Раздѣли-лись мы съ братомъ: себѣ онъ взялъ заведеніе, а мнѣ далъ деньгами, да билетами, да векселями. Ну, ужъ какъ онъ тамъ раздѣлилъ — не наше дѣло, Богъ ему судья“. Не желая судить, обвинять другихъ, когда и самъ виноватъ, Любимъ Торцовъ не думаетъ о томъ, что у брата, когда онъ взялъ себѣ заведеніе, а ему отдалъ деньги, былъ, можетъ-быть, и расчетъ на то, что деньги легче спустить, а что за-веденіе устойчивѣе. Есть, вѣдь, и такая черта въ людяхъ — она под-мѣчена психологіею народныхъ сказокъ — что люди не терпятъ чу-жого счастья, чужого благосостоянія, что даже братъ способенъ бы-ваетъ глядѣть на братнино счастье, какъ на какую-то помѣху своему собственному. „Вотъ я и поѣхалъ въ Москву по билетамъ деньги получать, — продолжаетъ Любимъ, — нельзя не ѣхать. Надо людей посмотрѣть, себя показать, високаго тону набраться... Надобно до всего дойти! Первое дѣло, одѣлся франтомъ, знай, дескать нашихъ! То-есть такого-то дурака разыгрываю, что на рѣдкость. Сейчасъ, раз-умѣется, по трактирамъ... „Шпиленъ зи полька, еще бутылочку похо-лоднѣ“. У него, видно, какъ у брата Гордея, было своего рода тяго-тѣнне къ *цивилизациі*. Но Гордей, разумѣется, оставался совершенно чуждъ той артистической жилки, которая сказывалась въ культурныхъ вождѣльнїяхъ Любима. Вотъ эта-то жилка, быть можетъ, и содѣй-ствовала тому, чтобы не въ конецъ заглохло въ Любимѣ то, что на-зывается „искрой Божіей“. „Я въ трагедію ходилъ смотрѣть, — го-воритъ онъ, хотя и прибавляетъ, можетъ-быть, и преувеличивая, въ порывѣ самоосужденія, будто „не помнить ничего, потому что больше все пьяный“. „Такимъ-то побытомъ, — доходитъ до развязки Лю-бимъ, — деньжонки всѣ я ухнулъ; что осталось, довѣрилъ другу Африкану Коршунову на божбу да на честное слово; съ нимъ же и я пилъ да гулялъ, онъ же всему безпутству заводчикъ, главный затор-щикъ изъ бражнаго, онъ же меня и надулъ, вывелъ на свѣжую воду. И сѣлъ я, какъ ракъ на мели“. Дѣло дошло до того, что хоть петлю на шею. „Есть ремесло хорошее, — попрежнему издѣвается надъ сво-имъ положеніемъ Любимъ, — коммерція выгодная — воровать. Да не

гожусь я на это дѣло — совѣсть есть, опять же и страшно: никто этой промышленности не одобряетъ“. Сказаль было словечко и въ свою пользу, да и сейчасъ же и отговаривается, будто скорѣе его удержали практическія соображенія. А вѣдь дѣло-то именно въ томъ, что совѣсть въ немъ не заснула, тогда какъ она спитъ и въ Коршуновѣ и въ Гордеѣ Карпычѣ. Не сдѣлавшись воромъ, сдѣлался бѣдняга-Любимъ скопорохомъ. „Какъ пріѣдетъ, — говоритъ онъ, — особенно кто побогаче, выскочишь, сдѣлаешь колѣнце, ну и дасть, кто пятачекъ, кто гривну“. Стыдно, однако, такъ жить. Не лучше ли взяться за трудъ? „Такъ ужъ рѣшилъ, — продолжаетъ онъ, — сходить Богу помолиться да итти къ брату, пусть возьметъ хоть въ дворники. Такъ и сдѣлалъ. Бухъ ему въ ноги! Будь, говорю, вмѣсто отца! Жилъ такъ и такъ, теперь хочу за умъ взяться. А ты знаешь, какъ братъ меня принялъ? Ему, видишь, стыдно, что у него братъ такой. А ты поддержи меня, говорю ему, оправь, обласкай, я человекъ буду. Такъ нѣтъ, говоритъ, куда я тебя дѣну. Ко мнѣ гости хорошіе ѣздить, купцы богатые, дворяне; ты говоритъ, съ меня голову снимешь“. Ну, совершенно какъ въ народныхъ сказкахъ. Только у Гордея проступаетъ и тутъ незнакомый имъ отгѣнокъ культурности. „По моимъ чувствамъ и понятіямъ, мнѣ бы совсѣмъ, говоритъ, не въ этомъ роду родиться. Я видишь, говоритъ, какъ живу: кто можетъ замѣтить, что у насъ тятенька мужикъ былъ“. Въ этомъ смыслѣ Гордей напоминаетъ Алексѣя Лохматаго, только тотъ не сразу, а постепенно, все болѣе и болѣе скатываясь внизъ, по мѣрѣ того, какъ думаетъ подняться вверхъ, доходитъ до подобнаго презрѣнія къ своимъ, къ своему происхожденію. „Сразилъ онъ меня, какъ громомъ, — говоритъ о братѣ Любимѣ. — Съ этихъ-то словъ я опять сталъ зашибаться немного. Ну, да я думаю, Богъ съ нимъ, у него вотъ эта кость толста“. Но дѣло не столько тутъ въ мѣдлолобіи, сколько въ заспавшейся совѣсти. Впрочемъ, одно съ другимъ граничить.

Но вотъ, должно быть, провѣдалъ Любимъ, что у Гордея Карпыча уже и сговоръ съ Коршуновымъ. Жалость, должно-быть, его разобрала, жалость къ племянницѣ, жалость къ Митѣ, смиренному въ самомъ хорошемъ смыслѣ; не важничающему съ бѣдняками и даже съ несчастными гулящими, доброму Митѣ. Впрочемъ, Любимъ еще заранѣе сказаль послѣднему про Гордея Карповича: „ну, да я съ нимъ штуку сдѣлаю; дуракамъ богатство — зло“. И Любимъ Карпычъ, въ своемъ обычномъ забубенномъ костюмѣ, является вдругъ въ гостиной брата, не стыдясь его новой „небели“ и его фиціантовъ, да еще протягиваетъ руку Коршунову. „Я тебя, братецъ, помню, — говоритъ тотъ — ты по городу ходилъ, по копеечкѣ сбираль“. — „Ты помнишь, какъ я по копеечкѣ собираль, а помнишь ли ты, какъ мы съ тобой погуливали, осеннія темныя ночи просиживали, изъ трактира въ погребокъ перепархивали? А не знаешь ли ты, кто меня разорилъ, съ сумой по міру пустилъ?“ Но Любимъ Торцовъ на этомъ не останавливается. Когда Гордей, увидавъ его у себя, кричитъ ему: „что ты со мной

дѣлаешь? вонъ сойчасъ“), Любимъ и не думаетъ уходить, а преспокойно задаетъ Коршунову задачу: „отчего у осла длинныя уши“, самъ же и рѣшая ее затѣмъ: „для того, чтобы всѣ знали, что онъ осель“. Милому же братцу, Гордею Карпычу, задаетъ онъ вопросъ: „Честный ты купецъ или нѣтъ? Коли ты честный, не водись съ безчестнымъ, не трись подлѣ сажы — самъ замараешься“. Сколько не угориваютъ его, у Любима одинъ отвѣтъ: „не замолчу, теперь кровь заговорила!“ Обращаясь къ входящимъ гостямъ, онъ обращается къ нимъ точно къ міру — народу: „Послушайте, люди добрые! Обижаютъ Любима Торцова, гонятъ вонъ. А чѣмъ я не гость? За что меня гонятъ (не даромъ еще раньше спросилъ брата: „ты думаешь, пьянъ Любимъ Торцовъ?“ сознавая себя теперь трезвымъ, онъ сознаетъ въ себѣ человѣческое достоинство). Я нечисто одѣтъ, такъ у меня на совѣсти чисто. Я не Коршуновъ: я бѣдныхъ не грабилъ, чужого вѣку не заѣдалъ, жены ревностью не замучилъ... Меня гонятъ, а онъ первый гость, его въ передній уголъ сажаютъ. Что жъ, ничего, ему другую жену дадутъ: братъ за него дочь отдаетъ!“ И Любимъ вправѣ говорить о своей чистой совѣсти — по крайней мѣрѣ, сравнительно съ братомъ и его нареченнымъ зятемъ; онъ вредитъ и вредитъ лишь себѣ, онъ чужого вѣку не заѣдалъ. Напрасно Коршуновъ увѣряетъ: „это онъ по злобѣ на меня говорить спяну“. — „Я тебѣ давно простилъ, — спокойно отвѣчаетъ Любимъ Торцовъ. — Я человѣкъ маленькій, червякъ ползущій, ничтожество изъ ничтожествъ! Ты другимъ-то зла не дѣлай“, заключаетъ онъ, считая себя даже слишкомъ ничтожнымъ, чтобы стоять за себя и мстить, но чувствуя себя „власть имущимъ“, если онъ заступаетъ за другихъ, за безвинную жертву родного отца. Сознавая въ себѣ эту власть, онъ вдругъ нравственно вырастаетъ, онъ повелительно говоритъ, когда братъ приказываетъ его вывести: „Не трогать! Хорошо тому на свѣтѣ жить, у кого нѣтъ стыда въ глазахъ!“ И видя, что все кругомъ, недоумѣвая, молчитъ, онъ уже со всею плотностью своего человѣческаго достоинства заключаетъ: „О люди, люди! Любимъ Торцовъ пьяница, а лучше васъ! Вотъ теперь я самъ пойду: шире дорогу!“ Если вѣрно, что отъ высокаго до смѣшного часто бываетъ всего одинъ шагъ, то тутъ выходитъ наоборотъ, что отъ смѣшного до высокаго тоже одинъ шагъ.

У Любима Торцова, по его словамъ, заговорила кровь. Но у него также заговорило и прирожденное человѣку чувство правды. Съ такою же смѣлостью далъ ему впоследствии зазвучать Островскій — только на поприщѣ неизмѣримо-расширенномъ — зазвучать устами Минина:

Не самъ я говорилъ, кровь заговорила.

Когда же вздумали ему пригрозить:

А скажу замолчать, такъ замолчишь.

Онъ съ невозмутимомъ увѣренностію отвѣтилъ:

Не замолчу. На то мнѣ данъ языкъ,
Чтобъ говорить...

Во имя тѣхъ же державныхъ правъ человѣческаго языка, какъ органа Божьей правды, заговорилъ и не позволилъ себя остановить и Любимъ Торцовъ. Онъ заговорилъ безъ опредѣленнаго плана, безъ вѣрнаго расчета на то, чтобы разбудить Коршунова, заставить его разобидѣть Торцова и такимъ образомъ стравить и затѣмъ развести двухъ столкнувшихся самодуравъ. Но такъ оно выходитъ на самомъ дѣлѣ — и въ этомъ глубокая психологія нашей драмы (тутъ ужъ не скажешь: комедія). „Шалишь, — говоритъ любезному тещюшкѣ Коршуновъ, — я даромъ себя обидѣть не позволю. Нѣтъ, ты теперь приди-ка ко мнѣ да мнѣ поклоняйся, чтобы я дочь-то твою взялъ“. Но вотъ тутъ-то коса и находитъ на камень. „Я къ тебѣ пойду кланяться?“ гордо спрашиваетъ Гордей. „Пойдешь, я тебя знаю, — отвѣчаетъ Коршуновъ. „Тебѣ нужно свадьбу сдѣлать, хоть въ петлю лѣзть, да только бѣ весь городъ удивить, а жениховъ-то нѣтъ. Вотъ несчастье-то твое“. Но это выходитъ уже черезъ край. „Опосля этого, когда ты такія слова говоришь, — отрѣзаетъ Гордей Карпычъ, — я самъ тебя знать не хочу. Я отродясь никому не кланялся. Я, коли на то пошло, за кого вздумается, за того и отдамъ! Съ деньгами, что я за ней дамъ, всякій человѣкъ будетъ“. Тутъ, какъ разъ, входитъ Митя, и Гордей, расхопившись, приговариваетъ: „Вотъ за Митьку отдамъ!... Завтра же, да такую свадьбу задамъ, что ты не видываль: изъ Москвы музыкантовъ выпишу, одинъ въ четырехъ каретахъ поѣду“.

Разнаго рода критика, по замѣчанію Добролюбова, возстала на автора за произвольность развязки. „Внезапная переимѣна Гордея Карповича, его ссора съ Африканомъ Саввичемъ и вниманіе къ требованіямъ Любима Торцова показались имъ неестественными“. Самъ Добролюбовъ справедливо выступилъ на защиту Островскаго, замѣтивъ: „одинъ самодуръ говоритъ: „ты не смѣешь этого сдѣлать!“ а другой отвѣчаетъ: „нѣтъ смѣю“. Тутъ споръ идетъ уже о томъ, кто кого передурить“.

„За Митьку, да! — продолжаетъ Гордей хорохориться. — „На зло ему, за Митьку отдамъ“. Напрасно, однакожъ, Митя, подъ вліяніемъ внезапной радости, сейчасъ и принялъ эти слова за чистую монету. Да, напрасно онъ расчувствовался, говоря: „Зачѣмъ же на зло, Гордей Карпычъ? Со зломъ такого дѣла не дѣлаютъ. Мнѣ на зло не надобно-съ. Лучше ужъ я всю жизнь буду мучиться. Коли ужъ есть ваша такая милость, такъ ужъ вы благословите насъ какъ слѣдуетъ, породителски, съ любовію... Какъ любили мы другъ друга и даже до этого случая хотѣли вамъ повиниться... А ужъ я вамъ вмѣсто сына, то-есть завсегда, всей душой-съ“. Чуть было онъ этимъ не испортилъ всего дѣла. „Что, что всей душой? — говоритъ Гордей Карпычъ: — Ты ужъ и радъ случаю! Да какъ ты смѣлъ подумать-то? Что она, ровня, что ль, тебѣ? Съ кѣмъ ты говоришь, вспомни!“ Но не даромъ же раздалось смѣлое слово Любима Торцова. Много значить смѣлое слово, и не пропадаетъ оно даромъ. Даетъ оно знать и другимъ, что нельзя молчать, подсказываетъ оно и другимъ, что грубая сила должна же сдаться передъ правдивымъ словомъ. Заговорила и безгласная, безпре-

кословная Любовь Гордеевна: „Я тятенка вашей воли не перечила. Коли хотите моего счастья, отдайте меня за Митю“. Заговорила и Пелагея Егоровна: „Что ты, въ самомъ дѣлѣ, Гордей Карпычъ капризничаешь, да!... Я было ужъ обрадовалась, насилу-то отъ сердца отлегло, а ты опять за свое... То скажешь за одного, то за другого. Чтò она тебѣ, на мытарство, что ли, досталась?“ Снова заговорилъ, выдвигаясь изъ толпы, бывшей свидѣтельницей всего предыдущаго, и Любимъ Карпычъ, заговорилъ ровнымъ, но проникающимъ въ душу голосомъ: „Братъ, отдай Любушку за Митю“. Ужъ напрасно теперь Гордей Карпычъ думаетъ защититься отъ пересиливающихъ его — тѣмъ, что ссылается на конфузъ, до котораго его довелъ Любимъ. „А ты еще съ совѣтами лѣзешь; — пытается онъ еще разъ отпихнуть его. — Ужъ пускай бы говорилъ человекъ, да не ты“. — „Да ты поклонись Любиму Торцову въ ноги, что онъ тебя оконфузилъ-то“, не сдаваясь по прежнему, властнымъ тономъ ему говоритъ Любимъ, а Пелагея Егоровна отъ всей полноты сердца подхватываетъ: „Да, именно. Снял ты съ нашей души грѣхъ великій; не замолить бы намъ его“. — „Что жъ, я — извергъ, что ли какой въ своемъ семействѣ“, начинаетъ сдаваться совсѣмъ Гордей Карпычъ. Изъ этого вы уже замѣчаете — сказано и у Добролюбова, — что его начинаетъ пробивать великодушіе. Разъ уже поставилъ на своемъ, прогнавъ Коршунова, и слѣдовательно самолюбіе его удовлетворено покамѣстъ. Къ тому же онъ уже и утомленъ напряженіемъ, которое сдѣлалъ, и не въ состояніи снова собрать ту же энергію для другой борьбы. А тутъ вмѣстѣ съ кроткими мольбами жены допекаютъ его разсужденія и назойливыя просьбы брата Любима, который говоритъ съ нимъ смѣло и рѣшительно, безъ всякихъ умолчаній, подкрѣпляя просьбы свои доказательствами, взятыми изъ собственнаго опыта“. „Посмотри на меня, — говоритъ онъ, — вотъ тебѣ примѣръ — Любимъ Торцовъ передъ тобой живой стоитъ. Онъ по этой дорожкѣ ходилъ, знаетъ какова она (т.-е. дорога богатства безъ руководящихъ правилъ). Я былъ и богатъ и славенъ, въ каретахъ ѣздилъ, такія шутки выкидывалъ, что тебѣ и въ голову не придетъ, а потомъ верхнимъ концомъ, да внизъ“. Но Гордей Карпычъ дѣлаетъ послѣднее усиліе, чтобы отпихнуть его, говоря: „Ты мнѣ что не говори, я тебя слушать не хочу; ты мнѣ врагъ на всю жизнь“. — „Человѣкъ ты или звѣрь? — окончательно напираетъ на него братъ: — пожалѣй ты Любима Торцова“. Тутъ и колѣни невольно подкашиваются у Любима: онъ уже не бичуетъ и требуетъ, а слезно молить. Поднявшись на ту высоту человѣческаго достоинства, на которую вдругъ его подняло занятое имъ положеніе глашатая правды, онъ, оглядываясь на себя, въ ужасъ приходитъ отъ предстоящаго ему возврата на прежнюю измененную линію, и хватается за Митино счастье, какъ за единственный якорь для своего спасенія. „Братъ, отдай Любушку за Митю, — причитаетъ Любимъ: — онъ мнѣ уголь дастъ. Назабся ужъ я, наголодался. Лѣта мои прошли, тяжело ужъ мнѣ паясничать на морозѣ-то изъ-за куска хлѣба; ходь подь старость-то

да честно жить. Вѣдь, я народъ обманывалъ: просилъ милостыню, а самъ пропивалъ. Мнѣ работишку дадутъ; у меня будетъ свой горшокъ шей“. У меня, хочеть онъ сказать, будетъ то, чего ты не захотѣлъ мнѣ дать, какъ бы мало оно тебѣ ни стоило; такъ дай же хоть другому-то дать мнѣ, чего самъ не далъ. А вѣдь Митя дастъ. „Что онъ бѣднякъ-то? Эхъ, кабы я бѣденъ былъ, я бы человѣкомъ былъ. Бѣдность — не порокъ!“ Тутъ только стоитъ еще подсказать Пелагеѣ Егоровнѣ: „неужели въ тебѣ чувства нѣтъ? — и Гордея уже прошибаетъ слеза. „А вы и въ самомъ дѣлѣ думали, что нѣтъ? — спрашиваетъ онъ, поднимая брата: — Не знаю, какъ и въ голову вошла такая гнилая фантазія“. Благословляя и дочь и Митю, онъ даже велитъ имъ сказать спасибо дядѣ Любиму Карпычу.

Драма кончается переходомъ опять въ комедію, благодаря развеселой выходкѣ Разлюляева, которою онъ какъ бы утѣшаетъ себя за то, что приходится уступить Митѣ Любовь Гордеевну, любимую имъ втихомолку. „Это онъ правду говорить: пьянство — не порокъ... то бишь, бѣдность — не порокъ... Вотъ всегда проврусь!“

Миллеръ.

Созданіе русскихъ типовъ, твердая постановка ихъ и гуманное отношеніе къ нимъ составляютъ главнѣйшую заслугу Островскаго, какъ художественнаго писателя.

Съ тѣхъ поръ, какъ покойный Добролюбовъ объяснилъ публикѣ обличительное значеніе дѣятельности Островскаго и далъ по его поводу удачный образчикъ чисто соціальной критики современныхъ авторовъ, приемы нашей журналистики въ отношеніи къ Островскому потеряли всякую самостоятельность и стали повторять, при появленіи его новыхъ произведеній, все одно и то же съ небольшими развѣ вариациями. Что бы ни появилось изъ-подъ пера его, рецензентъ прежде всего искалъ: что именно, какой видъ самодурства или семейнаго деспотизма обличаетъ авторъ въ своей новой пьесѣ, и по этому поводу старался самъ, по мѣры силъ, обругать русскую жизнь. О формѣ, о болѣе или менѣе правильномъ и счастливомъ замыслѣ, о старательности отдѣлки, никто не смѣлъ заводить и рѣчи, такъ какъ этого Добролюбовъ не дѣлалъ, и даже осуждалъ подобный критическій приемъ. Благодаря этому обстоятельству, положеніе Островскаго въ нашей литературѣ стало какимъ-то исключительнымъ: въ обличительномъ направленіи всей его дѣятельности никто не сомнѣвался, и въ этомъ отношеніи считали его безуворизненнымъ, а объ остальномъ мало заботились, и потому вышло такое обстоятельство, что напишетъ ли Островскій „Грозу“ или „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“, „Праздничный сонъ до обѣда“, или „Тяжелые дни“, — судя по отзывамъ журналистики, могло казаться, что всѣ эти пьесы совершенно одинаковой цѣнности и достоинства. Только „Мининъ“ нѣсколько смутилъ нашу критику и, не зная, какъ отнестись къ нему съ точки зрѣнія

Добролюбова, критика просто отворотилась отъ него, игнорировала его, какъ отступленіе Островскаго отъ своего истиннаго пути. Изъ всего этого вышли два неудобства. Во-первыхъ, Островскому не отъ кого уже было выслушать при случаѣ дѣльнаго замѣчанія, и ему пришлось продолжать свою художественную дѣятельность безъ всякой поддержки гласнаго общественнаго мнѣнія; во-вторыхъ, несмотря на то, что Островскій продолжалъ еще свою дѣятельность, читатели журналовъ остались при одномъ и томъ же, разъ высказанномъ взглядѣ на эту дѣятельность. А между тѣмъ, во взглядѣ Добролюбова на Островскаго была, какъ извѣстно, очевидная односторонность. Такъ, на примѣръ, онъ рѣшительно отнесъ всю массу лицъ, выведенныхъ Островскимъ до „Грозы“, къ представителямъ темнаго царства и только въ „Катеринѣ“ увидѣлъ *свѣтлый* лучъ въ этомъ царствѣ. Но если такой взглядъ, можетъ быть, и вѣренъ, съ точки зрѣнія покойнаго критика, то ужъ, конечно, онъ несправедливъ по отношенію къ самому автору, который, очевидно, различалъ разнообразныя лица въ своихъ пьесахъ не на двѣ только категоріи: жертвъ и гонителей, самодуровъ и униженныхъ и оскорбленныхъ. Мы очень хорошо понимаемъ, почему Добролюбовъ остановился преимущественно и даже исключительно на обличеніи русскаго общества, которое сознательно или невольно выразилось въ дѣятельности Островскаго. Въ сердцѣ, наболѣвшемъ отъ безчисленныхъ отечественныхъ безобразій, Островскій, своимъ цѣльнымъ, живымъ, полнымъ правды міромъ лицъ и отношеній долженъ былъ затронуть множество чувствительныхъ сторонъ мысли, направленной преимущественно на разъясненіе гнетущаго насъ всѣхъ зла, и онъ неизбѣжно долженъ былъ открыть и пояснить многое, не находившее себѣ прежде опредѣленнаго мѣста и оказавшееся общими, родовыми чертами нашего общества. И потому нѣтъ ничего удивительнаго, что Добролюбовъ воспользовался Островскимъ, какъ прекраснымъ поводомъ выяснить самому себѣ и высказать публикѣ свои горячія и задушевные мысли о русской жизни вообще. Всякій человѣкъ дѣлаетъ хорошо одно дѣло, и это дѣло Добролюбовъ исполнилъ искренно и добросовѣстно въ своихъ статьяхъ объ Островскомъ. Но такова его умственная слабость и незрѣлость нашего общества и литературы, что они не въ состояніи переварить разомъ нѣсколько направлений мысли. То, что успѣло связаться съ извѣстнымъ талантомъ и энергіею, становится въ немъ на нѣкоторое время господствующимъ исключительнымъ образомъ мыслей, и въ этой исключительности неотразимо доводится, наконецъ, до пошлости. Такъ насмѣшки, справедливыя до извѣстной степени надъ искусствомъ для искусства, т.-е. надъ литературною дѣятельностью безъ серьезнаго содержанія, перешли въ наше время въ глумленіе надъ талантомъ вообще: исканіе въ поэзіи преимущественно социальныхъ задачъ обратилось въ поклоненіе задорной фразѣ и обличенію во что бы то ни стало, даже въ ущербъ глубинѣ и серьезности содержанія. Впрочемъ, мы нѣсколько отклонились отъ вопроса.

Разбирая безпристрастно и внимательно всю дѣятельность Островскаго, мы теперь, конечно, ни въ какомъ отношеніи не назовемъ ее исключительно отрицательной. Главная заслуга и характеристическая особенность его вовсе не въ этомъ. Первая и наиболѣе выношенная, тщательно отдѣланная пьеса его: „Свои люди — сочтемся“ написана, очевидно, подъ вліяніемъ сатирическаго направленія Гоголя, но затѣмъ онъ тотчасъ же пошелъ своимъ собственнымъ путемъ, иногда путаясь и сбиваясь на этомъ пути, такъ какъ это былъ путь новый, непробитый, но постоянно дѣлая свое собственное дѣло и отрывая дорогу новымъ дѣтелямъ. Уклоненія въ сторону и колебанія его происходили не оттого, чтобы онъ не всегда вѣрно судилъ выводимыя имъ же самимъ лица, и въ сущности рисуя постоянно темное царство, по временамъ обманывалъ самъ себя, воображая, что видитъ свѣтлыя тѣни въ этомъ царствѣ. Всѣ колебанія его оттого и происходили, что ясный и опредѣленный путь сатиры былъ вовсе не его; а какой именно былъ его путь — этого ни онъ самъ, какъ нововводитель, ни критика не могли объяснить доселѣ. Сатира прежде всего предполагаетъ, или строго носимый идеаль, или ясный и опредѣленный образъ мыслей и убѣжденій. Мы очень хорошо знаемъ, какой высокой, неосуществимый идеаль породилъ сатирическую дѣятельность Гоголя, или какой образъ мыслей далъ сюжетъ таланту Грибоѣдова. Но ни того ни другого въ дѣятельности Островскаго не отыщешь, или, по крайней мѣрѣ, не уловишь въ ясныхъ чертахъ. Притомъ, съ исключительно сатирическимъ направленіемъ невозможно бы было такъ долго и съ такимъ постояннымъ интересомъ разрабатывать почти исключительно купеческій и притомъ московскій купеческій бытъ. Изображеніе московскаго общества извѣстной эпохи, составляющее существенную заслугу комедіи Грибоѣдова, едва ли бы могло быть повторено имъ съ такою же силою въ другомъ произведеніи и прибавило что либо къ его литературной славѣ. Гоголю также, съ его точки зрѣнія, немного оставалось прибавить къ „Ревизору“ по части чиновниковъ. А Островскій постоянно находить сказать что-нибудь новое о тѣсномъ, повидимому, кругѣ московскаго купеческаго быта, и въ рукахъ его этотъ предметъ оказался неистощимымъ кладомъ. Въ чемъ же именно самостоятельность направленія Островскаго, гдѣ его сила и какая именно эта сила? Въмѣсто того, чтобы сочинять какое-нибудь искусственно; новое названіе для характера дѣятельности нашего автора, рассмотримъ, хотя вкратцѣ, но безъ всякой предвзятой мысли, что собственно далъ онъ намъ существеннаго и новаго въ теченіе своей многолѣтней дѣятельности. Покойный Добролюбовъ весьма удачно началъ свое извѣстное „темное царство“ сводомъ мнѣній, высказанныхъ въ разное время нашею критикою объ Островскомъ, и этимъ сводомъ наглядно показалъ, какъ путалась и противорѣчила сама себѣ критика въ своихъ отношеніяхъ къ этому писателю. Но исполнивъ весьма счастливо эту сторону свои задачи, онъ попытался самъ найти общій ключъ къ этой дѣятельности, ускользавшій дотолѣ отъ вѣрнаго

опредѣленія, и точно также впалъ самъ въ ошибку, въ чемъ теперь едва ли сомнѣвается кто-либо изъ понимающихъ дѣло людей. Не пускаясь въ подробное объясненіе этой ошибки, замѣтимъ одно: Добролюбову, для того чтобы поддержать свой взглядъ, пришлось доказывать, что Островскій половину изъ того, что писалъ до „Грозы“, то-есть, всѣ положительные и съ очевиднымъ сочувствіемъ нарисованные типы, не понималъ самъ или понималъ фальшиво. Но едва ли непосредственность или наивность творчества, возможная, конечно, до известной степени, можетъ простираться до такой степени. Наивность у Островскаго, безъ сомнѣнія, есть, какъ есть она у всякаго истиннаго художника, но она состоитъ вовсе не въ тупости соображенія, а въ непосредственныхъ, искреннихъ, не сочиненныхъ и не взятыхъ у кого-либо напрокатъ взглядахъ на жизнь. Заблужденія или смутныя отношенія къ своему дѣлу у Островскаго встрѣчаются, но они встрѣчаются именно тогда, когда онъ, очевидно, подчиняется какому-нибудь постороннему, чужому, на время осилившему его собственную природу, міросозерцанію, и именно настолько, насколько онъ подчиняется известному взгляду, задаетъ себѣ задачу. Такъ въ „Не въ свои сани не садись“ сказанъ нѣсколько и повредилъ дѣлу взглядъ славянофильскій; въ „Воспитанницѣ“, очевидно, выразились внушенія „Современника“; въ „Грѣхъ да бѣда“ повредила дѣлу искусственная задача написать изъ русской жизни сильную комедію. Благодаря множеству искусства, потраченнаго на эту послѣднюю задачу, она удалась до известной степени, но все-таки пьеса содержитъ всего менѣе того именно, что составляетъ главный капиталъ Островскаго. Но что же наконецъ, это за капиталъ? Типы очень простыя, и притомъ чисторусскіе типы, и въ то же время вполне человѣчные типы однимъ словомъ, то именно, что составляетъ главную, несомнѣнную, безспорную заслугу великаго таланта и чего никто, кромѣ истиннаго таланта, дать не можетъ. Нельзя не удивляться въ самомъ дѣлѣ, какъ никто до сихъ поръ не обратилъ надлежащаго вниманія на эту именно сторону дѣятельности Островскаго. Уже нѣсколько лѣтъ непрерывно, неистощимо, цѣлыми десятками заразъ, мечетъ изъ себя Островскій цѣлыя живыя фигуры все новыхъ и новыхъ людей, и никому не бросилась въ голову эта громадная сила, а все болѣе или менѣе полагаютъ эту заслугу въ направленіи, въ разрушеніи социальныхъ задачъ, осуждаютъ преимущественно или хвалятъ его за эти стороны его дѣятельности, ожидаютъ чего-то отъ него съ этихъ сторонъ. Но положимъ, типы заслуга большая, скажетъ иной читатель, но вѣдь нужно же какое нибудь міровоззрѣніе, отношеніе автора къ этимъ типамъ. Извольте и это. Основа міровоззрѣнія Островскаго есть, по нашему мнѣнію, простое, благодушное гуманное отношеніе его къ своимъ типамъ, какъ къ живымъ людямъ. Повинуясь художественнымъ требованіямъ своей природы, Островскій мыслить, если можно такъ выразиться, типами. Какъ въ человѣкѣ зрѣніе есть окончательный, верховный органъ, которымъ повѣряются ощущенія другихъ внѣшнихъ

чувствъ и на впечатлѣніи котораго окончательно успокаивается человекъ, котораго вниманіе возбуждено, напримѣръ, новымъ запахомъ или шумомъ, такъ истинный художникъ, при наблюденіи жизни и совершающихся въ ней драматическихъ коллизій, успокаивается совершенно, когда успѣетъ привести новый смутный фактъ къ типамъ, къ родовымъ чертамъ. Передать другимъ эти типы, то-есть свое удовлетворенное и успокоенное воззрѣніе на жизнь, такъ же необходимо для него и важно для принимающаго, какъ передача новаго открытія науки, новаго вывода изъ наблюдений. Больше мы не станемъ распространяться объ этомъ. Для тѣхъ, кому сказанное покажется не совѣмъ понятнымъ, мы постараемся почаще съ разныхъ сторонъ возвращаться къ этому предмету.

Сказанное сейчасъ прилагается до извѣстной степени и къ каждому художнику, но изъ нашихъ писателей въ Островскомъ это свойство заключается въ наибольшей степени и силѣ, и менѣе всего загоразживается другими, побочными, часто далеко перевѣшивающими свойствами. Есть именно писатели, которыхъ вся сила заключается въ направленіи, въ строгости и чистотѣ убѣжденій, или въ чуткости къ идеямъ, носящимся въ воздухѣ, или непримиримой злобѣ къ злу и т. д. Въ Островскомъ, повторяемъ, главная сила есть сила, творящая типы, осмысливающая жизнь этимъ способомъ. Едва ли нужно пояснять, почему именно драматическая, т.-е. правильнѣе, разговорная форма есть наиболѣе удобная и приличная для его дѣятельности? Тамъ, гдѣ главная задача дать типъ, а не передать свой образъ мыслей, не внушить что-либо, не сообщить то или другое настроеніе духа, и гдѣ, съ другой стороны, этотъ типъ вполне ясенъ и живъ для самого автора—форма, наискорѣе ведущая къ цѣли, есть форма драматическая. Другія лица, развитіе дѣйствія требуются при этомъ лишь настолько, насколько они помогаютъ типу раскрыть себя живымъ образомъ, т.-е. въ дѣйствіи.

Но типы сами по себѣ составляютъ только матеріалъ художественныхъ произведеній, необходимы еще задача, направленіе, безъ которыхъ художественная дѣятельность не имѣла бы смысла, или правильнѣе говоря, которыя не могутъ выразиться въ серьезной дѣятельности. Гдѣ же такое стройное, выдержанное направленіе въ Островскомъ, когда онъ, то съ уваженіемъ относится къ Русакову, съ явнымъ сочувствіемъ выставляетъ Катерину, или почти въ одно и то же время рисуетъ Марю Борисовну и Воспитанницу. Это кажущееся противорѣчіе Островскаго самому себѣ всегда сильно смущало нашу критику и не объяснено, по нашему мнѣнію, окончательно и гипотезою Добролюбова о бессознательномъ творествѣ. Дѣло просто въ томъ, что направленія мысли, какъ они вообще вырабатываются политическими и социальными партіями, и еще менѣе въ томъ видѣ, какъ они выработались въ нашей литературѣ, вовсе не годятся по своей исключительности для художественной дѣятельности. При узкомъ пониманіи задачъ искусства и связи его съ цивилизующими

началами вообще, художникъ, дѣйствительно, представляется не болѣе какъ проводникомъ въ массу публики идей, выработанныхъ теоретическою мыслью, простымъ популяризаторомъ извѣстныхъ, иногда чужихъ взглядовъ, убѣжденій. И это, пожалуй, справедливо въ отношеніи такихъ дѣятелей, какъ, напр., Григоровичъ, котораго романы изъ крестьянскаго быта остались не безъ вліянія въ извѣстномъ на правленіи на массы, но затѣмъ уже, какъ выжатый лимонъ, не годятся ни для какого употребленія. Но другое дѣло настоящая художественная дѣятельность, какова, напр., Островскаго. Прежде всего онъ, не оставаясь, конечно, чуждымъ всѣхъ идей современности и чутко прислушиваясь къ различнымъ вопросамъ жизни, тогда только и остается вполне оригинальнымъ, когда сохраняетъ вполне свободнымъ свой собственный взглядъ, видитъ въ ней то или другое не при помощи очковъ, предлагаемыхъ ему различными литературными партіями, но своими собственными глазами, черпаетъ изъ дѣйствительности, не отразившейся уже такъ или иначе, подъ чужимъ угломъ зрѣнія, но имѣетъ дѣло непосредственно съ этой дѣйствительностью, какъ съ необработаннымъ, сырымъ матеріаломъ. Онъ не можетъ, конечно, оставаться равнодушнымъ къ тому, что изобрѣтаютъ другіе умы на пользу человечества, или къ различному образу мыслей, по которому такъ или иначе представляется дѣйствительное положеніе дѣлъ или виды на будущее, но положеніе его къ различнымъ борющимся въ обществѣ взглядамъ и партіямъ должно быть нѣсколько подобно изображенному Пушкинымъ:

И скромно ты внималъ
За чашей медленной Ахею иль Деисту,
Какъ любопытный скифъ аѣнскому софисту.

Мы не безъ умысла выбрали эти стихи для выраженія нашей мысли. Именно и скифъ и аѣнскій софистъ какъ нельзя болѣе идутъ къ вопросу о положеніи серьезнаго народнаго художника въ современномъ обществѣ. Съ одной стороны, передъ нимъ лежитъ темною необъятною массою родная, дорогая ему сторона, съ которой, какова бы ни была она, онъ все-таки связанъ самыми неразрывными узами и благо которой во всякомъ случаѣ составляетъ конечную цѣль его мыслей; съ другой—онъ слышитъ выпучую дѣятельность далеко ушедшей мысли, мысли смѣлой и манящей, но по большей части взлелѣянной и возросшей на чужой почвѣ, или другомъ складѣ жизни и иныхъ историческихъ условіяхъ. И задумается „любопытный скифъ“ какъ то еще раздадутся въ его отечествѣ рѣчи „аѣнскаго софиста“.

Но не говоря уже о трудности въ наше время выбора такъ называемаго направленія, настоящій художникъ чувствуетъ, что проводить идеи Ахея иль Деиста, вовсе не его дѣло, или по крайней-мѣрѣ далеко не главное его дѣло. Въ типахъ, которые даютъ ему созерцаніе родной жизни, онъ прежде всего видитъ вѣчныя черты человеческой природы, такъ или иначе складывающіяся подъ вліяніемъ извѣстнаго

склада жизни, онъ судить ихъ прежде всего вѣчнымъ нравственнымъ судомъ, независимо отъ ихъ образа мыслей или другихъ обстоятельствъ, такъ или иначе отразившихся на нихъ.

Положеніе Островскаго въ нашей литературѣ ясно опредѣляется послѣ всего сказаннаго. Міросозерцаніе его есть чисто художественное, то именно, которое въ пониманіи дѣйствительности успокаивается на типахъ. Нѣтъ, кажется, нужды объяснять, что такое успокоеніе не есть равнодушіе, а только законное удовлетвореніе мысли и что разъяснить какой-нибудь сложный фактъ людской жизни до типическихъ образовъ есть такая же потребность и заслуга со стороны художника, какъ открытіе законовъ въ явленіи природы. Основное міросозерцаніе его есть благодушное, гуманное отношеніе къ человѣческой личности въ ея разныхъ проявленіяхъ. Живая связь его дѣятельности съ движеніемъ нашей мысли выражается повсюду и, какъ мы замѣтили, даже иногда заставляла его склоняться во вредъ его собственному дѣлу къ тому или другому исключительному направленію. Но здоровый талантъ постоянно поправлялъ эту временную уступку и не давалъ ему сдѣлаться окончательно писателемъ съ тѣми или другими рѣшительно высказавшимися тенденціями. Онъ постоянно разрабатывалъ и разлагалъ на типы русскую жизнь, склоняясь по временамъ туда или сюда, подъ напоромъ извѣстныхъ тенденцій, заявлявшихъ себя въ литературѣ и въ обществѣ, но постоянно дѣлалъ свое собственное дѣло, наполняя наше воображеніе родными образами и открывая намъ самыя глубокія основы всего склада русской жизни. Этого мало: его нравственный судъ надъ выводимыми имъ лицами, несмотря на всю свою мягкость, былъ всегда ясно и твердо поставленъ, не давая повода ни къ какимъ недоразумѣніямъ и колебаніямъ. Онъ, можетъ быть, былъ и ошибоченъ кое въ какихъ мелочахъ, подъ вліяніемъ не совсѣмъ додуманныхъ идей, но въ большинствѣ случаевъ былъ безусловно вѣрнымъ, такъ какъ опирался, преимущественно, на вѣчные законы добра и зла, а не на тѣ или другія точки зрѣнія на общественное устройство и проистекающія оттуда иногда вымышленныя обязанности. Именно эта послѣдняя сторона дѣятельности Островскаго, кажется намъ, недостаточно еще оцѣнена нашей критикой, да и вообще, по нашему мнѣнію, на нее недостаточно обращаютъ вниманія. А между тѣмъ это вопросъ очень важный и болѣе или менѣе ясное и вѣрное отношеніе къ нему писателя даетъ совсѣмъ особое значеніе его дѣятельности.

Островскій, выведя какое-либо лицо, не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, хорошій или дурной въ сущности человѣкъ является, по его волѣ, передъ вами, и это высказывается не какими нибудь посторонними способами, но просто глубокимъ захватомъ типа, твердостью и ясностью его постановки и освѣщенія. Нѣтъ нужды, кажется, пояснять, какъ важно это свойство въ писателѣ драматическомъ, народномъ, наполнившемъ нашу сцену своими произведеніями.

Но послѣ этихъ общихъ чертъ войдемъ въ нѣкоторыя частности драматической дѣятельности Островскаго. Прежде всего мы должны

здѣсь сказать, что, по нашему мнѣнію, какъ ни страннымъ оно можетъ показаться на первый разъ, Островскій не драматургъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Большая часть его пьесъ положительно страдаетъ недраматическою постройкой, введеніемъ на сцену эпического, — элемента, мало нужными для хода дѣйствія лицами и проч.; драматическіе сюжеты онъ вообще, очевидно, придумываетъ и не всегда удачно; такъ, напр., мы положительно считаемъ драму „Грѣхъ да бѣда“ фальшивою по замыслу, хотя и необыкновенно искусно составленною. Комизмъ его также есть, по преимуществу, комизмъ разговора, а не положеній. Но все это не мѣшаетъ ему, впрочемъ, быть все таки безцѣннымъ въ настоящее время писателемъ для сцены. Огромное количество живыхъ, вполне народныхъ и ясныхъ фигуръ, положенія дѣйствующихъ лицъ всегда вѣрныя, правдивыя и полныя жизни; образцовая народная рѣчь, о какой прежде наша сцена не имѣла и понятія: все это качества, безъ сомнѣнія, драгоценныя для сцены. Но все-таки повторяемъ, драматургомъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова Островскаго назвать нельзя. Всѣ его произведенія суть бытовыя пьесы съ болѣе или менѣе драматическою завязкой, но исключительнаго дарованія къ изобрѣтенію чисто драматическихъ сюжетовъ, особой способности находить легко въ самой жизни истинныя данныя для этого онъ не обнаружилъ. Самую счастливую попытку въ этомъ родѣ представляетъ „Гроза“, но о ней мы поговоримъ когда-нибудь въ другой разъ, а теперь замѣтимъ только, что, по нашему убѣжденію, эта пьеса не опровергаетъ общаго нашего положенія о родѣ таланта Островскаго. Сама ли жизнь наша не представляетъ еще данныхъ для серьезной, строгой драмы, или такія задачи не въ характерѣ автора, объ этомъ есть разныя мнѣнія, но на этотъ разъ мы воздержимся также и отъ этого вопроса.

Итакъ, разъясненіе русской народной, въ широкомъ смыслѣ этого слова, жизни, цѣлая масса типовъ, представляющихъ любопытнѣйшія данныя для изученія склада нашего общества, своеобразныхъ свойствъ русскаго ума и проч. и проч... твердая постановка этихъ типовъ и яркое нравственное ихъ освѣщеніе—таковы главнѣйшія заслуги Островскаго, которыя, по нашему искреннему убѣжденію, будутъ цѣниться все болѣе и болѣе и которыхъ широкое значеніе обнаружится вполне лишь съ открытіемъ у насъ народнаго театра. Но кромѣ этихъ главныхъ и общихъ чертъ всей дѣятельности Островскаго, необходимо отличать въ его пьесахъ, особенно написанныхъ въ послѣднее время, два разныя направленія. Въ одномъ онъ положительно развивается самъ, идетъ впередъ, напрягая всѣ свои силы къ проложенію новыхъ путей въ области русскаго драматическаго искусства. Здѣсь онъ то ставитъ себѣ задачу въ созданіи идеальныхъ характеровъ на чисто русской основѣ, то пробуетъ свои силы надъ воплощеніемъ великихъ моментовъ изъ народной исторической жизни, то старается найти въ нашей жизни элементы сильной, роковой драмы. Въ другой половинѣ своей дѣятельности онъ какъ бы отдыхаетъ отъ напряженныхъ

усилій строгой художественной работы; и всегда богатый новыми образами, накапливающимися еще болѣе при сильномъ напряженіи душевныхъ силъ, укладываетъ ихъ въ нестрогую художественную форму и представляетъ публикѣ въ видѣ такъ называемыхъ имъ сценъ и картинъ изъ московской жизни. Скажемъ нѣсколько словъ о томъ и другомъ видахъ его дѣятельности, и начнемъ со второй, по мнѣнію многихъ, слабой стороны его дѣятельности.

Возьмемъ для примѣра хоть одну изъ некрупныхъ пьесъ Островскаго — „Праздничный сонъ до обѣда“, въ которой многіе не видятъ ничего кромѣ ряда забавныхъ сценъ. Въ небольшой пьесѣ, при содѣйствіи очень немногихъ лицъ, авторъ переноситъ васъ въ какой-то отдѣльный, замкнутый, почти фантастическій міръ. Тамъ, въ этомъ тѣнистомъ, огороженномъ высокимъ заборомъ саду, происходятъ сцены, до того оригинальныя, до того непохожія на окружающую васъ жизнь, что сначала кажется, будто вы слушаете какую-то сказку. Но, всматриваясь ближе, вы узнаете знакомые типы, знакомыя понятія, почти знакомыхъ людей. Только никогда прежде, кажется вамъ не случалось такого счастливаго стеченія этихъ одномыслящихъ лицъ, никогда прежде не встрѣчалось имъ случая такъ искренно, задушевно высказать свои убѣжденія, вѣрованія, взгляды на жизнь и т. д. Точно согналь ихъ авторъ отовсюду въ мѣстность, наиболѣе приличную для ихъ походовъ, и тамъ на свободѣ, вдали отъ человѣческаго глаза, заставилъ ихъ высказаться на-голо безъ всякой утайки и притворства. И что же вышло? Въ знакомыхъ вамъ прежде, отрывочно высказываемыхъ тѣмъ или другимъ дикихъ мысляхъ, въ проскакивавшихъ кое-гдѣ и казавшихся вамъ не болѣе какъ случайными, личными взглядами и вѣрованіями, въ тѣхъ странныхъ отношеніяхъ, которыя по временамъ поражали васъ недоумѣніемъ среди окружающаго васъ общества, оказалась цѣлая стройная система, свой особенный міръ. Дѣло въ томъ, что до сихъ поръ мы встрѣчались лишь съ разрозненными членами этого міра. Затерянные между людей другого строя, эти несчастные естественно должны были поддѣлываться подъ большинство, затаивать свои задушевнѣйшія убѣжденія, сдерживать свои искреннѣйшія движенія, однимъ словомъ, притворяться. Часто, можетъ быть, даже встрѣчаясь въ обществѣ лицомъ къ лицу, не узнавая другъ друга въ искусственномъ нарядѣ, они расходились, не успѣвъ обмѣняться искреннимъ словомъ, пожить хоть часъ родною жизнью.

Силою своего таланта авторъ создалъ для нихъ все: скромное тихое мѣсто, родную компанію, поставилъ ихъ въ естественнѣйшія для нихъ отношенія, — и вотъ они узнали сразу другъ друга, почували себя въ родной стихіи, ожили, заговорили, стали обмѣниваться родными мыслями, распахнулись однимъ словомъ, считая себя безопасными отъ глаза иного общества. Но коварно поступилъ съ ними авторъ. Въ минуту полного разгара интриги, завязавшейся между ними, когда каждый высказывался вполне и беззавѣтно, считая себя совершенно укрытымъ и безопаснымъ, авторъ вдругъ поднялъ занавѣсъ и открылъ

публикѣ тайну этихъ людей, тайну, которую они такъ тщательно скрывали, толкаясь между посторонними. Отнынѣ нѣтъ уже для нихъ возможности смѣшаться съ другими людьми, выдать себя за что-либо другое, нельзя даже затеряться и смѣшаться въ толпѣ. Публика видѣла ихъ согнанныхъ вмѣстѣ въ лицо и въ натурѣ; она имѣетъ теперь ключъ къ тѣмъ отрывочнымъ чертамъ, которыя прежде казались ей только дикими и несвязными, но изъ которыхъ каждая теперь напоминаетъ имъ цѣлый образъ, цѣлую систему жизненныхъ воззрѣній, цѣлый міръ странныхъ отношеній.

Сказанное можетъ быть приложено ко всему отдѣлу той дѣятельности Островскаго, о которой мы говоримъ. Вездѣ мы найдемъ типичскія черты извѣстныхъ слоевъ нашего общества, извѣстнаго склада убѣжденій, черты, разсѣяныя въ дѣйствительности по безконечному пространству и различнымъ сословіямъ нашего отечества, но собранныя авторомъ въ одинъ фокусъ и озаренныя въ этомъ фокусѣ яркимъ свѣтомъ. Въ большей части пьесъ Островскаго изъ за нѣсколькихъ лицъ, сведенныхъ имъ въ данномъ дѣйствіи, вамъ видится множество вещей, которыхъ многіе, можетъ быть, и не подозреваютъ въ его произведеніяхъ. За случайно, повидимому, развивающимся событіемъ, за лицами, какъ-будто нечаянно попавшимися автору, вы чувствуете пружины, которыми движется не только эта небольшая кучка людей, но которыя управляютъ, а отчасти и продолжаютъ управлять всѣмъ ходомъ событій нашего отечества, всѣмъ строемъ господствующихъ убѣжденій. Вы чувствуете за ними и своеобразность русскаго склада ума, и вліяніе нашихъ историческихъ судовъ, и особыя условія нашей жизни, и многое еще, что, можетъ быть, покажется даже невѣроятнымъ нѣкоторымъ изъ нашихъ читателей. Въ этомъ, какъ уже было сказано выше, и полагаемъ мы, по преимуществу, заслуги Островскаго русской литературѣ. Никто болѣе его не выхватилъ живыхъ типовъ изъ водоворота жизни, никто глубже его не проникъ до коренныхъ основъ, устроившихъ жизнь самостоятельныхъ классовъ русскаго общества. Поэтому-то, повторяемъ, мы придаемъ сравнительно меньшее значеніе другимъ достоинствамъ Островскаго, какъ чисто драматическаго писателя.

Но если въ этого рода пьесахъ Островскаго комизмъ есть преобладающая струя, юмористическое отношеніе автора къ жизни есть почти единственное, то, при томъ же основномъ богатствѣ типовъ, въ другой половинѣ его дѣятельности мы встрѣчаемъ уже задачи болѣе широкаго объема и чувствуемъ иной ходъ русской жизни.

Въ драмѣ, напримѣръ, „Не такъ живи, какъ хочется“ на васъ отовсюду вѣетъ широко схваченною русскую жизнь, русскимъ духомъ. Въ героѣ Петрѣ Ильичѣ вы видите чисто русскаго удалого молодца съ его отчасти дикою наклонностью къ восторгамъ самозабвенія или попросту къ загулу. Вы чувствуете, какъ бьется эта сильная натура среди стѣснительныхъ для ея воли принциповъ, жизненныхъ условій и т. п. Вы видите въ лицо тѣ силы, которыя борются въ душѣ этого страстнаго человѣка, и авторъ до такой степени проникся народнымъ

міросозерцаніємъ, что даже олицетворилъ эти силы, почти въ томъ видѣ, какъ представляетъ ихъ себѣ народъ нашъ. Еремка — почти нечистая сила, мѣщане Агафонъ и Степанида представители начала порядка, семейности, однимъ словомъ, добра, по народному представленію. И, конечно, такъ задуманную и исполненную драму ничто не могло развязать лучше, какъ во-время еще сотворенное крестное знаменіе. Не говоримъ уже о нѣкоторыхъ побочныхъ лицахъ, мастерски задуманныхъ и выполненныхъ; но не правда ли, что все, рѣшительно все въ этой драмѣ льетъ яркій свѣтъ на характеръ нашего народа, его религиозныя, бытовыя и т. п. воззрѣнія?

Задача „Грозы“ иная. Въ первой драмѣ авторъ остается какъ бы безучастнымъ къ подвигамъ своего героя; олицетворивъ въ немъ по преимуществу буйныя, разрушающія житейское благоустройство силы, онъ представляетъ двумъ противоположнымъ силамъ борьбу за его душу и остается стороннимъ зрителемъ, твердо вѣруя вмѣстѣ съ народомъ въ благодатную, примиряющую силу началъ добра и порядка. Въ „Грозѣ“ авторъ выступилъ уже какъ будто вонъ изъ народнаго міросозерцанія. Сгустивъ краски, онъ представилъ консервативныя начала нашего народнаго міросозерцанія съ новой стороны, какъ грубую, узкую, гнетущую силу; протестомъ противъ нея являются свѣжія силы прекрасной природы съ законными требованіями воли и жизни, природы, какъ и слѣдовало ожидать, погибающей въ неравной борьбѣ. Но и въ протестующей Катеринѣ и въ томъ, что задавило это свѣтлое созданіе, мы узнаемъ свое, народное. Мы съ наслажденіемъ видимъ усилія автора найти въ данныхъ русской же жизни новыя начала, способныя къ борьбѣ съ слишкомъ уже отяготѣвшими надъ ней старыми формами, и торжествуемъ успѣхъ автора, какъ бы нашу собственную побѣду. Мы чувствуемъ неизбежность гибели того существа, къ которому авторъ успѣлъ возбудить всѣ наши симпатіи, но мы радуемся въ то же время новымъ, живымъ силамъ, открытымъ авторомъ въ той же народной жизни и сознаемъ ее вслѣдствіе того близкою себѣ, родственною. Огромная заслуга писателя! *Эдельсонъ.*

Островскій, какъ народный художникъ.

... Въ душѣ у чловкѣ
Въ числѣ даровъ Господнихъ есть одинъ
Спасительный; порочное и злое
Смѣшнымъ казать, давать на посмѣянье.
Велячіе родной земли героевъ
Восхвалять и честно и похвально;
Но больше честь, достойно большей славы,
Учить людей, изображая нравы.
Островскій: „Комикъ XVII столѣтія“.

Островскій — прямой послѣдователь того здороваго и плодотворнаго направленія русской литературы, верстовыми столбами котораго были — Фонвизинъ, Грибоѣдовъ, Крыловъ, Гоголь, къ которому очень

близко подошелъ Пушкинъ и даже отчасти Лермонтовъ. Гоголю онъ, конечно, ближайшій, кровный потомокъ. Въ Островскомъ несомнѣнно многія характерныя черты Гоголя: онъ такъ же какъ Гоголь знаетъ Россію, такъ же какъ Гоголь любитъ Россію, такъ же какъ онъ изображаетъ только Россію, самую неподдѣльную, самую русскую Россію. Какъ Гоголь, онъ далекъ отъ всякихъ чужеземныхъ вѣяній; какъ Гоголь, онъ владѣетъ неподражаемымъ мастерствомъ и тонкимъ чутьемъ настоящей русской рѣчи.

Рѣчь многихъ героевъ Островскаго невольно мѣшается съ народными поговорками, не зная, гдѣ вставлены онѣ подлинникомъ, гдѣ авторъ создаетъ ихъ самъ. Эта сила языка Крылова и Гоголя свойственна, кромѣ Островскаго, очень немногимъ крупнымъ писателямъ нашимъ, можетъ быть, только Некрасову, въ его счастливыя минуты, да въ извѣстной области мысли Щедрина. Ни Тургеневъ, ни графъ Л. Н. Толстой, ни С. Т. Аксаковъ, несмотря на все знаніе ихъ русской народности, не обладаютъ этою поразительною пластичностью народной рѣчи. Не обладали ею въ этой мѣрѣ и авторы Бориса Годунова и купца Калашникова. Островскій — глубоко народный писатель во всѣхъ смыслахъ, и это его величайшее достоинство.

По силѣ и строгости своей художественной работы онъ уступаетъ многимъ нашимъ современнымъ писателямъ. Его нельзя равнять въ этомъ отношеніи ни съ Тургеневымъ, ни съ графомъ Толстымъ, ни съ Гончаровымъ, и ужъ, конечно, нельзя равнять съ Гоголемъ. Островскій нигдѣ не далъ намъ полного и всесторонняго образа человѣка, во всей тонкости, сложности и разнообразіи его психическихъ тоновъ и изгибовъ, во всемъ непогрѣшимомъ правдоподобіи и внутреннемъ соответствіи его мыслей и дѣйствій на пространствѣ цѣлаго ряда лѣтъ, среди всякихъ людей и обстоятельствъ.

Онъ не можетъ сослаться въ свое оправданіе на сценическую форму, лишенную, сравнительно съ романомъ, многихъ вспомогательныхъ средствъ для выясненія и обработки характера. Если сцена не даетъ говорить отъ себя автору, не позволяетъ ему изслѣдовать то прошлое и далекое, что окружало когда-то его героевъ, то зато оно въ настоящемъ даетъ готовой человѣческой психиіи такой просторъ дѣйствія и выраженія, такую яркую сосредоточенность, съ которыми не можетъ сравниться относительно вялое и слишкомъ широко разбросанное изложеніе романа. Къ тому же великіе сценическіе типы Пушкина, Гоголя и Грибоѣдова безъ дальнихъ разсужденій опровергли бы въ прахъ всякія отговорки въ этомъ смыслѣ.

Нѣтъ, нужно признать откровенно, что даже лучшіе типы Островскаго не отличаются особеннымъ богатствомъ и острою психическаго содержанія. Того тончайшаго прониканія въ сложные, чуть примѣтные изгибы человѣческаго духа, которымъ мы наслаждаемся въ романахъ графа Л. Н. Толстого, тѣхъ страшныхъ подчасъ откровеній, которыя съ болѣзненно рѣзкою правдивостью, чуть не съ злорадствомъ, бросаетъ намъ въ глаза Достоевскій, распаивающій передъ

нами самыя темныя и глубокія пучины внутренней жизни человѣка, — мы не должны искать у Островскаго.

Какъ психологъ, онъ проще, грубѣе и поверхностнѣе. Оттого-то у него выработались не столько типы оригинальной *психической личности*, сколько *типы* извѣстныхъ кружковъ, извѣстнаго сословія. Если это ослабляетъ значеніе Островскаго, какъ писателя вообще, въ рядахъ общечеловѣческой литературы, если это дѣлаетъ его произведенія скорѣе проходящими, имѣющими значеніе для меньшихъ предѣловъ мѣста и времени, то зато это помогаетъ ему ближе и сильнѣе послужить своему народу, своему историческому часу.

Типы среды служатъ къ поднятію общественнаго самосознанія еще непосредственнѣе, чѣмъ общечеловѣческіе типы. Правда, они не проникаютъ такъ глубоко въ сознаніе, они значительно блѣднѣютъ по мѣрѣ удаленія отъ обстоятельствъ, ихъ вызвавшихъ, но зато они и не требуютъ такой внутренней подготовки для уразумѣнія ихъ, какъ типы болѣе общіе. Они доступнѣе и понятнѣе массамъ, одѣтые въ одежду этихъ массъ, говоря ихъ языкомъ, живя ихъ интересами. Гамлетъ и Лиръ, Сальери и Донъ-Жуанъ могутъ быть поняты только очень развитымъ человѣкомъ и только на него могутъ подѣйствовать воспитательно. Но поученіе, которое заключается въ судьбѣ Катерины или Краснова, въ характерахъ Большова или Кабанихи — не требуетъ ни для кого комментарій. Оно ясно и просто какъ вся будничная жизнь, ежедневно окружающая человѣка толпы.

Самое отсутствіе художественной тонкости въ психической работѣ характеровъ Островскаго, самъ ихъ, такъ сказать, несложный духовный составъ изъ двухъ, трехъ крупныхъ, почти осязательныхъ чертъ, усиливаетъ доступность и популярность этихъ характеровъ, а слѣдовательно, и ихъ силу поучительности, ихъ общественное значеніе. Эта простота внутренняго состава характеровъ не есть ложь или ошибка, не есть психологическое искаженіе. Нѣтъ, у Островскаго это только извѣстный пошибъ литературнаго „*писма*“ (въ смыслѣ живописцевъ). Художникъ видитъ только правду, художникъ улавливаетъ истинную суть человѣка, но только въ самыхъ основныхъ, крупныхъ, такъ сказать, опредѣляющихъ чертахъ. Его психологическое зрѣніе способно только на такое усвоеніе; болѣе нѣжныхъ, менѣе кричащихъ оттѣнковъ онъ не въ состояніи уловить, но тѣмъ не менѣе онъ смотритъ прямо и вѣрно, онъ уноситъ въ своемъ сердцѣ вполне живой и характерный образъ, хотя написанный и рѣзкими чертами. Такимъ же онъ и передаетъ его читателю въ процессѣ своего литературнаго творчества. Это, если хотите, своего рода живопись *al fresco*, которою можетъ издали любоваться разомъ многочисленная толпа, которая даже наименѣе внимательному бьетъ въ глаза своими выдающимися линиями и красками.

Но вѣдь къ фрескамъ, несмотря на нѣкоторую аляповатость и шаржировку ихъ, вполне приложимы и строгія условія анатоміи, и законы перспективны, и требованія колорита... Несмотря на сравни-

тельно грубые способы выполнения и на отсутствіе второстепенныхъ тоновъ, второстепенныхъ линій фрески все-таки могутъ производить впечатлѣніе художественности и высокой правдивости, если ихъ разсматривать какъ слѣдуетъ, съ ихъ собственной точки зрѣнія, а не въ лупу и не въ упоръ, если не требовать отъ нихъ того, чего они не могутъ и не собирались дать.

Мнѣ кажется, что всѣ литературныя произведенія, назначенныя для очень обширной и очень обыкновенной публики, всѣ, которыя должны и могутъ стать любимымъ достояніемъ массъ, неизбѣжно обязаны имѣть въ большей или меньшей степени, зависящій отъ условія мѣста и времени, этотъ характеръ живописи *al fresco*.

Я не допускаю мысли, чтобы самыя тонкія артистическія созданія нашихъ художниковъ, какъ словесныхъ, такъ и пластическихъ, могли быть оцѣнены вполне массою публики, *le gros du public*, и могли быть вполне ей доступны. Эти произведенія имѣютъ высокое значеніе въ томъ смыслѣ, что ими ведутся впередъ, или воспитываются передовые слои, передовые умы общества, котораго тонкимъ требованіямъ отвѣчаютъ онѣ. Король Лиръ, если и понравился толпѣ, то совсѣмъ не въ томъ смыслѣ и не въ тѣхъ размѣрахъ, какъ высоко-развитому человѣку. „Моцартъ и Сальери“, „Каменный гость“ Пушкина наводятъ зѣвоту на огромное большинство публики, уже помазанной образованіемъ. Нѣтъ, для толпы, для дѣйствія на воображеніе и на умы массъ, нужны иные приемы, чѣмъ для дѣйствія на какой нибудь литературный кружокъ.

Чтобы сдѣлаться широко народнымъ, художественное произведеніе должно обладать тѣми условіями рѣзкаго, изданаго замѣтнаго рисунка, и яркаго, сразу понятнаго цвѣта, безъ которыхъ оно не будетъ доступно народной толпѣ, неумѣющей близко всматриваться, дѣлать сложные выводы и сопоставленія, жаждущей уже готоваго, осязательно яснаго и сжатаго поученія, которое бы само собою вырѣзалось огненными буквами, какъ надпись библейскаго пророчества.

Это коренное условіе всякой популярности, говорите ли вы церковную проповѣдь, или политическую рѣчь въ народномъ собраніи; читаете ли вы публичную лекцію въ солянкомъ городкѣ, или пишете книжку для народныхъ читалень и школъ; создаете ли художественное произведеніе для народнаго театра, или рисуете стѣнную икону собора.

Письмо *al fresco* вездѣ здѣсь одинаково необходимо, и кто понимаетъ это, кто обладаетъ даромъ удовлетворить этому естественному условію жизни массъ въ той или другой области, тотъ достигаетъ успѣха, такъ часто приводящаго насъ въ недоумѣніе. Вся чисто народная литература, эпосъ, сказка, пѣсня, пословица, нравоучительная повѣсть, основаны какъ на гранитномъ фундаментѣ на одной безхитростной простотѣ и осязательной опредѣленности изображеній.

Въ народномъ творествѣ нѣтъ отдаленныхъ намековъ и загадочныхъ недомолвокъ, нѣтъ расплывающихся полутоновъ мысли и

чувства, нѣтъ неясныхъ штриховъ, невыговариваемыхъ настроеній, нераспутываемыхъ загадочныхъ плетениць психіи.

Все, что чувствуется и думается народомъ, находитъ себѣ прямо соотвѣтствующій реальный образъ, чаще всего принимаетъ форму живого существа. Эта пластичность и человѣкообразность народнаго творчества есть ничто иное, какъ именно органическая потребность массы мыслить и чувствовать, не иначе какъ съ совершенною опредѣленностью. А что можетъ быть опредѣленнѣе воплощенія идеи въ самый понятный человѣку образъ, въ образъ его самого?

Какое-нибудь неуловимое тоскливое чувство, дающее поводъ человѣку высшаго образованія развивать на счетъ его безконечныя философскія и психологическія соображенія, въ несложной мысли простаго человѣка сразу укладывается въ образъ злодѣя, придавившаго ретивое сердце, павшаго на него, какъ „туманъ на сине-море“. Ярославна плачетъ на забралѣ Путивля, выражая самыя опредѣленныя жалобы, мольбы и пожеланія. Она полетѣла бы кукушкой къ Каялѣ рѣкѣ, обмочила бы въ ней свой бобровый рукавъ и обмыла бы жгучія раны своего милаго.

Психологическіе портреты также просты и ясны. Буй-Туръ Всеволодъ и Игорь Святославовичъ обрисованы вполне двумя словами, безъ всякихъ тонкостей и обходовъ, словно вылиты изъ одной сплошной струи чугуна. Такими же однородными красками, такъ же цѣльно, во весь ростъ, рисуется Гомеромъ какой-нибудь Ахилесъ быстроногій, или многоумный Улисъ. Вся ихъ психіа — въ одномъ словѣ. Не больше духовной сложности и разнообразія въ богатыряхъ нашихъ былинъ, въ Ильѣ Муромцѣ, въ Васильѣ Буслаевичѣ. Психологическій анализъ Островскаго, крупностью своихъ штриховъ и несложностью своего состава, вполне подходитъ къ потребностямъ и силамъ народнаго ума. Врядъ-ли какой другой писатель въ состояніи выдержать ту пробу, которую несомнѣнно и блистательно выдержитъ Островскій своими лучшими комедіями и драмами.

Попробуйте дать на сценѣ настоящаго народнаго, именно *простонароднаго* театра, „Бориса Годунова“ Пушкина или „Ревизора“ Гоголя, не говоря уже о „Горе отъ ума“. Можно смѣло сказать впередъ, что „Горе отъ ума“ совершенно невозможно въ такомъ театрѣ; что „Борисъ Годуновъ“ отчасти не понравится публикѣ этого театра, отчасти не будетъ ею понятъ; а „Ревизоръ“, если и произведетъ нѣкоторое комическое впечатлѣніе, то самыми вѣшными и ничтожными сторонами своими, въ существенныхъ же основахъ своего комизма и своего правоописательнаго значенія останется непонятнымъ и невозбуждающимъ интереса.

Это зависитъ не оттого только, что всѣ эти сценическія произведенія рисуютъ жизнь, мало извѣстную народу, но и оттого еще, что авторы ихъ относятся къ своему предмету съ точекъ зрѣнія, недоступныхъ и непривычныхъ народу. Комическая точка зрѣнія, напримѣръ, Гоголя въ „Ревизорѣ“ ни въ чемъ не основана на обычныхъ взгля-

дахъ простаго народа, не имѣеть связи ни съ нравственными, ни съ бытовыми идеями его, а понятна исключительно только на почвѣ известной чиновнической среды, ея специфическихъ слабостей и условій.

Но Островскій дорогъ именно тѣмъ, что его мыслью, его перомъ, въ лучшихъ и характернѣйшихъ вещахъ его, говоритъ самъ народъ, вся безбрежно широкая масса неподдѣланнаго и непочатаго русскаго люда, олицетворяемаго мужикомъ, попомъ, купчиною, солдатомъ, закорузлымъ помѣщикомъ, всѣмъ тѣмъ, что еще живетъ историческою конкретною жизнью, стаднымъ чувствомъ, стадною мыслью, стадными идеалами народа, что не успѣло еще индивидуализировать себя и подвергнуть теоретической переработкѣ съ помощью новой науки, новыхъ учрежденій, новыхъ социальныхъ отношеній.

Говоримъ не въ томъ смыслѣ, конечно, чтобы Островскій являлся проповѣдникомъ или защитникомъ ихъ историческаго суевѣрія всякаго рода, а въ томъ смыслѣ, что основныя духовныя теченія этой обширной русской жизни нашли себѣ въ Островскомъ чуткаго и дружелюбнаго наблюдателя и мастерскаго выразителя; что добро и зло, свѣтъ и тьма этой старой, невыдуманной, крѣпко вросшей въ свою почву, на трехъ китахъ утвержденной жизни огромнаго народа отразились безыскусственно и безпристрастно въ лучшихъ произведеніяхъ Островскаго, полныхъ въ одно и то же время и неподдѣльной поэзіи и неподдѣльной грязи.

Мы говоримъ — *всего народа*, между тѣмъ какъ всякій знаетъ, что Островскій писалъ почти исключительно сцены купческаго и чиновничьяго быта. Внѣшнимъ образомъ онъ дѣйствительно касался почти одного только сословія. Но тотъ духовный міръ, который онъ раскрылъ намъ на почвѣ замоскворѣцкаго купчества, въ его одеждѣ и его языкомъ, — это міръ всей русской старины, всѣхъ коренныхъ русскихъ понятій, религиозныхъ и бытовыхъ, вкусовъ, обычаевъ, отношеній, сохраненныхъ ярче, чѣмъ кѣмъ-нибудь другимъ, богатыми мужиками, вылѣзшими въ именитое купчество, зажиточными крестьянами, грамотеями-солдатами и вообще всѣмъ тѣмъ многочисленнымъ людомъ, который получилъ возможность сколько-нибудь свободно примѣнять самому и проповѣдовать другимъ нравственныя идеалы допетровской Руси, составляющіе до сихъ поръ для громаднаго большинства русскаго народа единственно живую и единственно убѣдительную философскую систему.

Не только полутемный крестьянинъ нашъ, но и всякій деревенскій попъ, всякій истый деревенщина-помѣщикъ, всѣ они, при известныхъ обстоятельствахъ, бываютъ Русаковыми, Большовыми, Кабанихами, всѣ мыслятъ ихъ мыслью, руководятся ихъ взглядами, ощущаютъ ихъ чувства и желанія. Только фасонъ ихъ рѣчи и платья нѣсколько иной; во всемъ остальномъ они тѣсно солидарны съ купческими типами Островскаго. У нихъ съ ними одна мораль, однѣ вкусы, однѣ точки зрѣнія. Поэтому Большовы служатъ уже не узкими типами одного замоскворѣцкаго угла, а широкимъ общенароднымъ портретомъ русскаго человѣка.

Черезъ это произведенія Островскаго должны быть въ высшей степени доступны и привлекательны для народа. Все, что выводится въ нихъ, сцены и разговоры, наряды и забавы, ихъ мораль и ихъ остроуміе, ихъ трогательность и комизмъ, ихъ поэзія и сатира, — все это вполне знакомо народу, понятно, близко, родственно ему, поэтому все это должно непобѣдимо дѣйствовать на народъ. Онъ не можетъ почувствовать, присутствуя на комедіи Островскаго, что тутъ его собственною рѣчью говорятъ прямо съ его сердцемъ, прямо съ его головою. Конечно, довольно странно пускаться въ предсказанья. Но я не могу скрыть своей увѣренности, что при дальнѣйшемъ развитіи нашего народнаго образованія, котораго, вѣроятно, недолго придется намъ ждать, когда театръ войдетъ въ число обычныхъ и нормальныхъ воспитательныхъ вліяній, когда простонародный театръ завоеуетъ себѣ свободное право гражданства, какое онъ имѣетъ у другихъ народовъ, — капитальныя вещи Островскаго составятъ прочный, основной фондъ истинно народнаго репертуара.

„Бѣдность не порокъ“, „Не въ свои сани не садись“, „Свои люди сочтемся“, „Гроза“, „Не такъ живи, какъ хочется“, „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“, „Тяжелые дни“, „Горячее сердце“, „Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ“, „Воевода“ и другіе, — все это такія вещи, которыя не потребуютъ никакихъ комментаріевъ для самой простодушной и не книжной публики, которыхъ нравственное поученіе будетъ такъ же просто и ясно народу, какъ смыслъ его родныхъ пословицъ, служащихъ имъ, большею частью, заглавіемъ.

Соображенія эти отчасти уже оправдываются опытомъ. Всѣ знаютъ, какой успѣхъ вызвали въ свое время характерныя изъ пьесъ Островскаго не только въ образованной публикѣ, оцѣнившей ихъ мѣткость и оригинальность и привѣтствовавшей въ нихъ талантливое обнаруженіе многихъ темныхъ сторонъ нашего быта, но и просто въ черни, посѣщавшей „галѣрку“ и приходившей отъ Островскаго въ неописанный восторгъ. Тотъ фактъ, что вдругъ явилась масса актеровъ, отлично играющихъ разныя роли Островскаго, но мало способныхъ къ другимъ ролямъ, — прямо подтверждаетъ наши слова о доступности и увлекательности комедій Островскаго для простого русскаго человѣка.

Боборыкинъ ставитъ этотъ фактъ въ вину Островскому и видитъ въ немъ одну изъ причинъ паденія нашего сценическаго искусства, поводъ къ распушенности талантовъ, которымъ будто бы въ комедіи Островскаго открылось вдругъ поле незаслуженныхъ, никакимъ трудомъ недобываемыхъ успѣховъ, возможности, ни чему не учась, ни въ чемъ не совершенствуясь, играть множество ролей съ помощью только одного какого-нибудь комическаго жеста или произношенія. Но если это и было, то Островскій врядъ ли тутъ виноватъ. Въ его произведеніяхъ комизмъ почти нигдѣ не доходитъ до такихъ внѣшнихъ фарсовъ, и громадное большинство его характеровъ построены не на игрѣ слова, а на серьезной психической и бытовой основѣ. Эти характеры только; понятнѣе, проще, живѣе и потому выходятъ удачнѣе, чѣмъ

какіе-нибудь картинные характеры разныхъ безцвѣтныхъ, шаблонныхъ драмъ и водевилей, бездарно переведенныхъ на нашъ языкъ съ иностраннаго и потерявшихъ послѣдній духъ жизни въ чуждой имъ обстановкѣ, всѣхъ этихъ „Кларъ Д'Обервилъ“ и „Тридцать лѣтъ изъ жизни игрока“, гдѣ Альфреды, съ хохладскимъ произношеніемъ и бурсацкими манерами, бесѣдуютъ съ „грашвиными“, напоминающими кухарокъ.

Актеры — это тотъ же народъ; масса ихъ точно также чувствуетъ, что ей по плечу и что не по плечу; точно также увлекается однимъ, не понимаетъ другого. Актеры даже будничныхъ силъ почуяли въ театрѣ Островскаго родное имъ, возможное для нихъ поле, и оказались въ этихъ неподдѣльно русскихъ роляхъ очень порядочными актерами. Это признакъ не вреда, а пользы репертуара Островскаго для нашей сцены, его здоровья и естественности, а не искусственности или болѣзненности. Даже странно удивляться тому, что въ русскомъ обществѣ, среди русскихъ силъ и русскихъ взглядовъ, русское искусство пошло гораздо плодотворнѣе и развернуло больше дарованія въ своей собственной шкурѣ. Если бы явленіе это было не нормальнаго характера, то, конечно, невозможно бы было и то повальное господство театра Островскаго на нашей сценѣ, о которомъ свидѣтельствуетъ Боборыкинъ.

Насъ могутъ остановить на этомъ и замѣтить не безъ основанія, что если Островскій такъ удовлетворяетъ вкусамъ простонародья, то уже это одно указываетъ на то, что онъ не принадлежитъ къ числу писателей, двигающихъ впередъ наше общественное развитіе, поборающихъ предрасудки стараго міра и ведущихъ его къ просвѣщеннымъ идеаламъ европейской жизни.

Островскій, дѣйствительно, не принадлежитъ къ тенденціознымъ проповѣдникамъ тѣхъ или другихъ формъ и явленій общественной жизни, не принадлежитъ къ числу восторженныхъ рыцарей европейской цивилизаціи во что бы то ни стало. Но однако онъ и народенъ вовсе не въ томъ смыслѣ, чтобы обоготворять какъ неизблемое совершенство, исторически выработавшіеся факты и отношенія, чтобы звать всѣхъ на защиту ихъ неподвижности. Нѣтъ, Островскій честный писатель и не мѣшаетъ литературы съ проповѣдью. Его приемы и взгляды только приемы и взгляды художника, принадлежащаго всѣми корнями своему народу. Онъ умѣетъ видѣть, понять, изобразить народныя русскія стихіи, отъ общихъ настроеній до самыхъ мелочныхъ подробностей языка. Въ этихъ стихіяхъ, очевидно, плаваетъ и самъ онъ, его міросозерцаніе, его вкусы, его сочувствія. Оттого-то онъ и силенъ такъ на этой, родной ему почвѣ. Но художникъ вмѣстѣ съ тѣмъ и человекъ просвѣщенія и человекъ добра. Судьбы родной стихіи ему не безразличны; онъ не сдѣлался слѣпымъ оттого только, что любить. Напротивъ того, оттого именно, что онъ все родное любитъ искренно и невыдуманно, все темное въ немъ, все отжившее свой вѣкъ, все препятствующее лучшимъ силамъ найти выходъ и развитіе, — однимъ словомъ, все родное зло, гнететъ его душу и возбуждаетъ его протестъ.

— Это объясняетъ, почему, съ одной стороны, славянофилы имѣли основаніе считать Островскаго воспѣвателемъ нравственныхъ доблестей русской старины, а Добролюбовъ и его школа — имѣли точно также основаніе провозглашать его врагомъ и обличителемъ самодурства въ „темномъ царствѣ“ до-реформенной Россіи.

Да, они оба правы: Островскій въ извѣстномъ смыслѣ и *воспѣваетъ* русскія доблести, и *обличаетъ* русское самодурство, иначе сказать, онъ рисуетъ не только правду, но еще и всю правду.

Но, конечно, самыя слова „воспѣваніе“ и „обличеніе“, не походятъ къ чисто художественному способу отношенія Островскаго и не входятъ въ его цѣли. Въ лучшихъ вещахъ своихъ, о которыхъ, нужно оговориться, мы только и бесѣдуемъ теперь, Островскій одинаково далекъ и отъ сатиры и отъ дифирамба.

Онъ *реалистъ* и натуралистъ въ хорошемъ смыслѣ этого слова и этимъ качествомъ своимъ принадлежитъ къ прямому потомству Гоголя. Реализмъ его свободенъ отъ мелочной фотографичности, отъ грубой матеріальности и цинической безнадежности взгляда нѣкоторыхъ нашихъ новѣйшихъ реалистовъ. Для Островскаго реальность вовсе не составляетъ обязательнаго анатомированія только тьмы и зла, только низшихъ, животныхъ сторонъ человѣческой жизни. Это было бы уже не реализмъ, а фантастическій и фанатическій идеализмъ, перевернутый къ верху ногами, вывороченный наизнанку. Нѣтъ, для реализма Островскаго возвышенное религиозное настроеніе души или великодушная мысль представляютъ такіе же несомнѣнные факты реальной жизни, какъ и низменныя влеченія сладострастія или корысти. Только неподкупное чувство реальности и жизненной правды могло помочь Островскому такъ вѣрно понять свой народъ и такъ мѣтко изобразить его типы, рѣчи и нравы. Только это же качество и могло сдѣлать его любимцемъ современной публики, вкусы которой требуютъ прежде всего и болѣе всего реальности. Его заслуга въ томъ, что, широко удовлетворивъ этой современной потребности, онъ не увлекся одно-сторонностью ея требованій и примѣромъ многихъ писателей, работавшихъ рядомъ съ нимъ, а сохранилъ въ чистотѣ художественное *безпристрастіе* и свободную разносторонность своего реализма. Реализмъ его далъ намъ цѣлыя серіи народныхъ портретовъ, далеко выходящихъ изъ узкой рамки „самодурства“, въ которую Добролюбовъ силился вдвинуть все творчество Островскаго.

На первомъ планѣ, какъ специфическій плодъ его музы, все-таки стоятъ, конечно, всевозможные варианты „самодуровъ“, или, вѣрнѣе, „мужика-хозяина“; тутъ Большовъ, Брусковъ, Дикой, Кабаниха, Гордей Торцовъ, Пузатовъ, Петръ Ильичъ, Аховъ, Курицынъ, Хрюковъ, Курослѣповъ, Боровцовъ, Безсудный и другіе, въ числѣ которыхъ стоятъ и такіе несамодурные люди, какъ Русаковъ, Красновъ, какъ самъ Козьма Мининъ-Сухорукъ. Все это, повторяемъ, чисто русскій типъ „мужика-хозяина“; онъ твердою рукою правитъ семьей, онъ преисполненъ непоколебимой вѣры въ свое право господства надъ

семьею, въ свою обязанность руководить ея глупою бабьею или ребяческою волею; всѣ взгляды его — только отрывки, болѣе или менѣе перепутанные, цѣлаго, широкаго и прочно укоренившагося кодекса морали, выработаннаго вѣками житейскаго опыта, опирающагося на религію, на всеобщее убѣжденіе народа, на убѣжденіе даже тѣхъ самыхъ, кто вынужденъ покоряться этой тяжкой системѣ и страдать отъ нея. Въ системѣ этой „доза“, „жель“, суровая строгость, признаются неизбѣжнымъ спутникомъ, почти синонимомъ отеческой власти, руководящимъ началомъ супружескаго долга, краеугольнымъ камнемъ всякаго домашняго и хозяйственнаго порядка.

За всѣмъ, что не хозяинъ, не отецъ и не мужъ, не признается права совершеннolѣтія, самолюбія, потребности свободы. Словомъ, это царство односторонняго принципа порядка, черезъ который исторія по необходимости должна была провести каждый народъ, пока въ немъ еще не окрѣпли твердыя начала высшей, т.-е. свободной нравственности, самостоятельныя нравственныя влеченія и привычки, подобно тому, какъ та же исторія неизбѣжно ведетъ политическое воспитаніе народа черезъ строгую дисциплину патріархальнаго монархизма.

Монархическое неограниченное правленіе семьи, безраздѣльно господствовавшее въ старой Россіи, отъ царскаго дворца до мужицкой хаты, удѣляло еще въ значительной части кореннаго населенія современной намъ Россіи, въ быту крестьянъ, купцовъ, духовенства и наиболѣе глухого помѣщичества, хотя въ послѣдніе годы оно распатывается даже въ самомъ крестьянствѣ и уже очень распатано въ другихъ сословіяхъ. Этотъ-то принципъ неограниченной власти надъ семьею и домохадцами *хозяина* или *старшого* есть то общее, что заставляло даже очень проницательную критику ошибочно смѣшивать въ одинъ станъ самодурства честныхъ и добрыхъ людей извѣстнаго образа мыслей, подобныхъ Русакову или Краснову, съ дѣйствительными „самодурами“, психическими уродами, подобными Титъ Титычу Брускову, которыхъ однихъ собственно и охарактеризовалъ этимъ именемъ Островскій въ своихъ комедіяхъ.

Китъ Китычи были тоже люди, проникнутые старинною системою нравственности, какъ былъ ею проникнутъ и мягкосердечный дѣдушка Архипъ, и честный патріотъ Аксеновъ въ „Козьмѣ Мининѣ“, и самъ Мининъ, и самоотверженная, преданная Богу вдова Марѳа. Но система вѣрованій не составляетъ еще человѣка. На ея почвѣ не исчезаетъ различіе добраго человѣка отъ злого, разумнаго и честнаго — отъ негодяя и дурака.

Русаковъ или Аксеновъ видѣли въ принципахъ старинной нравственности основу всякаго житейскаго добра и способъ согласить свою жизнь съ предписаніями религіи, сдѣлать ее угодною Богу. Любя людей, радѣя объ ихъ пользѣ, они старались твердо держать и въ семьѣ и въ обществѣ, знамя той морали, которую они считали абсолютною, выше преподаванною.

Они являлись, такимъ образомъ, людьми добра, а не зла, людьми не вздорныхъ, самодурныхъ капризовъ, а крѣпкаго нравственнаго убѣжденія. Но Китъ Китычи и вся ихъ самодурная братія, въ родѣ Аховыхъ, Курослѣповыхъ и т. п., составляли уродство даже въ своей средѣ, даже съ точки зрѣнія той общей системы нравственности, въ которой они были воспитаны и которой держались. Они были глупыми и злыми исказителями этой системы; они нагло нарушали ея основной смыслъ и ея основныя цѣли, злоупотребляя ея внѣшними формами, ради удовлетворенія своихъ низкихъ побужденій; они тиранствовали и ломались надъ своими подвластными, попирали съ презрѣніемъ всякое проявленіе въ нихъ человѣчности, обманывали другъ друга и кичились этимъ обманомъ, предавались ненасытному хищничеству и грубому разврату, потому именно, что въ людяхъ этихъ не жила живою жизнью ни та строгая „старинная нравственность“, одежду которой они фальшиво носили на себѣ и которая однако дѣлала хорошимъ и полезнымъ человѣкомъ даже по старинѣ думавшаго чѣловѣка, нежелавшаго вѣдать новыхъ взглядовъ и требованій, ни свободная нравственность новаго общества, развитая открытіями науки и усовершенствованнымъ общежитіемъ.

Китъ Китычи были равно далеки отъ этихъ обоихъ толковъ.

Они сидѣли въ темномъ и грязномъ болотѣ своихъ животныхъ инстинктовъ, одинаково чуждые и радостному свѣту Востока и успокоительному свѣту Запада.

Островскій, въ своемъ театрѣ, изобразилъ намъ главнымъ образомъ не этотъ спеціальнй и узкій типъ буквального самодурства, а гораздо болѣе широкій и многозначущій типъ „домохозяина“ въ его глубоко народномъ смыслѣ. Если же мы, въ нашей „бесѣдѣ“ объ Островскомъ, сами уже нѣсколько разъ окрепчивали эту обширную категорію народныхъ типовъ именемъ „самодуровъ“, то только примѣняясь до времени къ термину, слишкомъ прочно установленному прежнею критикою, впредь до обстоятельнаго разъясненія нашихъ собственныхъ взглядовъ на этотъ типъ, которое мы теперь считаемъ выполненнымъ.

Портретомъ однихъ Китъ Китычей Островскій далеко не захватилъ бы широкаго жизненнаго и глубоко-народнаго явленія. Онъ далъ бы намъ только портреты нѣкоторыхъ смѣшныхъ и дрянныхъ чудаковъ, которыхъ глупость, невѣжество и злонамѣренность были бы слишкомъ поразительны, слишкомъ возмутительны для всякаго, чтобы они могли представить изъ себя какой-нибудь соблазнъ обществу, пріобрѣсти въ немъ какой-нибудь авторитетъ, грозить ему какою бы то ни было опасностью.

Ничтожность Китъ Китыча раскусываетъ даже такая простая баба, какъ Аграфена Платоновна.

— „Хоть онъ и плутовать, а человѣкъ темный. Онъ только въ своемъ домѣ свирѣпъ, а то съ нимъ что хочешь дѣлай, дуракъ дуракомъ; на пустомъ спугнуть можно“ („Въ чужомъ пиру похмелье“), увѣренно и вполне, конечно, вѣрно говорить она.

Китъ Китычи могутъ поэтому казаться страшными и сильными только въ тѣхъ тѣсныхъ предѣлахъ, гдѣ дѣйствуетъ одинъ ихъ грошъ, безъ всякой конкуренціи чужого, гдѣ можетъ быть слышенъ только ихъ одинъ голосъ и размахивать только ихъ одна рука.

Добролюбовъ изъ-за этой, сравнительно пустой и случайной вариации типа, не разглядѣлъ, къ сожалѣнію, того глубокаго народнаго типа стариннаго домохозяина, который служитъ ему основой и въ которомъ „самодурство“ является не психическимъ уродствомъ, а, такъ сказать, врожденнымъ символомъ вѣры семейной и общественной нравственности. Оттого-то критикъ шестидесятыхъ годовъ такъ ошибся и въ оцѣнкѣ этого явленія.

Психическая вариация этого типа, выразившаяся въ Китъ Китычахъ, даже врядъ ли была бы способна, по своей внутренней бессмысленности и безсилію, стать предметомъ серьезной комедіи или драмы. Это скорѣе сюжетъ легкаго водевиля или фарса. Только типъ того серьезнаго и принципиальнаго самодурства, которое покоится на почвѣ коренныхъ нравственныхъ воззрѣній народа, которое составляетъ не пьяную выходку распущеннаго человѣка и не дурацкій капризъ нахальнаго глупца, а органическую стихію народной жизни, можетъ лечь въ основу драматическаго или высоко комическаго положенія. Только онъ можетъ породить не внѣшнія и не случайныя, а роковыя и неизбѣжныя столкновения психій (колизіи), безъ которыхъ немислимъ внутренній составъ драмы. Только онъ можетъ вызвать и на серьезную общественную думу и на серьезные нравственные выводы. И дѣйствительно, мы видимъ, что всѣ крупныя, наиболѣе замѣчательныя произведенія Островскаго имѣютъ дѣло съ этимъ именно серьезнымъ и глубокимъ типомъ; что самъ Титъ Титычъ Брусовъ (въ двухъ комедіяхъ: „Въ чужомъ пиру похмелье“ и „Тяжелые дни“) намъ интересенъ и важенъ только по общей основѣ своего характера, ставящаго его въ многочисленныя ряды Большовыхъ и Русаковыхъ, а вовсе не специальными свойствами своего личнаго нахальства и своей личной дури.

Заглянемъ хоть бѣгло въ произведенія Островскаго, чтобы убѣдиться въ истинныхъ взглядахъ его на этотъ основной типъ всѣхъ его комедій и драмъ. Мы увидимъ тогда, дѣйствительно-ли онъ выводитъ въ немъ только одно проявленіе дикости, невѣжества и необузданности.

Относительно Русакова, Большова, Гордея Торцова замѣтимъ, что портреты ихъ авторъ набросалъ далеко не однѣми черными чертами.

Русаковъ отъ первой страницы до послѣдней является человѣкомъ строго нравственнымъ, искренно любящимъ свою дочь, думающимъ о ея счастіи, доступнымъ жалости и всякому разумному убѣжденію. Послушайте, напр., его разговоръ въ трактирѣ съ Маломальскимъ и Бородиннымъ:

— Ты знаешь, Дуня у меня одна, говоритъ этотъ мнимый самодуръ. — Одно утѣшеніе только и есть. Мнѣ не надо ни знатнаго ни

богатаго, а чтобы былъ добрый человѣкъ, да любилъ Дунюшку, а мнѣ бы любоваться на ихъ житье...

Конечно, при этомъ онъ объявляетъ съ полною откровенностью, что не позволить дочери выйти замужъ, за кого она сама захочетъ, а отдастъ ее за того, кого самъ полюбитъ. Иначе онъ бы и не былъ купецъ Русаковъ. Но однако и, въ этомъ видно вовсе не самодурство, а твердый нравственный принципъ.

— „Я, значить, должонъ это дѣло сдѣлать съ разумомъ, потому мнѣ придется за нее Богу отвѣчать, объясняетъ Русаковъ. — Извѣстно, дѣло дѣвичье — глупое. Дѣвку долго-ли обмануть! Вѣтрогонъ какойнибудь, прости Господи, подвернется, подластится, ну, дѣвка и полюбить; такъ ее и отдавать безъ толку?

— Да я годъ буду смотрѣть на человѣка, со всѣхъ сторонъ его огляжу. А то какъ дѣвкѣ цовѣрить? Что она видѣла? Кого она знаетъ? А я, свать, не даромъ шестьдесятъ лѣтъ на свѣтѣ живу, видалъ таки людей-то: меня на кривой-то не объѣдешь!“ Вы видите, какъ мало мотивъ его строгости сродни самодурству.

О покойной женѣ онъ вспоминаетъ такъ:

— „Моя Дунюшка — вылитая жена-покойница. Помнишь, свать? Ну что! Роптать грѣхъ (утираетъ слезы), Годковъ тридцать пожилъ. И за то должонъ Бога благодарить. Да какъ пожилъ! Тридцать лѣтъ слова неласковаго другъ отъ друга не слышали! Она, голубка, бывало, куда придетъ, тамъ и радость! Вотъ и Дуня такая же; пусти ее къ лютымъ зѣбрямъ, и тѣ ее не тронуть. Ты на нее посмотри: у нея въ глазахъ-то только любовь да кротость. Она будетъ любить всякаго мужа; надо найти ей такого, чтобы ее-то любилъ, да могъ бы понять, что это за душа... душа у нея русская.“

Умъ Русакова такой же прямой и честный, какъ его душа, — „русскій умъ“. Не даромъ Островскій и выбралъ для него фамилію Русакова. Разговоръ его съ Вихоревымъ, просящимъ руки дочери, это бесѣда патріархальнаго мудреца съ изолгавшимся фатомъ.

— „Не за что вамъ ее любить! настойчиво утверждаетъ умный старикъ на всѣ лживыя заклятія Вихорева. — Она дѣвушка простая, невоспитанная и вовсе вамъ не пара. У васъ есть родные, знакомые, всѣ будутъ смѣяться надъ нею, какъ надъ дуракомъ, да и вамъ-то она опротивѣетъ хуже горькой полыни. Такъ отдамъ я свою дочь на такую каторгу? Да накажи меня Богъ!“

Съ дочерью онъ говоритъ съ тою же честною прямою и правдою:

— „Выкинь блажь-то изъ головы. Отецъ лучше тебя знаетъ, что дѣлаетъ. Ты думаешь, ему ты нужна? Ему деньги нужны, дура!...“

Когда Дуня падаетъ въ обморокъ, этотъ строгій отецъ, приказавшій ей безъ разговоровъ итти за Бородкина, растроганъ и испуганъ какъ женщина, онъ не знаетъ, какія прибрать ласки, чтобы успокоить ее.

— „Ахъ, Дунюшка, кабы я зналъ, что онъ степенный человѣкъ, да что онъ тебя любитъ, я бы тебя сейчасъ за него отдалъ и разговаривать бы не сталъ!“ объявляетъ онъ ей.

Точно также относится онъ къ ней и послѣ катастрофы съ Вихоревымъ. Она осрамлена сама, она опозорила сѣдины отца; Русаковъ, какъ человѣкъ строгаго семейнаго принципа, убить этимъ горемъ. Однако въ самый разгаръ гнѣва и горя своего онъ полонъ любви къ ней. Одно слово сердечнаго признанія, вылетѣвшее у Дуни, переворачиваетъ всю душу его, и онъ уже самъ проситъ прощенья у дочери, онъ уже все забылъ. Примиреніе является не въ видѣ искусственнаго мелодраматическаго финала, а совершенно просто, какъ необходимый актъ добра и любви.

Правда, Русаковъ, можетъ быть, самый честный „хозяйскій“ характеръ изъ всѣхъ комедій Островскаго, точно такъ же, какъ Бородкинъ — одинъ изъ наиболѣе симпатичныхъ и мягкосердечныхъ молодыхъ людей того простого быта, который почти исключительно рисуется Островскій, а Дуня — одна изъ самыхъ добрыхъ и любящихъ дѣвушекъ той же простой сферы. Но эта-то сгруппировка въ одной и той же комедіи столькихъ добрыхъ типовъ, несмотря на всѣ личные недостатки ихъ, изображенные неподкупнымъ реализмомъ комика, особенно убѣждаютъ въ томъ, что Островскій не задавался задачей обратить свои комедіи въ сплошныя сатиры самодурства.

Не забудьте, что „Не въ свои сани не садись“ — одна изъ самыхъ первыхъ комедій Островскаго, и что она лучше всего можетъ уяснить точки отправленія автора.

Точно также въ комедіи „Свои люди — сочтемся“, при самой блестящей картинѣ самодурныхъ взглядовъ, привычекъ, вкусовъ, Большовъ является тираномъ семьи не по личному своему самодурному капризу, а по непоколебимому убѣжденію всей среды, въ которой живетъ онъ.

— „На что же я и отецъ, коли не приказывать?“ во все услышаніе заявляетъ Большовъ.

Даже Рисположенскій, вѣчно унижающійся и зависимый, и тотъ подтверждаетъ этотъ общій принципъ:

— „А ужъ это, Аграфена Кондратьевна, первый долгъ, чтобы дѣти слушались родителей. Это не нами заведено, не нами и кончится,“ успокоиваетъ онъ жену Большова.

И она и сама Липочка бунтуютъ немножко только первую минутку, отъ слишкомъ уже большой неожиданности. А въ сущности онѣ вполнѣ раздѣляютъ взгляды Большова на его право и на обязанности семьи. Липочка тотчасъ же приспособляетъ свою фантазію къ рѣшенію отца отдать ее за прикащика и не только не считаетъ себя жертвою тиранства, но даже очень весело начинаетъ мечтать о своемъ будущемъ счастіи съ Подхалюзинымъ.

— „Я совсѣмъ, маменька, не воображала, что Лазарь Елизарычъ такой учтивый кавалеръ! А теперь вдругъ вижу, что онъ гораздо почтительнѣе другихъ,“ объявляетъ она матери черезъ двѣ минуты послѣ столкновенія съ отцомъ.

А Подхалюзину она говоритъ:

— „Смотрите-жь, Лазарь Елизарычъ, мы будемъ жить сами по себѣ, а они сами по себѣ. Мы заведемъ все по модѣ, а они какъ хотятъ.“ Тутъ страшная нравственная пустота — это правда; но ужъ страданій никакихъ.

Точно также и мать Липочки, которая было „затмилась, ровно чуланъ какой“, отъ неожиданной новости, тотчасъ же примирилась съ нею, какъ съ совершившимся фактомъ, и отвѣчаетъ на признаніе дочери: — „Вотъ то-то же, дурочка! Ужъ отецъ-то тебѣ худа не пожелаетъ.“

Вообще тутъ видно господство прочнаго, повального убѣжденія, которое составляетъ всѣмъ обязательный символъ вѣры, а не личное притѣсненіе.

Банкротство Большова опять не его единичная и произвольная каверза, а самый распространенный обычай среды, на который всѣ, какъ страдающіе отъ него, такъ и заставляющіе страдать, смотрятъ одинаково. Это, можно сказать, одинъ изъ узаконенныхъ торговыхъ пріемовъ, котораго стыдятся только тогда развѣ, когда онъ не удался. Большову онъ не удался — и онъ страдаетъ.

Но въ убѣжденіи Большовыхъ злостное банкротство само по себѣ, т. е. если человѣкъ не попалъ въ яму, не мѣшаетъ человѣку быть почтеннымъ купцомъ и добрымъ семьяниномъ.

Какъ еврей считаетъ чуть не обязанностью вѣры надуть чужого и въ то же время можетъ быть самоотверженнымъ ради своихъ близкихъ, такъ и Большовы, сознательно подготавливая разореніе чужихъ людей, неосторожно довѣрившихъ имъ деньги, въ то же время способны расчувствоваться собачьею привязанностью къ нимъ какихъ-нибудь Подхалюзинныхъ и съ великодушною неосторожностью отдать имъ въ руки и дочь и всѣ средства свои.

Большовъ, который является изъ ямы подъ конвоемъ солдатъ, конечно, умягченъ духомъ, вслѣдствіе ударовъ судьбы. Но его надежды на зятя, принятаго вмѣсто сына, его увѣщанія дѣтей семейной добродѣтели и справедливости вовсе не составляютъ противорѣчій съ убѣжденіями того же Большова, когда онъ былъ богатымъ и именитымъ купцомъ.

Проповѣдуя теорію „десяти копеекъ за рубль“, онъ вовсе не видѣлъ въ ней отрицанія того, что дочь или сынъ обязаны отцу благодарностью и помощью. То чужіе, сторонніе люди, о нихъ нечего заботиться, для нихъ одна мораль; а то семья, свои, — для нихъ всѣ заботы, для нихъ и мораль другая. Поэтому онъ искренно огорченъ и убитъ, когда встрѣчаетъ такое бездушіе въ дочери и зятѣ своемъ.

Авторъ вовсе не казнить въ немъ самодурства. Напротивъ того, онъ скорѣе возбуждаетъ сочувствіе къ его несчастію. Подхалюзинъ и Липочка, люди совсѣмъ не самодурнаго типа, являются главными носителями зла, поселяютъ къ себѣ больше всего нравственное отвращеніе зрителя. Положимъ, въ нихъ легко видѣть плоды той узкой и себялюбивой нравственности, которою руководятся сами Большовы,

но все-таки ясно, что самодурство здѣсь не на первомъ планѣ. Оно только промелькнуло передъ нами въ одномъ крупномъ фактѣ — въ деспотической выдачѣ Липочки за приващика, а затѣмъ вовсе исчезаетъ изъ комедіи.

Если уже искать поученія, то гораздо рѣзче, въ смыслѣ поученія, выступаетъ въ комедіи нарушеніе семейныхъ принциповъ и эгоистическое безсердечіе молодого поколѣнія темнаго царства, какъ-бы удалившагося уже отъ крѣпости старыхъ вѣрованій. Все, чѣмъ подѣйствовало новое время на развязность Липочки, на проницательность Подхалюзина, все это въ ходѣ пьесы играетъ еще худшую роль, чѣмъ самыя грубыя вѣянія прошлаго.

Даже поползновеніе самого Большова къ банкротству отчасти является чѣмъ-то еще мало извѣстнымъ старому быту, нарушеніемъ его обычаевъ, соблазнительнымъ новшествомъ, быстро заражающимъ старую среду, нуждающимся въ новыхъ орудіяхъ, неувѣреннымъ въ своихъ шагахъ.

А между тѣмъ „Свои люди — сочтемся“ одна изъ самыхъ полныхъ картинъ того самодурства, надъ которымъ такъ страстно философствовалъ въ свое время Добролюбовъ.

Въ комедіи „Бѣдность не порокъ“ самодурство Гордея Торцова опять таки выставлено съ совершенно особенной точки зрѣнія, въ которой гораздо болѣе осмѣянія бессмысленной погонѣ за внѣшнею цивилизаціею, чѣмъ осужденіе тѣхъ началъ семейной покорности и хозяйскаго единовластія, которыя составляютъ сущность стараго быта и которыя, какъ мы видѣли выше, Добролюбовъ мѣшалъ съ самодурствомъ.

Коршуновъ, у котораго „Агличинъ на фабрикѣ дилекторъ“, который „моду новую“ заводитъ, и который въ внѣшнемъ обращеніи является гораздо мягче и вѣжливѣе старомоднаго купца — оказывается въ сущности бездушнѣе безнравственнѣе всѣхъ.

Гордей Торцовъ, увлеченный этою цивилизаціею своего пріятеля, конфузится русскихъ пѣсень, русскихъ дѣвокъ, русскаго угощенія, считаетъ, „что это низко, никакого тону нѣтъ“ а требуетъ „шампаней“, да „фиціанта въ нитяныхъ перчаткахъ“, нарываетъ „одинъ въ четырехъ каретахъ поѣхать“, потому что хочетъ „всякую моду подражать“: и вотъ онъ, словно на смѣхъ передъ всѣми, попадаетъ въ просакъ именно черезъ эти свои потуги къ модѣ, къ новому. Его отступленіе отъ старыхъ обычаевъ ведетъ его прямо къ разоренію и къ семейной бѣдѣ; только послѣ безпощадныхъ разоблаченій брата Любима, словно очнувшись отъ навожденія, онъ дѣлается „другимъ человѣкомъ“, которому доступны просьбы и нужды его домочадцевъ, который сознаетъ „гнилость“ своихъ прежнихъ фантазій. Тутъ слѣдовательно, опять въ роли господствующаго зла является не старый бытъ, не строгость семейнаго начала, а скорѣе неразумное пренебреженіе имъ.

Старыя народныя пословицы „бѣдность не порокъ“, „не въ свои сани не садись“, поставляемыя въ заглавіи комедій, словно еще сильнѣе обостряютъ скрытый въ нихъ нравственный смыслъ, оправданіе стараго народнаго опыта.

Самъ Любимъ Торцовъ, пристыдившій своею полупьяною правдою живыхъ послѣдователей цивилизаціи, носящій на себѣ очевидное сочувствіе автора, является, конечно, уже не человѣкомъ какихъ-нибудь новыхъ идеаловъ, а самымъ искреннимъ сторонникомъ той безхитростной и безпробудной старины, въ которой плясали медвѣди, щелкали орѣшки, безпрекословно работали покорные Мити.

Еще очевиднѣе сочувствіе автора къ старому народному быту въ прекрасной драмѣ его „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“. Нравственное ничтожество, сердечная пустота представляются намъ въ этой драмѣ только въ отцѣ цивилизованнаго франта Бабаева, развязно губящаго женщину изъ-за минутной скуки въ уѣздномъ городѣ, въ Жигулиной и отчасти въ самой Красновой.

Жмигулина и Краснова — дочери обѣднѣвшаго чиновника; онѣ уже помазаны уѣздною цивилизаціею, имъ необходимъ бульваръ, наряды, „ферлакурные“ разговоры; онѣ стыдятся родства съ лавочникомъ, презираютъ трудъ и хозяйство, мечтаютъ объ бездѣльѣ, какъ идеалѣ благополучія. Имъ непонятны и ненужны ни крѣпкая любовь, ни честность, ни что вообще серьезное и дѣйствительное. Ихъ конфузятъ разговоръ лавочника, его приемы, его одежда, и онѣ безпредѣльно несчастны. Онѣ знаютъ, что Бабаевъ можетъ только поиграть Таней, только погубить ее; но у него манеры господскія, у него деликатный разговоръ, и онѣ его ищутъ, онѣ отдаются ему.

Совсѣмъ противоположный характеръ имѣютъ въ этой драмѣ типы народа: самъ Красновъ, дѣдушка Архипъ и Аеоня. Каждый изъ нихъ переполняетъ сердце читателя сочувствіемъ своего рода. Каждый изъ нихъ глубокопонятный и вполне удавшійся типъ хорошаго русскаго человѣка. Слѣпой дѣдушка Архипъ — это сама совѣсть, сама мудрость русскаго народа, тихая, скромная, исполненная терпимости и воспрещенія, безъ энергіи, но и безъ жесткаго педантизма.

— „Кабы мы получше помнили, что Онъ милосердъ, сами были бы милосерднѣ!“

Вотъ основное начало его человѣчныхъ взглядовъ на міръ; онъ знаетъ грѣхи его, но знаетъ тоже, что самъ онъ грѣшенъ, что правда въ любви, а не въ осужденіи.

— „А ты укорачивай сердце-то!“ совѣтуетъ онъ Аеонѣ.

Аеоня, братъ Краснова — совсѣмъ другой, еще болѣе оригинальный, но также глубокорусскій типъ. Эта страстная къ правдѣ душа, которая невыноситъ лжи и зла міра, которая ведетъ человѣка къ неслыханному подвижничеству, или дѣлаетъ жизнь невозможною, несносною для него. Аеоня — большой, совсѣмъ исчахлый ребенокъ, который, молча прикурнувъ на печи, всѣми забытый, несчитаемый за человѣка, видитъ насквозь всю нравственную мерзость, царящую кругомъ, и бессильно сторааетъ отъ своего внутренняго огня. Онъ полонъ потребностью величайшей любви, а осужденъ мучиться ненавистью.

— „У меня за всѣхъ сердце болитъ: за себя, за брата, за всѣхъ“,

говорить онъ дѣду Архипу, въ великолѣпной поэтической сценѣ на берегу рѣки.

— „Я все слышу, все; горько мнѣ, дѣдушка, горько! Сталь я брату говорить, онъ меня же изругалъ (Молчаніе). Вотъ я, дѣдушка, никакъ уснуть не могу; что я днемъ-то вижу, все это мнѣ и дѣзетъ въ глаза, засосеть у меня сердце, и всю то ночь я плачу. Какой я жилецъ! Мнѣ теперь съ здоровьемъ-то и поправиться нельзя. Ужъ очень у меня сердце горячо! Скорѣе бы меня Богъ прибралъ, чтобы мнѣ меньше мучиться!“

Аеоня, какъ и Архипъ, конечно, люди самаго стариннаго склада, проникнутые насъвозъ всѣми вѣрованіями и понятіями древней Руси, смотрящіе на власть хозяина, мужа, отца, на скромные обычаи семьи, со всею строгостью „Домостроя“.

Левъ Красновъ, герой драмы, таковъ же по своимъ убѣжденіямъ и воспитанію. Но онъ позволилъ себѣ отступить отъ преданій своей среды и женился на дѣвушкѣ иного круга, иныхъ привычекъ и вкусовъ. Хотя онъ рѣшительно отстаиваетъ ея право свободы отъ настойчивыхъ требованій своей семьи, своей родни, всей обстановки своей, хотя онъ безконечно любитъ ее и понимаетъ свою добрую душою все различіе въ ихъ взаимномъ положеніи, но, тѣмъ не менѣе, нравственные и семейные принципы его въ основѣ своей тѣ же, что и у Курицына, его самодура зятя, и у кроткаго Архипа, и у фанатика Аеони. Когда приходитъ часъ, Красновъ примѣняетъ эти принципы семейнаго полновластія во всей ихъ ужасающей трагичности. Его несчастіе вызвано не самодурствомъ его, не бессмысленнымъ примѣненіемъ деспотическихъ принциповъ, а именно случайнымъ отступленіемъ его отъ строгихъ обычаевъ среды, уступкою требованіямъ, чуждымъ народному взгляду на замкнутость и скромность семейнаго быта. Если бы авторъ имѣлъ дѣйствительно цѣлью бичевать самодурство во всѣхъ его проявленіяхъ, то разумѣется, онъ вывелъ бы передъ нами драму совсѣмъ не того характера и совсѣмъ не съ тѣми сочувствіями, какую видимъ мы въ исторіи Краснова.

Какую бы мы ни взяли комедію или драму Островскаго изъ простонароднаго быта, мы нигдѣ не найдемъ у автора другихъ точекъ зрѣнія. Петръ Ильичъ въ драмѣ „Не такъ живи, какъ хочется“ является нарушителемъ святости семейнаго союза подъ вліяніемъ цивилизаціи большихъ дорогъ и ярмарокъ, которая только разнуздываетъ страсти и слабости человѣка. Мораль драмы — все-таки необходимость возврата къ священному преданію отцовъ, къ испытаннымъ требованіямъ народнаго обычая. Нравственная философія Агафона, отца Даши основанная на принципѣ: „не такъ живи, какъ хочется, а какъ Богъ велѣлъ,“ — „что Богъ соединилъ, того человѣкъ не разлучаетъ“, — торжествуетъ осязательно надъ всѣмъ въ драмѣ: и надъ грѣховными стремленіями Петра Ильича и надъ нетерпѣніемъ настрадавшейся Даши.

„Гроза“ еще убѣдительнѣе въ этомъ смыслѣ. Въ самомъ дѣлѣ, героиня ея, Катерина, — это идеаль русскою дѣвушкой, какъ понимала

ея народная старина. Въ ней нѣтъ никакого протеста, въ смыслѣ новшества, никакого стремленія къ цивилизаціи, къ коренному измѣненію отношеній, т. е., ничего того, что составляет внутреннее содержаніе натуръ, недовольныхъ современнымъ обществомъ, страстно рвущихся впередъ, на встрѣчу грядущему. Всѣ помыслы Катерины назади, въ безмятежномъ поэтическомъ прошломъ, когда она, въ простотѣ своего двичьяго сердца, бѣгала съ кувшиномъ на ключъ, шила золотомъ по бархату да слушала благочестивые рассказы богомолко-странницъ о кievскихъ пещерахъ, о Соловкахъ, о житіи великихъ угодниковъ Божіихъ. Она „до смерти любила въ церковь ходить“.

— „Точно бывало, я въ рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Въ солнечный день изъ купола такой свѣтлый столбъ внизъ идетъ, и въ этомъ столбѣ ходитъ дымъ, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы въ этомъ столбѣ летаютъ и поютъ.“

— А то, бывало, ночью встану, — у насъ тоже вездѣ лампадки горятъ, — да гдѣ-нибудь въ уголкѣ и молюсь до утра. Или рано утромъ въ садъ уйду, еще только солнышко всходитъ, упаду на колѣни, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чемъ молюсь и о чемъ плачу“.

Такого же характера были ея сны:

— „Или храмы золотые, или сады какіе-то необыкновенные, и все поютъ невидимые голоса, и кипарисомъ пахнетъ, и горы, и деревья будто не такія, какъ обыкновенно, а какъ на образахъ пишутся.“

Вы видите, что это яркій типъ русской средневѣковой дѣвушки во всей поэзіи ея религиозности и душевной чистотѣ, отвѣчающій давнимъ идеаламъ народной фантазіи, а ужъ никакъ не протестующимъ позывамъ новѣйшаго раціонализма и прогресса. Конечно, Катерина не выноситъ условій быта, въ который попала она; конечно, въ этомъ смыслѣ, ея страданія, ея неожиданная смерть служатъ несомнѣннымъ протестомъ противъ окружающей ея среды. Но это протестъ любящаго и нѣжнаго существа противъ бездушія и насилія, несходящій ни на одинъ шагъ съ почвы глубоко народныхъ идеаловъ старины. Натуры, подобныя Катеринѣ, дѣлались прежде Варварами мученицами, св. Верониками или Цециліями; если онѣ и способны умирать отъ любви, то отъ любви такой высоко-нравственной и незыблемо-прочной, которая не имѣетъ ничего общаго съ „свободною любовью“, проповѣданною Добролюбовымъ.

Катерина въ „Грозѣ“ рѣшается погибнуть именно оттого, что она не видитъ въ мірѣ возможности подобной всепоглощающей, своего рода, религиозной любви; она увлеклась Борисомъ, думая найти въ немъ то, по чемъ томилась ея глубокая поэтическая душа. Но Борисъ оказался сластолюбивымъ, малодушнымъ ухаживателемъ, для котораго, какъ и для другихъ, сердце чистой дѣвушки было непонятно и ненужно, который, какъ и другіе, зналъ только одну пошлую, любовную интригу, ея только искалъ, изъ-за нея только способенъ былъ огорчаться на нѣсколько мимолетныхъ часовъ. Катерина поняла его, поняла міръ, и

не нашла въ себѣ больше силъ переносить такую холодную и внѣшнюю жизнь. Одни ворчанья свекрови ея, Кабанихи, слишкомъ обычны въ простомъ быту, одна ничтожность мужа ея, Тихона, не довели бы ее, конечно, до такой катастрофы. Катастрофа вызвана полнымъ внутреннимъ разочарованіемъ, полнымъ разладомъ между религиозными убѣжденіями и поэтическими мечтаніями и грязною прозою жизни.

Такимъ образомъ въ „Грозѣ“ уличеніе самодурства далеко не на первомъ планѣ, и въ „Грозѣ“ господствующій мотивъ — общечеловѣческіе нравственныя идеалы, въ формѣ чисто народныхъ представленій, на почвѣ русской старины.

Самодурство Дикого, пьяное и бессмысленное, о которомъ онъ самъ отзывается, какъ о какомъ-то недугѣ, проходитъ почти совершенно въ сторонѣ. Безобразіе его слишкомъ явно для всякаго и осуждается всякимъ. Но принципы Кабанихи, проповѣдующей сыну строгую власть надъ женою, это принципы всей толпы, которая живетъ кругомъ нея. Только жестокость ея составляетъ ея личное свойство. Однако серьезный элементъ драмы, именно Кабаниха, а не Дикой, строгая народная мораль, а не самодурные капризы. *Марковъ.*

Художественное и національное значеніе комедій Островскаго.

Мѣсто Островскаго среди первоклассныхъ отечественныхъ писателей опредѣляется, во-первыхъ, его большимъ, глубокимъ поэтическимъ дарованіемъ, во-вторыхъ — національнымъ содержаніемъ его поэзій, а въ-третьихъ — оригинальными достоинствами художественной формы его произведеній. Островскій — поэтъ-художникъ, поэтъ-реалистъ въ чистѣйшемъ значеніи этого слова. Къ нему вполне подходятъ основныя черты, которыми еще Бѣдинскій — по поводу разбора сочиненій Гончарова — охарактеризовалъ такихъ поэтовъ. И Островскій, какъ всѣ они „мыслить образами“ и воспроизводитъ изображаемую дѣйствительность въ живыхъ, типическихъ образахъ. Онъ равно далекъ какъ отъ преднамѣренныхъ идей, такъ и отъ фотографическихъ снимковъ готовыхъ отдѣльныхъ фактовъ дѣйствительности. Вотъ почему въ сочиненіяхъ его нѣтъ такъ-называемой тенденціозности, а вездѣ живымъ ключомъ бьетъ поэтическая правда изображаемой дѣйствительности. Не копія частныхъ, отрицательныхъ явленій русской жизни даетъ Островскій въ своихъ произведеніяхъ, а художественныя созданія, полныя силы и значенія типы. Они богаты содержаніемъ, они много говорятъ сердцу и мысли читателя (или зрителя). Они властною рукою ведутъ читателя къ пониманію цѣлой изображаемой эпохи или — значительныхъ слоевъ родной общественности. На созданіяхъ Островскаго оправдалось и то слово, которымъ Гоголь охарактеризовалъ творчество истинныхъ поэтовъ, у которыхъ довольно глубины душевной, чтобы „озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданья“ („Мертвыя души“. Т. I, Гл. VII).

Национальность содержания во всѣхъ произведеніяхъ Островскаго составляетъ ихъ основную почву. На этой почвѣ стоитъ весь строй и смыслъ, вся сила и занимательность поэтическаго произведенія, — беретъ ли Островскій предметы изъ русской современности, или же изъ нашего отдаленнаго историческаго прошлаго. Въ огромномъ большинствѣ сочиненій Островскаго разработано содержаніе, взятое изъ тѣхъ именно слоевъ русской жизни, которые наименѣе разработаны у предшествующихъ, даже лучшихъ, отечественныхъ писателей. Это — слои купечества и мѣщанства. Купеческій и мѣщанскій міръ захваченъ Островскимъ въ самый любопытный моментъ, именно — между прежнимъ его состояніемъ, домостроевскимъ складомъ вѣрованій, понятій и обычаевъ, и новымъ состояніемъ, т.-е. сравнительно недавними успѣхами отечественной образованности, которые, озаривши верхніе слои русской жизни, стали пробиваться свѣтлыми лучами и въ низменныя, темныя области русской семейственности и обществённости. Этотъ, до послѣдняго времени, замкнутый міръ купечества и мѣщанства раскрытъ Островскимъ въ широкихъ, яркихъ, типическихъ картинахъ и, благодаря такому содѣйствію поэзіи, сразу и навсегда поступилъ богатымъ кладомъ въ русскую художественную литературу. Кромѣ главнаго господствующаго содержанія въ сочиненіяхъ Островскаго, въ нѣкоторыхъ его произведеніяхъ — во вторую половину его поэтической дѣятельности — встрѣчается и другое содержаніе: сюжеты изъ жизни мелкаго чиновничества и даже изрѣдка — дворянства и, вообще, средняго круга русской интеллигенціи. Наконецъ, въ нѣсколькихъ сочиненіяхъ шестидесятихъ годовъ, именно въ драматическихъ хроникахъ, широко и величественно развертывается картина отечественной исторической старины, преимущественно — смутной эпохи нашей исторіи, начала XVII столѣтія.

Общее впечатлѣніе бытовыхъ комедій и драмъ Островскаго, т.-е. тѣхъ пьесъ, въ которыхъ раскрываются сильнѣйшія, типическія черты и явленія грубой и обособленной, недавно еще вполнѣ замкнутой, среды купечества и мѣщанства, очень тяжело. Въ нихъ на каждомъ шагѣ чувствуется угнетенное, приниженное положеніе одной категоріи дѣйствующихъ лицъ и угнетающее, подавляющее значеніе другой категоріи дѣйствующихъ лицъ. Свообразный трагизмъ положеній замѣчается повсемѣстно: съ одной стороны, тѣ, которыхъ гнетутъ и давятъ, не имѣютъ возможности не только побѣдить гнета въ открытой борьбѣ, но даже и прямо вступить въ борьбу; съ другой стороны, тѣ, которые гнетутъ и давятъ, не по злодѣйству, а по тупости и невѣжеству понятій, преданій и обычаевъ, не могутъ сознать своихъ заблужденій, сами являются жертвами своего невѣжества, и только развѣ въ рѣдкихъ случаяхъ, и то лишь сердечнымъ чутьемъ, пробиваются изъ своихъ потемокъ къ свѣту. И тогда становится вдругъ замѣтно, что и эти люди по природѣ не дурные и достойны соболѣзнованія и состраданія за ихъ умственную неразвитость, за ихъ нравственное убожество.

Въ бытовыхъ пьесахъ Островскаго очень рельефно выставлены два рода человѣческихъ отношеній: *семейныхъ и по имуществу*. Вотъ

отчего завязки и самыя названія пьесъ вертятся преимущественно около семьи, жениха, невѣсты, мужа, жены, родителей и дѣтей, богатства и бѣдности. На этихъ же предметахъ происходятъ и всѣ столкновенія и катастрофы между двумя партіями лицъ: старшими и младшими, богатыми и бѣдными, угнетающими и угнетенными, самоуправными и безотвѣтными. Представителями первой партіи, въ большей части бытовыхъ пьесъ Островскаго, являются типы мужскіе. Это — люди богатые и властные, буйные самодуры, не желающіе, въ своей семейной средѣ, знать никакой управы надъ собою. Таковы самодуры: Большовъ („Свои люди — сочтемся“), Барсуковъ („Въ чужомъ пиру похмелѣ“), Торцовъ („Бѣдность не порокъ“), Дикой („Гроза“) и другіе. Впрочемъ, попадаются и женщины, напримѣръ: Уланбекова („Воспитанница“), Кабанова или Кабаниха („Гроза“) и другія. Представителями послѣдней партіи, т.-е. младшихъ, подневольныхъ, бѣдныхъ, угнетенныхъ физически и нравственно являются безотвѣтные, безвластные женскіе типы и тѣ изъ мужскихъ, которымъ или еще не удалось, или никогда не суждено выбраться изъ своего угнетеннаго положенія. Таковы, напримѣръ: Любовь Гордеевна („Бѣдность не порокъ“), Авдотья Семеновна („Не въ свои сани не садись“), Марья Андреевна („Бѣдная невѣста“), Надя („Воспитанница“), Катерина („Гроза“), Даша („Не такъ живи, какъ хочется“), Митя („Бѣдность не порокъ“), Андрей („Въ чужомъ пиру похмелѣ“) и другіе. По самому свойству содержанія въ этихъ пьесахъ заранѣе можно угадывать, какого рода столкновенія дѣйствующихъ лицъ могутъ происходить въ этой средѣ и какого рода послѣдствія отъ этихъ столкновеній неизбежны для партіи слабыхъ и угнетенныхъ. Подъ владычествомъ самодурства, для угнетенныхъ не остается никакого простора развивать свои способности, или хотя выразить ихъ открытымъ образомъ. Всѣ лучшіе человѣческіе порывы — къ свободѣ мысли и чувства, къ наукѣ и поэзіи — прижаты въ нихъ и задавлены. Борьбы открытой, честной здѣсь быть не можетъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ существо съ глубокими, возвышенными чувствами и сильною душой (напримѣръ, Катерина въ „Грозѣ“) въ преждевременной смерти ищетъ спасенія отъ этой безвыходной нравственной духоты. Въ большинствѣ же положеній совершается полное поработеніе личности. А если и попадется натура болѣе живучая, то она затаитъ въ себѣ горечь и негодованіе, съезится и, крадучись, начнетъ потихоньку, воровски, съ оглядкою, при помощи безконечныхъ обмановъ, изворачиваться въ своей путаницѣ, выползаетъ изъ-подъ своего задавленнаго положенія — къ свѣту и возможному простору. Безъ системы обмана и наживы тутъ нельзя обойтись: такъ учить здѣсь всѣхъ угнетенныхъ опытъ жизни. И вотъ всѣ и постоянно обманываютъ другъ друга: пріятель обчитываетъ пріятеля (Пузатовъ Ширялова — „Семейная картина“), компаніонъ старается забрать въ свои руки всѣ деньги и документы, а своего патрона засадить въ яму, за долги (Подхалюзинъ Большова — „Свои люди — сочтемся“); тестъ надуваетъ зятя приданнымъ (Пузатовъ Ширялова —

„Семейная картина“); мать преподает сыну плутовство и обманъ въ торговлѣ, а палку и плетку въ семьѣ (тамъ же); женихъ обчитываетъ и надуваетъ сваху („Свои люди — сочтемся“); дочь-невѣста проводитъ отца и мать („Бѣдность не порокъ“ и „Свои люди — сочтемся“); жена обманываетъ мужа („Семейная картина“, „Не такъ живи, какъ хочется“) и т. д. И повсюду тутъ плутовство и обманъ. Добрыя и святые начала нравственности отсутствуютъ потому, что въ изображаемой средѣ человѣческое достоинство задавлено, свобода личности не существуетъ, любовь и честь, правда и законъ — одни слова — о честномъ трудѣ никто не думаетъ. Въ мирѣ бытовыхъ пьесъ Островскаго тяжелѣе всего то, что всѣ самодурные герои и героини, общими силами, точно по уговору, воюютъ противъ всякаго нравственнаго и чистаго человѣка, чувствуютъ въ немъ свое обличеніе. Примиряющимъ, идеальнымъ началомъ въ этихъ же пьесахъ является объективная, поэтическая правда изображенія типовъ и психологическая вѣрность въ передачѣ основныхъ, человѣческихъ душевныхъ свойствъ и стремленій. Чувствуется глубокое знаніе авторомъ этой среды, совершенное безпристрастіе въ выраженіи впечатлѣній отъ этой душевной жизни и въ то же время — непоколебимая вѣра поэта въ непремѣнное торжество нравственнаго начала человѣческой природы, какъ только обстоятельства жизни переимѣнятся къ лучшему. Накопленія неправды, невѣжества, грубости, самоуправства развиваются подъ перомъ поэта, съ такою неотразимой убѣдительностью, что въ душѣ читателя (или зрителя) сами собою, все полнѣе и отчетливѣе, складываются привлекательные образы такихъ людей, у которыхъ правда, просвѣщеніе, благородство, и нѣжность чувствъ, уваженіе къ личности человѣка составляютъ основу ихъ собственной нравственной характеристики. Такимъ образомъ, пьесы Островскаго, такъ же какъ и небольшая семья художественныхъ произведеній лучшихъ нашихъ драматурговъ, служатъ высокому идеальному началу.

Въ историческихъ пьесахъ Островскаго, т.-е. его драматическихъ хроникахъ, авторъ, оставаясь вѣрнымъ духу времени и историческихъ событій, даетъ волю своей творческой фантазіи, чтобы въ живыхъ, говорящихъ образахъ представить отдаленную эпоху въ болѣе наглядномъ видѣ, приблизить ее къ намъ, раскрыть передъ нами душевныя движенія замѣчательныхъ историческихъ дѣятелей и черезъ посредство такихъ изображеній дать намъ почувствовать ихъ радости и печали, ихъ убѣжденія и стремленія, понять смыслъ и духъ родной старины. И картины народныхъ движеній и развитіе характеровъ замѣчательнѣйшихъ историческихъ участниковъ въ этихъ драматическихъ хроникахъ развертываются у Островскаго широко и производятъ впечатлѣніе величественное и глубокое. Оно становится особенно сильно и значительно въ тѣхъ мѣстахъ драмъ, гдѣ частные интересы, личные страсти и стремленія блѣднѣютъ передъ движеніями народными, во имя основныхъ, всенародныхъ идеаловъ, въ моменты наибольшаго напряженія національныхъ силъ для рѣшенія задачъ народнаго, религіознаго, госу-

дарственного значенія. Въ этомъ смыслѣ, драматическія хроники Островскаго, служа поэтическимъ цѣлямъ, въ то же время составляютъ яркое, художественное дополненіе и разъясненіе русской исторической науки.

Пьесы Островскаго различны по объему, содержанію, идеѣ и художественному значенію. Ихъ удобно расположить въ слѣдующихъ группахъ: 1) драматическія сцены или картины нравовъ; 2) бытовья, художественныя комедіи и драмы; 3) историческія драмы или драматическія хроники. Въ первой группѣ замѣчательны: „Семейная картина“, 1847 г., — „Утро молодого человѣка“, 1850, — „Не сошлись характерами“, 1858, — „Тяжелые дни“, 1863, — „Пучина“, 1866, — „Трудовой хлѣбъ“, 1874, и др. Во второй группѣ замѣчательны: „Свои люди — сочтемся“, 1850, — „Бѣдность не порокъ“, 1854, — „Бѣдная невѣста“, 1852, — „Въ чужомъ пиру похмелье“, 1854, — „Доходное мѣсто“, 1857, — „Воспитанница“, 1859, — „Гроза“, 1860, — „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“, 1863, — „Лѣсъ“, 1871, — „Безъ вины виноватые“, 1883 и др. — Въ третьей группѣ замѣчательны: „Козьма Захарычъ Мининъ-Сухорукъ“, 1862, — „Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій“, 1867, — „Тушино“, 1867. Кромѣ того, особнякомъ стоятъ у Островскаго переводы драматическихъ сочиненій съ итальянскаго (Теобальдо Чикони, Гольдони, Джакометти), съ испанскаго (Сервантеса) и съ англійскаго (Шекспира). Смерть застала Островскаго за переводомъ третьяго акта трагедіи Шекспира „Антоній и Клеопатра“.

Кромѣ высокихъ художественныхъ достоинствъ въ сочиненіяхъ Островскаго со стороны развитія драматическаго движенія, созданія характеровъ и типовъ, высокой занимательности драматическихъ положеній и драматической борьбы, пьесы его замѣчательны еще съ внѣшней стороны. Въ драматическихъ хроникахъ стихъ блещетъ сжатостью и силой, художественной простотой и картинностью. Еще замѣчательнѣе проза Островскаго. Это языкъ въ высшей степени оригинальный и яркій, типичный въ смыслѣ богатства формъ, эпитетовъ и оборотовъ чисто въ духѣ великорусскаго народнаго творчества. Этимъ колоритнымъ и могучимъ языкомъ Островскій овладѣлъ сразу и проявилъ его уже въ „Семейной картинѣ“ и „Своихъ людяхъ“. Затѣмъ, во весь долгій періодъ поэтической дѣятельности Островскаго, во всѣхъ его бытовыхъ пьесахъ такой же сильный языкъ поражаетъ яркостью и національностью колорита. Русская Академія Наукъ два раза почтила произведенія Островскаго Уваровскою преміей, именно пьесы: „Грозу“ и „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“. Въ своемъ торжественномъ собраніи 30 декабря 1886 г., Академія съ признательнымъ чувствомъ помянула большія литературныя и патріотическія заслуги Островскаго на поприщѣ отечественной словесности и, оцѣнивая въ сжатой формулѣ поэтическое достоинство драмъ и комедій Островскаго, съ намѣреніемъ подчеркнуть и заслуги языка его пьесъ, языка, „богатаго народными типическими выраженіями и оборотами“. Такой языкъ, какъ нельзя болѣе, стоитъ въ полномъ соотвѣтствіи съ оригинальнымъ, национальнымъ содержаніемъ и духомъ произведеній Островскаго. *Евстаѣевъ.*

Островскій, какъ выразитель коренныхъ основъ русскаго быта.

Изъ произведеній Островскаго оказывается, что у всего этого міра есть своего рода довольно обширная и весьма сложная цивилизація, которую надо знать даже для того, чтобъ бороться съ нею. Темнымъ сторонамъ ея быта у Островскаго спуска нѣтъ: нравственное безобразіе остается у Островскаго всегда безобразіемъ, и въ этомъ отношеніи мудрено даже сискать въ русской литературѣ человѣка, который бы сильнѣе и неутомимѣе бичевалъ дикія явленія выводимаго имъ общества. У насъ есть даже очень пространныя статьи объ этомъ видѣ его дѣятельности, гдѣ собраны и пояснены всѣ черты и оттѣнки необычайной картины отвращенія понятій, загрубѣнія чувствъ, равнодушія къ добру и правдѣ, представленной имъ въ своихъ произведеніяхъ. Странное обвиненіе враговъ Островскаго, что онъ писалъ эту картину, не подозрѣвая всего ея безобразія или даже сочувствуя ему—мы оставляемъ безъ вниманія: обвиненіе само принадлежитъ къ предметамъ, достойнымъ войти въ ея рамку. Но кромѣ созданія типовъ, энергически выражающихъ относительную бѣдность моральнаго смысла въ томъ кругу, гдѣ они вращаются—у Островскаго есть еще другая, художническая цѣль. Общимъ типомъ, выраженіемъ и содержаніемъ каждой своей комедіи (за весьма малыми исключеніями) онъ приводитъ читателя постоянно къ вопросу о тайнахъ русской народности, а иногда, въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ, даетъ возможность нащупать, такъ сказать, коренныя основныя русскаго быта, черты его особеннаго пониманія правды и порядка и любимыя мотивы его въ области поэзіи и творчества. Онъ за нихъ не заступается и никому ихъ не навязываетъ съ рекомендаціею: онъ заставляетъ ихъ чувствовать, и больше ничего, но въ томъ и тайная прелесть его созданія, какія бы лица тамъ ни были выводимы. Иногда во всей его комедіи нѣтъ ни одного благороднаго, здравомыслящаго лица: хаосъ понятій и нелѣпица царствуютъ безгранично надъ всѣми дѣйствующими въ ней, безъ исключенія, и однакожь по образамъ, которыми они выражаютъ свои нелѣпости, по полнотѣ и наивности безразсудства, по ироніи, какъ будто сознающей ужасъ и недостойнство общаго нравственнаго положенія—видно, что въ нихъ живетъ и та сила, которая нужна для выхода на свѣтъ и полнаго перерожденія. Это не то, что испорченность и дикость провинціальнаго или чиновничьяго быта, которыя беспомощны и могутъ кончиться только съ концомъ расы, племени, ими вскормленныхъ. Честное существо тутъ не одинъ смѣхъ, а также и сила; съ ней еще могутъ ужиться всевозможныя надежды. Подъ рѣдкимъ изъ безобразныхъ выводимыхъ Островскимъ типовъ не подложена какая-либо этнографическая черта, заслуживающая полнаго, весьма серьезнаго вниманія, а какъ часто моральная неблаговидность лица является результатомъ паденія, извращенія и обѣднѣнія коренной основы народнаго быта, переживающей эпоху своего разложенія!

У Островскаго безнадежна только старая, закоренѣлая грубость, да еще испорченность, оторванная отъ народа и тѣмъ самымъ лишенная уже послѣднихъ средствъ для спасенія своего: Липочка, Меричъ, Хорьковъ и т. д., и пр...

По свидѣтельству современныхъ писателей нашихъ — можно приближаться къ простонародію и вообще къ разнымъ сословіямъ нашимъ съ чѣмъ-нибудь инымъ, кромѣ состраданія, осмѣянія и поученія, а именно съ намѣреніемъ открыть, изъ какихъ элементовъ слагается ихъ внутренній міръ. Вотъ эту общность народныхъ мыслей, убѣжденій и стремленій, достойныхъ глубокаго изученія, сосѣди наши нѣмцы, которымъ нельзя отказать въ прозваніи образованныхъ людей, обозначали мѣткимъ словомъ — народной *культуры*. Культура не есть образованность въ томъ смыслѣ, какой согласились мы придавать этому понятію, потому что можетъ существовать отдѣльно отъ нея, самостоятельнымъ образомъ, хотя для полнаго своего развитія нуждается въ ней, не менѣе высшихъ, правительствующихъ сословій. Вотъ почему просимъ тысячу разъ извиненія у ревнителей чистоты родного языка за ввѣдъ небывадаго слова въ литературу. Сознаемся чистосердечно, что русскій писатель не имѣетъ права прибѣгать къ новымъ словамъ, потому что никогда не открываетъ новыхъ идей, но, по крайней мѣрѣ, нельзя запретить ему пользоваться чужой мыслию, подъ предлогомъ что въ родномъ діалектѣ для нея нѣтъ еще *имени*. Въ какомъ же отношеніи должна находиться образованность высшихъ сословій къ народній культурѣ? По мнѣнію лучшихъ европейскихъ умовъ, ей предстоитъ трудная задача разобрать нравственные элементы, изъ которыхъ состоитъ народная культура, очистить ихъ отъ всего случайнаго, наноснаго, не выдерживающаго повѣрки и подъ конецъ слиться съ нею въ одно общее психическое, умственное и духовное настроеніе. Путь очень далекъ, какъ видите, но онъ уже намѣненъ. Со всѣхъ сторонъ принимаются за уясненіе и опредѣленіе тайной, бессознательной мысли какъ цѣлыхъ обществъ, такъ и простонародья, употребляя на это всѣ орудія образованности: статистику, этнографію, исторію и пр. Островскій принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которые у насъ для той же самой работы употребляютъ — искусство.

Если бы мы захотѣли указать примѣры глубокаго проникновенія этого автора въ психическую природу русскаго человѣка, то пришлось бы разбирать большую часть его произведеній, чего мы совсѣмъ не имѣемъ въ виду. Ограничимся пока мѣстъ однимъ впечатлѣніемъ, которое постоянно выносится читателемъ изъ его комедій и драмъ. Міръ, изображаемый Островскимъ, узнается всего болѣе по отсутствію выдержанныхъ характеровъ, которые способны были бы довести до героизма какъ добродѣтель, такъ и порокъ. Въ мірѣ этомъ, какъ добродѣтель, такъ и пророкъ не имѣютъ рѣзкихъ очертаній, опредѣленной и стоячей формы, способной разграничить ихъ навѣкъ и сдѣлать, отдѣльно другъ отъ друга, символическими типами, которые могли бы сейчасъ перейти на полотно, въ видѣ аллегорическихъ фигуръ, допускаемыхъ

живописью. Порокъ у Островскаго имѣетъ всѣ признаки нравственной распущенности, грубости и невѣжества, но видимо лишень средствъ окрѣпнуть до яснаго, положительнаго злодѣйства, гдѣ неумѣстный законъ, строгій критикъ и поверхностный писатель могли бы накинуться на него, какъ на опредѣленную имъ добычу. Взгляните хоть на Большова (въ комедіи: „Свои люди“), этого праотца всѣхъ купцовъ-самодуровъ, изображенныхъ авторомъ впоследствии. Уже этотъ ли не представлялъ всѣхъ задатковъ выдержанности съ его жаждой обмана, презрѣніемъ къ людямъ, семейнымъ деспотизмомъ и полнымъ отсутствіемъ всякаго моральнаго чувства. И что же онъ дѣлаетъ? Онъ погибаетъ, какъ ребенокъ, отъ безграничной довѣренности къ парню, лицемѣріе котораго хорошо видитъ, отъ дѣтской вѣры въ признательность облагодѣтельствованнаго имъ плута. Скажутъ — это только новый видъ самодурства и обыкновенной симпатіи между негодяями. Такъ — но только въ природѣ русскаго человѣка могутъ они выразиться подобнымъ забвеніемъ всякой осторожности, благоразумія и простаго чувства самосохраненія. Съ другой стороны, и доблесть у Островскаго никакъ не возвышается до сознательнаго представленія себя, какъ доблести, до убѣжденія въ собственномъ своемъ величіи, которое помогло бы ей стать предъ людьми кичливо и назойливо, напрашиваясь на ихъ удивленіе. Доблесть эта воплощается то въ полусумасшедшемъ мѣщанинѣ, то въ горькомъ пьяницѣ (что же за это и вытерпѣлъ авторъ отъ критики!), а иногда открывается въ самомъ ходѣ жизни и по движенію сердца у весьма простаго и, можетъ быть, не безгрѣшнаго человѣка, да способна открыться, пожалуй, какъ будто старая рана, даже и у чистаго, несомнѣннаго порока.

Анненковъ.

Островскій, какъ народный поэтъ.

Островскій — *народный поэтъ*, хотя у него и всего менѣе того, что принято у насъ называть народными типами изъ жизни простаго народа, являющагося основною стихіею русской народности. Самые крестьяне являются у него, по преимуществу, въ несочувственномъ для народа видѣ оторвавшихся отъ своей земледѣльческой почвы и перешедшихъ на почву торговую. Главнымъ же образомъ встрѣчаемся мы у него съ купцами, не со вчерашняго дня съ купцами, которые могли бы, пожалуй, указать на свою особую купеческую родословную. На ряду съ ними встрѣчаемся мы у Островскаго съ барамы, какъ издавними и владѣющими помѣстьями, такъ и со всякими пролѣзающими въ барство на ступенькахъ служилой лѣстницы. Все это стоящее надъ народомъ, можно сказать, окрашивается въ его глазахъ одною краскою, рассматривается имъ съ одной общей точки зрѣнія. Вотъ эта-то точка зрѣнія прямо и заимствована у самаго народа нашимъ драматургомъ; она, дѣйствительно, сводится къ самодурству, которое стало быть, недаромъ усматривалась у Островскаго, но къ самодурству, понимаемому такъ широко, что тутъ далеко недостаточно тѣхъ успѣховъ умствен-

наго развитія, на которые возлагали всю надежду Добролюбовъ и вслѣдъ за нимъ Писаревъ (послѣдній едва ли еще не болѣе). Типъ самодура давно уже данъ въ народной поэзіи — въ видѣ того не то новгородскаго купческаго, не то боярскаго сына Васеньки Буслаева, которому вполнѣ далась грамота и который, несмотря на то, пошучивалъ такимъ образомъ, что кого схватить за руку — рука прочь, кого за ногу — нога прочь. Васенька, набравъ себѣ особую наемную дружину приманкою: „кто хочетъ пить, ѣсть изъ готоваго, тотъ вались къ Васенькѣ на широкій дворъ“, испытывъ выносливость этой дружины ударами по лбу червленными вязомъ, становится во главѣ ея, не признавая надъ собою никакого закона, и кончаетъ тѣмъ, что, вызывая на бой весь Великій Новгородъ, даетъ своей рукѣ-владыкѣ разгуляться по мужикамъ новгородскимъ — такъ и валяетъ ихъ съ моста въ Волховъ, въ этомъ смыслѣ становясь какимъ-то эпическимъ предвозвѣстникомъ историческаго Грознаго. Основа подобнаго рода подвиговъ, это сила, просте какъ сила, возмнившая себя и власть, сила, позабывшая о какихъ-либо нравственныхъ основахъ власти, о той „правдѣ-царицѣ“, въ которой коренится настоящая власть. Въ Васькѣ Буслаевѣ, можно сказать, предугазаны всѣ самодуры Островскаго. Типъ народнаго эпоса широкъ — подъ него могутъ быть подведены, какъ ни грубы его богатырскія очертанія, соотвѣтственныя явленія всевозможныхъ странъ и временъ. Въ своемъ родѣ широкъ и типъ самодура въ комедіяхъ и драмахъ Островскаго (не слѣдуетъ тутъ забывать и „Василису Мелентьевну“), — онъ несравненно шире того, какъ понимала его наша критика, сводя его собственно къ зауряднымъ купцамъ и помѣщикамъ патриархальнаго покроя. Въ народномъ эпосѣ типъ самодура Васьки, не то купчика, не то боярченка, прямо противоположенъ типу крестьянскаго сына Ильи, избирающаго мѣстечко среднее между голами, не позволяющими самодурствовать и Владимиру, сдающагося передъ челобитьемъ собственно ради матушки Свято-Русь-земли ради бѣдныхъ вдовъ и малыхъ дѣтей. Это типъ земскій, произведеніе той общинной почвы, отроженность отъ которой представляется народу жизнію не по разуму, не по Божьему, а по вольной волѣ своихъ дуращихъ причудъ. Если міръ Гоголевскихъ типовъ назвали мы въ своемъ мѣстѣ „областью, отроженной лично, т.-е. личности, обособившей отъ великаго цѣлаго (таковъ и міръ Грибоѣдовскій, за исключеніемъ, разумѣется Чацкаго), то то же названіе вполнѣ подобаешь и той, на половину купческой, на половину помѣщичьей и служилой средѣ, которую охватилъ Островскій, какъ широкую область барства вообще. Но у него постоянно сказывается — въ людяхъ изъ разныхъ слоевъ общественныхъ и отзвуки того противоположнаго Васькѣ Буслаеву типа эпическаго, корни котораго находятся тамъ, гдѣ нѣтъ и въ поминѣ барства или какихъ-либо поползновеній на барство. Такіе отзвуки слышатся у Островскаго во всевозможныхъ варіаціяхъ, начиная съ гуляющаго, но не загубившаго въ себѣ душу живу, Любима Торцова и до степеннаго, обрекающаго себя на служеніе общему дѣлу,

и свою патриархальную власть въ семьѣ Кузьмы Минина, или же поневолѣ уходящаго въ вольницу, но сохраняющаго и въ ней твердую память объ идеалѣ семейномъ и идеалѣ общественномъ, Дубровина. Писаревъ въ свое время утверждалъ, возражая Добролюбову, далѣе котораго онъ думалъ итти, будто „ни одно свѣтлое явленіе не можетъ ни возникнуть ни сложиться въ темномъ царствѣ“ патриархальной русской семьи, выведенной на сцену въ драмѣ Островскаго“. Островскій, напротивъ, умѣлъ указать намъ въ ней и указать правдиво, не одно такое явленіе, конечно, помимо превознесенной Добролюбовымъ Екатерины, которую Писаревъ вполне основательно отказывался окружать какимъ-либо свѣтлымъ ореоломъ.

Мы видимъ у Островскаго, помимо ея, цѣлый сочувственный рядъ женскихъ личностей, начиная съ самоотверженной и въ своей приниженной Дуни, такъ чутко отмѣченной широкимъ сердцемъ Добролюбова, и кончая старушкой Кругловой, не сдающейся ни на какіе соблазны вупца Ахова. Мы видимъ у него и нравственно стойкую Аннушку (въ „Бойкомъ мѣстѣ“), и одаренную „горячимъ сердцемъ“ Парашу, и отличающуюся не только теплотой, но и всеобъемлющей широтою сердца, Вѣру Филипповну (въ комедіи „Сердце не камень“). Ключъ къ пониманію воспроизводимой имъ, въ ея разностороннихъ явленіяхъ, много объемлющей жизни далъ намъ Островскій въ нѣсколько странныхъ по формѣ, но глубокихъ по смыслу, словахъ своего Платона Зыбкина, раздѣляющаго людей на „мерзавцевъ своей жизни“ и патриотовъ своего отечества“. Если нашъ драматургъ вывелъ предъ намъ цѣлое множество „мерзавцевъ“ и „мерзавовъ“ живущихъ во всю ширь своего заѣвшагося и оскотѣлаго эгоизма, то онъ же вывелъ предъ нами и не мало „патриотовъ“ т.-е. разнаго рода и разнаго положенія людей, не позабывающихъ о томъ, что они не одни на свѣтѣ, постоянно тяготящихся къ широкому и все болѣе и болѣе расширяющемуся кругу — семьѣ, обществу, отечеству. При подобной нравственной закваскѣ и незначительная доля умственного развитія уже идетъ впрокъ. Такъ оно вышло съ тѣмъ же Платономъ, про котораго не даромъ говорить его мать, что онъ чему учился-то, все это за правду принялъ, всему „этому повѣрилъ“ („Правда хорошо, а счастье лучше“). Тѣмъ еще больше проку можетъ дать, разумѣется, такая уже большая доля развитія, какая достается студенту Мелузову („Таланты и поклонники“), — опять-таки при полнѣйшемъ отсутствіи въ немъ всякой барской, вводящей въ соблазнъ закваски. Эта послѣдняя все же, должна быть, есть у прошедшаго черезъ тотъ же университетъ Жадова, а потому-то онъ и не принялъ за правду того, чему его тамъ учили.

Такъ ярко рисуя намъ барственность въ широкомъ смыслѣ, — т.-е. совокупность тѣхъ качествъ, которыя вытекаютъ изъ пользованія, Островскій рисуетъ намъ и тѣ другіе изъяны душевные, ту степень всякаго рода приниженности, которые вытекаютъ изъ сознанія бѣднымъ людомъ всей своей зависимости отъ богачей при далеко не обезпечивающемъ трудовомъ заработкѣ. Но и тутъ онъ умѣетъ намъ показать,

въ лицѣ нѣкоторыхъ замѣчательную силу нравственнаго устоя, не останавливающагося ни передъ какими испытаніями. Зато, съ другой стороны, и это особенно въ произведеніяхъ второй половины своей жизни — онъ выставляетъ передъ нами способность на сдѣлки, зависящую не оттого, что ѣсть нечего, а отъ желанія пожить широко, пожить всласть, пожить, какъ живутъ богачи-самодуры. Такая способность сказывается у него въ лицѣ разныхъ, выражаясь словами его Платона „мерзавцевъ“ и „мерзавокъ — преимущественно въ видѣ различныхъ свадебныхъ сдѣлокъ самаго грязнаго обманно-воровскаго характера.

Мы видѣли, что одну изъ своихъ комедій послѣдней поры Островскій озаглавилъ „Невольницы“. Но онъ вывелъ такихъ невольницъ не только въ ней, но и во многихъ другихъ, онъ вывелъ въ ней также и невольниковъ, — да невольниковъ своихъ чувственныхъ наклонностей, своей нужды „широкой жизни“, приводящей ихъ къ культу золотого тельца, къ принесенію ему въ жертву самой основной изъ святынь, святыни семейнаго начала. Островскій глубоко понялъ этотъ челоуѣкоубійственный культъ, какъ ту болѣзнь нашего вѣка, которая подкапываетъ до того, что при этомъ культѣ невольно теряется довѣріе къ самымъ усовершенствованнымъ формамъ политической жизни. Островскій ярко изобличаетъ культъ въ типахъ русскаго общества, но ихъ часто приходится понимать широко — въ общечелоуѣческомъ современномъ смыслѣ. Съ обличеніемъ культа золотого тельца въ его пьесахъ соединяется могучій запросъ на ту силу нравственную, безъ которой, выражаясь языкомъ Посопкова, „ни коими дѣлы невозможны“.

Онъ рисуетъ намъ и картины самаго глубокаго нравственнаго паденія и картины высокаго нравственнаго устоя, пересиливающаго всякую среду. Онъ, подобно другимъ нашимъ современнымъ писателямъ (за исключеніемъ Писемскаго), является въ одно и то же время и полнѣйшимъ реалистомъ и истымъ идеалистомъ (Писемскій только реалистъ или даже натуралистъ). Подобно имъ, онъ и въ этомъ какъ въ широтѣ пониманія имъ самодурства со всѣми его общественными послѣдствіями и единственными вѣрными средствами противъ него, — настоящій народный писатель.

Op. Миллеръ.

Новизна содержанія и формы комедій Островскаго.

Дѣятельность Островскаго начинается собственно съ 1847 г.; вотъ все до сихъ поръ имъ написанное въ хронологическомъ порядкѣ: 1) „Сцены изъ замоскворѣцкой жизни“; 1847 г. — Напечатаны въ „Московскомъ Городскомъ Листѣ“ — журналѣ, издававшемся только годъ. Тутъ же, между прочимъ, появилась одна сцена изъ комедіи „Свои люди — сочтемся“, носившей тогда названіе „Банкрутъ“. 2) „Очерки Замоскворѣчья“ — небольшой рассказъ, — въ томъ же году, въ томъ же журналѣ. 3) „Свои люди — сочтемся“, комедія въ 4 дѣйствіяхъ, — въ „Москвитянинѣ“ 1850 г. 4) „Утро молодого челоуѣка“, сцены; въ „Москвитянинѣ“ 1850 года. 5) „Неожиданный случай“, сцены; въ альманахѣ: „Комета“ 1851 г. 6) „Бѣдная невѣста“, комедія въ 5 дѣйствіяхъ, — въ

„Москвитянинъ“ 1852 года. 7) „Не въ свои сани не садись“ комедія въ 3 дѣйствіяхъ, — въ „Москвитянинъ“ 1853 г. 8) „Бѣдность не порокъ“ комедія въ 3 дѣйствіяхъ — напечатана отдѣльно въ 1854 году. 9) „Не такъ живи, какъ хочется“ драма въ 3 дѣйствіяхъ. Самое первое изъ этихъ исчисленныхъ нами, большихъ и небольшихъ, болѣе или менѣе удачныхъ, но каждое въ своемъ родѣ оригинальныхъ произведеній — носило уже на себѣ яркую печать самобытности таланта, выражавшейся и 1) въ новости быта, выводимаго авторомъ и до него еще непочатаго, если исключить нѣкоторые очерки Вельмана и Луганскаго, очерки, набросанные, такъ сказать, вскользь, мимоходомъ, и 2) въ новости отношенія автора къ изображаемому имъ быту и выводимымъ лицамъ, и 3) въ новости манеры изображенія, и 4) въ новости языка, — въ его цвѣтистости, особенности. Изъ всего этого новаго, что съ первой минуты своего появленія въ литературу приносилъ съ собою молодой поэтъ, — критика не въ состояніи была, да и теперь еще находится, — понять только новость изображаемаго имъ быта. „Сцены“ — которыя, относительно оконченности отдѣлки, представляютъ едва ли не совершеннѣйшее произведеніе ихъ автора — прошли почти что незамѣченныя: и не мудрено! онѣ едва ли составляютъ печатный листъ. Еще менѣе замѣчена была новость взгляда автора въ маленькомъ разсказѣ: „Очерки Замоскворѣчья“ — единственномъ произведеніи, вылившемся у него въ драматической формѣ. Появленіе комедіи: „Свои люди — сочтемся“ — какъ слишкомъ рельефной, слишкомъ яркой — надѣлало много шуму; но весьма странно, что оно не вызвало ни одной дѣльной критической статьи. Комедія только изумила критику, и комическое отношеніе критики къ комедіи изображено весьма остроумными, хотя нѣсколько рѣзкими чертами въ извѣстной шуткѣ Эраста Благоднаго. Но, какъ ни недоумѣвала критика, а все-таки, пораженная и комедіей и общественнымъ о ней мнѣніемъ, не могла рѣшить вопроса иначе какъ такъ, что явился талантъ сильный, свѣжій и... наиболѣе близкій къ таланту, нынѣ спящему въ могилѣ, къ таланту первенствовавшему тогда по всѣмъ правамъ. Бѣдная критика! вотъ въ этомъ-то она и ошиблась, въ этомъ-то тайлся тогда и обнаруживается теперь источникъ ея недоразумѣній. Съ этого-то пункта и начинается настоящая *исторія* новаго явленія въ литературѣ. „Новое Слово“ — выраженіе, отъ котораго авторъ сей статьи всего менѣе, конечно, способенъ отречься, несмотря на глумленія, которыя пройдутъ, если ужъ не прошли, — „новое слово ускользнуло отъ опредѣленія старой критики, а теперь уже не такъ далеко отъ нея, что она его и видитъ „да зубъ нейметъ“, какъ говорится. Комедію „Свои люди — сочтемся“ еще можно было какъ-нибудь, съ великими, правда, натяжками, связать съ мудрыми заключеніями критики обо всемъ предшествовавшемъ въ литературѣ, и съ еще болѣе мудрыми гаданіями ея на счетъ будущаго: все послѣдующее такъ явно отдѣлилось отъ этихъ заключеній, что поневолѣ должно было разсердить критику, задѣть самыя больныя ея мѣста, коснуться самыхъ ветхихъ ея построекъ, на которыя вѣтеръ дунъ хорошенько, такъ онѣ упадутъ.

И критика стала въ очевидно комическое положеніе къ новому явленію. Явилась „Бѣдная невѣста“ — а она ждала совсѣмъ не того послѣ комедіи „Свои люди — сочтемся“. Еще прежде Островскій разсердилъ критику отсутствіемъ желчи, рѣзкости въ опредѣленіяхъ лицъ, наивностью манеры въ граціозныхъ сценкахъ, извѣстныхъ подъ названіемъ „Неожиданнаго случая“ — сценкахъ, говоря *par parenthèse* — гораздо болѣе тонкихъ, чѣмъ многія прославленные критикою тонкости; съ появленія „Бѣдной невѣсты“ критика положительно начинаетъ сердиться на лица, выводимыя поэтомъ. Буквально такъ! Ни въ одной статьѣ, писанной въ журналахъ по поводу той или другой драмы Островскаго, вы не встрѣтите и въ поминѣ вопросовъ художественныхъ. Критика постоянно сердится на лица, на манеру отношеній автора къ изображаемому имъ быту, т.-е. на самый бытъ, растворяющій передъ нею свои широкія, гостепріимныя двери; постоянно становится то въ положеніе Мерича или даже Милашина, — то въ положеніе Виктора Аркадыча Вихорева и жены Маломальскаго, или тетюшки, набравшейся въ Таганкѣ образованія, то въ положеніе Гордея Карпыча Торцова. Съ ихъ точки зрѣнія она смотритъ, съ ихъ точки зрѣнія винитъ Хорькова въ неблагородствѣ поступковъ; Русакова и Бородкина хочетъ увѣрить, что они не могутъ существовать; въ Любимѣ Торцовѣ не видитъ ничего, кромѣ пьянства; Любовь Гордеевну упрекаетъ въ отсутствіи личности; Митю производитъ въ юродивые. Дѣло въ томъ, однимъ словомъ, что критика постоянно сердится, обижается, вламывается въ амбицію. Явленіе чрезвычайно важное, поучительное и, какъ, вѣроятно, читатели видятъ сами, совершенно несомнѣнное. Оно-то и поведетъ насъ къ вопросамъ, возникающимъ изъ драмъ Островскаго, — вопросамъ въ высшей степени достойнымъ того, чтобы попытаться поискать ихъ разрѣшенія. За что же сердится и обижается критика, что оскорбляетъ ее въ произведеніяхъ Островскаго? Чтобы постепенно добраться до основаній ея раздраженнаго чувства, начнемъ съ перечисленія признаковъ ея явно болѣзненнаго состоянія, т.-е. съ перечисленія тѣхъ лицъ или положеній въ драмахъ Островскаго, на которыя она сердится. 1) „Неожиданный случай“ встрѣтила она насмѣшками и пародіями за безцвѣтность, по ея мнѣнію, выведенныхъ характеровъ, за слабость пружинъ, двигающихъ ихъ отношенія между собою, за ничтожность самаго узла, завязавшаго эти отношенія, т.-е. въ переводѣ на прямой языкъ, осердилась на то, что отношенія сами по себѣ легкія, поэтъ очеркнулъ легко, характеры безосновные изобразилъ въ ихъ безосновности — не выдумалъ гиперболическаго узла, не отнесся съ ядовитою насмѣшкою къ такимъ беззлымъ и невиннымъ существамъ, какъ Розовый и Дружининъ. Пародія, явившаяся на этотъ легкій и граціозный очеркъ, которому, впрочемъ, ни авторъ ни мы не придаемъ большого значенія, выставила ясно, какой грубости и рѣзкости представленія требуетъ критика, — замѣтьте та самая критика, которая ни слова не говорила о ничтожности характеровъ, безосновности завязокъ и пустотѣ содержанія различныхъ великосвѣтскихъ пословицъ въ драматической

формѣ, — та самая критика, которая восхищается необычайною тонкостью поговорокъ А. де Мюссе, легкостью ея очерковъ! 2) „Бѣдная невѣста“ разсердила критику, во-первыхъ, тѣмъ, что Меричъ — неизвѣстно каковаго званія; во-вторыхъ, тѣмъ, что у Марьи Андреевны нѣтъ характера; въ-третьихъ, тѣмъ, что Хорьковъ поступаетъ неблагородно, передавая любовныя письма Мерича; въ-четвертыхъ, тѣмъ, что выведено такое безцвѣтное лицо, какъ Милашинъ. Переведемъ опять на простой языкъ: критикѣ, очевидно, досадно было, что Меричъ лишень авторомъ тѣхъ чертъ, которыя — вставъ ихъ только — закроютъ отъ глазъ читателя его внутреннюю бѣдность и ничтожество, и сдѣлаютъ его героемъ любой изъ унылыхъ повѣстей, оплакивающихъ судьбу несчастныхъ женскихъ натуръ, подавленныхъ грубою сферою быта. Критикѣ досадно было на Марью Андреевну, что грубость требованій окружающаго быта не будитъ въ ней, говоря любимыми словами критики *протеста*, что *протестъ* не обращается въ ея натурѣ въ нѣчто постоянное. Критикѣ досадно было, что въ Хорьковѣ нѣтъ той ложной деликатности, которая позволить скорѣе видѣть гибель любимаго существа, нежели нарушить условныя приличія. Критикѣ, наконецъ, больно было разоблаченіе всей безцвѣтной ничтожности натуръ, подобныхъ натурѣ Милашина.

3) Комедія „Не въ свои сани не садись“, — своимъ огромнымъ сценическимъ успѣхомъ опять ошеломила критику. Долго не рѣшалась она высказать своего негодованія на существованіе Русакова и Бородкина, и только въ недавнее время объявила комедію слабою, лица Бородкина и Русакова невозможными, съ оговоркою насчетъ „Бѣдной невѣсты“, какъ произведенія несравненно болѣе замѣчательнаго, — въ томъ же самомъ журналѣ, гдѣ хвалилась, какъ нельзя больше, комедія „Не въ свои сани не садись“ и порицалась, осмѣивалась, „Бѣдная невѣста“, вмѣстѣ съ новымъ словомъ — выраженіемъ автора сей статьи. Въ одной изъ газетъ своихъ, критика откровенно призналась, что новое слово точно есть, что она его видитъ въ комедіяхъ Островскаго, но что самое это новое слово ей не нравится. 4) „Бѣдность не порокъ“, самая смѣлая, хоть и не самая оконченная изъ драмъ Островскаго, не могла не разсердить критику, находящуюся въ совершенно болѣзненномъ положеніи — и за Гордея Карпыча и за Любима Торцова: Гордей Карпычъ — каковъ онъ ни на есть, все-таки представитель стремленій выйти изъ *грубаго* и непонятнаго критикѣ быта. Любимъ Карпычъ въ глазахъ критики только пьяница и ничего больше. Его стремленій выйти изъ метеорскаго званія, войти снова въ семью, имѣть честный кусокъ хлѣба, — его раскаянія, его порывовъ критика не могла оцѣнить: трагическая сторона его положенія отъ нея ускользнула. На Митю критика осердилась за то, что Богъ создалъ его съ даровитою, нѣжною и простой душою; Любовь Гордеевну опять обвинили за отсутствіе личности, какъ прежде Марью Андреевну. На второй актъ комедіи осердилась критика за то, что авторъ безъ церемоніи введъ публику въ самый центръ нравовъ, обычаевъ, веселья того быта, который онъ изображаетъ.

5) Последняя драма Островскаго, еще болѣе смѣлая по мысли,

широкая по содержанію, новая по характерамъ, и еще болѣе небрежная по формамъ, или, лучше сказать, пренебрегающая формами, известна критикѣ только по представленію, — но критика успѣла уже выразить свое неудовольствіе, успѣла уже вырвать изъ нея и недобросовѣстно изуродовать нѣсколько выраженій. Дѣло простое и понятное: новость драмъ Островскаго, и въ особенности смѣлая новость послѣдней драмы, есть чувствительное оскорбленіе одряхлѣвшей критикѣ.

6) Вообще, наконецъ, критика начала изъявлять неудовольствіе на языкъ, или, по ея выраженію на *жаргонъ*, которымъ писаны драмы Островскаго. Она и въ самомъ дѣлѣ наивно увѣрена, что языкъ въ комедіи Островскаго — мѣстный провинціализмъ, странность, которую, какъ говорятъ, поигралъ да за щеку, — нѣчто въ родѣ *пейзанскаго жаргона*, употребляемаго, на примѣръ, Мольеромъ въ „*Le Médecin malgré lui*“, въ „*Le Festin de Piègre*“ и другихъ пьесахъ. Чего жъ бы хотѣла критика? Чтобы лица драмъ Островскаго говорили не языкомъ ихъ быта? Да, вѣдь, это противорѣчило бы эстетическимъ положеніямъ всякой критики, даже и той, съ которой мы въ настоящую минуту имѣемъ дѣло, да и Островскій притомъ — художникъ такого рода, которому типы при ихъ созданіи предстаютъ не иначе, какъ съ своимъ языкомъ каждый: иначе для него типъ и немислимъ.

7) Съ начинающимся неудовольствіемъ на *жаргонъ* драмы Островскаго тѣсно связано неудовольствіе на самый бытъ, имъ изображаемый. Собственно, критика сама не знаетъ, чего она хочетъ. При появленіи „Бѣдной невѣсты“ раздались ея сѣтованія, что Островскій оставилъ бытъ, который онъ такъ мастерски изображаетъ; теперь она вопіетъ на то, что этотъ бытъ говоритъ своимъ языкомъ, имѣетъ свои, ей невѣдомые, нравы, представляетъ свои типы, которые она не желала бы видѣть выводимыми, и въ несуществованіи которыхъ она такъ жарко хотѣла бы убѣдить и себя и другихъ. Солонъ ей этотъ бытъ, солонъ его языкъ, солонъ его типы — солонъ по ея собственному состоянію. Вотъ и вся разгадка. Нѣтъ критикѣ дѣла ни до какихъ естественныхъ вопросовъ. Найдите хоть въ одной статьѣ ея указаніе на эстетическіе промахи автора. Ихъ нѣтъ положительно, — или такія указанія встрѣчаются только въ статьяхъ нашего журнала.

„Новое слово!“ — употребляю теперь съ нѣкоторою гордостью это выраженіе, высокопарность котораго выкуплена легкомысленнымъ или недобросовѣстнымъ посмѣяніемъ, которому оно подверглось, — вотъ коренная, основная причина негодованія старой критики на писателя, которому по всему праву, по общему признанію массы, принадлежитъ, несмотря на его недавнее появленіе, несмотря на нѣкоторые недостатки, — несомнѣнное первенство въ современной литературѣ.

Съ 1847 до 1855 года Островскій написалъ всего только 9 произведеній, и изъ нихъ только *пять* значительныхъ по объему и *шесть* по содержанію, только *четыре* изъ нихъ даются на театрѣ, — но эти *четыре*, безъ церемоніи говоря, создали народный театръ; — частію создали, частію выдвинули впередъ артистовъ, — пробудили общее сочувствіе *всѣхъ* классовъ общества, измѣнили во многихъ

взглядъ на русскій бытъ, познакомили насъ съ типами, которыхъ существованія мы не подозрѣвали и которые тѣмъ не менѣе несомнѣнно существуютъ, — съ отношеніями въ высшей степени новыми, драматическими, съ многоразличными сторонами русской души, и глубокими, и трогательными, и нѣжными, и разгульными, — сторонами, до которыхъ никто еще не касался. Право гражданства литературнаго получило множество яркихъ опредѣленныхъ образовъ, новыхъ живыхъ созданій въ мірѣ искусства — и все это прошло безъ урока для критики. Талантъ уже породилъ толпу подражателей, и грубыя подражанія печатались въ ея журналахъ, — а она продолжала глумиться надъ новымъ словомъ таланта!

Таково положеніе вопроса о новомъ явленіи. Что же именно есть въ немъ такого новаго, что не принимается критикою — ибо вопросъ, что она враждуетъ не во имя эстетическихъ положеній, мы считаемъ рѣшеннымъ. Новы въ талантѣ Островскаго, какъ во всякомъ самобытномъ талантѣ — содержаніе и форма. Подъ содержаніемъ разумѣю я: 1) общее отношеніе поэта къ жизни, его міросозерцаніе; 2) типы, имъ создаваемые, и манеру ихъ изображенія. Подъ формою: 1) самобытность постройки произведеній и 2) особенность языка. По этимъ категоріямъ и слѣдовало бы разсмотрѣть вопросъ о талантѣ Островскаго безотносительно: но чтобы нагляднѣе и яснѣе представить дѣло, должно употребить нѣсколько окольный путь, начать *ab ovo*. Новое слово Островскаго есть самое старое слово — народность: новое отношеніе его есть только прямое, чистое, непосредственное отношеніе къ жизни.

Григорьевъ.

Вліяніе Островскаго на артистовъ.

Не довольствуясь своимъ вліяніемъ на драматическую сцену, въ качествѣ драматическаго писателя, Островскій желалъ вліять и на воспитаніе молодыхъ артистовъ. Особенно эта задача въ его дѣятельности получила замѣтный толчокъ, съ закрытіемъ драматическаго класса въ московскомъ театральномъ училищѣ. Сознаніе необходимости создать практическую школу для молодыхъ талантовъ и дать имъ средства проявить и развить свои дарованія вызвало къ союзу представителей всѣхъ отраслей искусства: литераторовъ, актеровъ, художниковъ, музыкантовъ, пѣвцовъ. Этотъ союзъ, кромѣ задачи, намѣченной Островскимъ, задался другими цѣлями. И вотъ результатомъ этого движенія было образованіе и открытіе въ Москвѣ Артистическаго кружка. Цѣль этого союза, какъ она уже была формулирована въ уставѣ 1870 года, послѣ четырехлѣтнихъ указаній опыта, заключалась въ распространеніи въ публикѣ правильныхъ понятій о всѣхъ отрасляхъ изящныхъ искусствъ и въ развитіи ея эстетическаго вкуса въ доставленіи начинающимъ артистамъ и художникамъ возможности сдѣлаться извѣстными публикѣ. Поэтому собранія членовъ кружка назначались, между прочимъ, для представленія драматическихъ пьесъ, т.-е. въ этихъ собраніяхъ предполагалось устраивать семейно-драматическіе вечера, въ которыхъ бы исполнителями драматическихъ про-

изведеній являлись члены кружка — артисты-любители. Собрание это и было открыто 14-го ноября 1866 года въ Москвѣ, на Тверскомъ бульварѣ. Однимъ изъ главныхъ зачинщиковъ этого дѣла былъ А. Н. Насколько онъ считалъ дѣло это важнымъ и существеннымъ, видно изъ того, что день открытія этого кружка онъ самъ считалъ однимъ изъ лучшихъ дней своей жизни. „Памятно мнѣ также“, писалъ Островскій 12 декабря 1875 года въ альбомѣ М. В. Семеновскаго, и „14-го ноября, день открытія Артистическаго кружка, объ устройствѣ котораго такъ дѣятельно хлопотали мы съ покойнымъ Н. Г. Рубенштейномъ. Артистическій кружокъ нѣкоторымъ образомъ замѣнилъ театральную школу: онъ далъ московской сценѣ П. М. Садовскаго, О. О. Садовскую (Лазареву) и В. А. Макшеева; въ немъ же въ первый разъ познакомилась московская публика съ огромнымъ талантомъ П. С. Стрепетовой“.

Состоявшіеся въ Москвѣ въ маѣ 1876 года всероссійская этнографическая выставка и славянскій съѣздъ не могли пройти безъ участія Островскаго въ этомъ общественномъ явленіи чрезвычайной важности. Какъ извѣстно, наканунѣ отъѣзда славянскихъ гостей изъ Москвы, 26-го мая, Артистическій кружокъ устроилъ для гостей скромное угощеніе: музыкально-литературный вечеръ и чай. Литературный отдѣлъ праздника начался привѣтствіемъ славянскимъ гостямъ старшины кружка А. Н. Островскаго отъ имени гг. членовъ. Въ короткихъ словахъ онъ выразилъ гостямъ сердечный привѣтъ и желаніе: да процвѣтаетъ искусство въ нашей и ихъ странѣ, и да выражается въ немъ общее родное намъ славянское чувство. Старшина кружка, А. П. Плещеевъ прочелъ въ русскомъ переводѣ рассказъ К. Я. Ербена (чеха, бывшаго на праздникѣ въ числѣ пріѣхавшихъ славянскихъ гостей) изъ земскихъ народныхъ преданій „Водяникъ“ и переложеніе А. Н. Майкова сербской пѣсни „Сербская церковь“. Затѣмъ И. О. Горбуновъ рассказалъ нѣсколько сценъ изъ народнаго быта съ своимъ неподражаемымъ искусствомъ. Успѣхъ вечера и подъемъ настроенія увеличился, когда Н. В. Бергъ, только что вернувшійся изъ далекаго путешествія, прочиталъ свое стихотвореніе, въ которомъ особенно сочувственно была привѣтствована и хозяевами и гостями такая строфа:

Что бы тамъ ни разгласила
За границею молва,
Братья, все-таки мы сила,
Прага, Бѣлградъ и Москва!

Вѣрю я благой судьбиной,
Рано ль, поздно ль, — все равно,
Будемъ съ вами духъ единый,
Въ чувствахъ, въ помыслахъ — одно.

Затѣмъ артистъ Малаго театра Н. Е. Вильде прочиталъ прочувствованное стихотвореніе по поводу чудеснаго спасенія жизни императора Александра II отъ покушенія Березовскаго въ Парижѣ 25-го мая. Хозяева подали примѣръ гостямъ, которые тоже заговорили. Русскій изъ Галиціи Павлевичъ сказалъ слово по-русски; Лаза Костицъ прочелъ сербскіе стихи, чехъ Гура произнесъ рѣчь; сербъ Субботичъ — стихи. Долго оставались гости въ кружкѣ; дружеская чаша долго переходила изъ руки въ руки. Разошлись уже въ четыре часа утра.

Носъ.

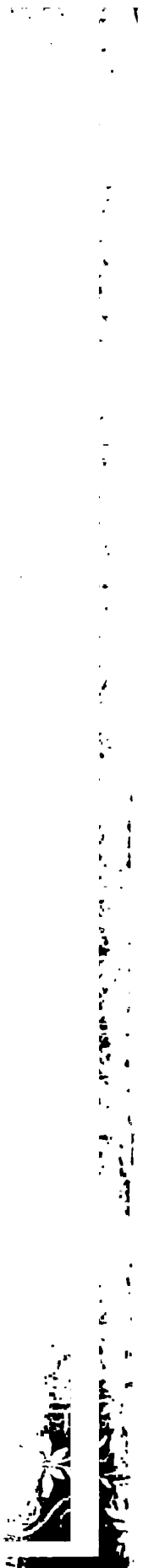
~~СЛУЖИТЕЛЮ~~

FEB 5 1912

**Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ продаются книги,
составленныя В. И. ПОКРОВСКИМЪ:**

- Аксаковъ, С. Т.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.
- Гоголь, Н. В.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 75 коп.
- Гончаровъ, И. А.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.
- Грибодовъ, А. С.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.
- Григоровичъ, Д. В.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 25 коп.
- Державинъ, Г. Р.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.
- Екатерина II.** Ея жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.
- Жуковскій, В. А.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 50 коп.
- Кантемиръ, А. Д.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.
- Карамзинъ, Н. М.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.
- Кольцовъ, А. В.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 25 коп.
- Крыловъ, И. А.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 20 коп.
- Лермонтовъ, М. Ю.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 50 коп.
- Ломоносовъ, М. В.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.
- Майковъ, А. Н.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.
- Некрасовъ, Н. А.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 50 коп.
- Новиковъ, Н. И.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 25 коп.
- Островскій, А. Н.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.
- Полонскій, Я. П.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб.
- Пушкинъ, А. С.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 50 коп.
- Радищевъ, А. Н.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 75 коп.
- Сумароковъ, А. П.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.
- Толстой, А. К.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.
- Толстой, Л. Н.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.
- Тургеневъ, И. С.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.
- Тютчевъ, Ф. И.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 15 коп.
- Фетъ, А. А.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 20 коп.
- Фонвизинъ, Д. И.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.
- Чеховъ, А. П.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 2 руб. 50 коп.

Складъ въ книжномъ магазинѣ В. Спиридонова и А. Михайлова.
Москва. Тверская, Столешниковъ пер., д. Лянозова. Телеф. 120—95.



UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 05608 1733

